

# КОНТИНЕНТ 47

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Дезинформация осуществляется различными путями: срывается работа журналистов там, где существуют ...социальное у Зиновьева предстает как стихия зла и антилогики.



Но мне интересна социальная логика сама по себе. Хочу увидеть ее не-газетам преподно- сится ложная или искаженная ин- формация; журна- листы отбираются по признаку поли- тической настро- енности...



Хочу увидеть ее не- посредственно, в упор, в «голом» ви- де. Хочу рацио- нального объясне- ния сталинизма, социализма, сио- низма, хочу соци- альной физики.

Люцио Лами Михаил Заборов

Я себя спрашивал, что же пришло из России? Уверенно, вкус к ярким краскам: есть в этой живописи отзвуки Кандинского, еще более — Сони Делоне, когда она пере- ехала на Запад. Но, может быть, эти отголоски случайны. Тем не ме- нее, были линии нацио- нальные, традиции в периоды расцвета на- ций: можно выявить ли-



нию французскую от Ренессанса к импрессио- низму; такую же линию немецкую, русскую, ли- нию японскую и т. д... В двадцатом столетии по- явилось искусство над- национальное, но насы- щение национальное еще не ослабло. Даже иногда многого не хват- ает, чтобы утверж- дать противоположное.

Пьер Гарнье

Мексиканская троцкистка Лаура ска- зала, что мы, русские, видно, и хотим- то всего, чтобы установилась свобо-

...Давно отзвенели куранты:

Коль славен...



да слова и напеча- тали несколько со- тен наименований запрещенных книг. Но мы в один голос сказали, что... нуж- на бы и аграрная реформа, восста- новление частной инициативы в сель- ском хозяйстве.

Анатолий Копейкин

Блаженная Ксения присно еси.

Развалкой утиной. Портянки.

Платочек.

Завязаны черные жилки узлами.

Бродяжка. Далекий занозистый путь.

Ее не теряется узкий следочек.

Овамо за Мойкой, за всеми звездами...

Юрий Иваск



*Главный редактор:* Владимир Максимов  
*Зам. главного редактора:* Наталья Горбаневская  
*Ответственный секретарь:* Виолетта Иверни  
*Заведующий редакцией:* Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон  
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес  
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас  
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти  
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Норман Подгорец  
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре  
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский  
Карл-Густав Штрём

*Корреспонденты «Континента»*

- Израиль** Михаил Агурский  
Michael Agoursky, P.O.B 7433,  
Jerusalem, Israel
- Италия** Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti, via Veruto 1/B  
20131 Milano, Italia
- США** Эдуард Лозанский  
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,  
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,  
D. C. 20008, USA
- Япония** Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова

К



# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

47

Издательство «Континент»  
1986

© Kontinent Verlag GmbH, 1986

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Инна Л и с н я н с к а я</b> – В госпитале лицевого ранения	7
<b>Владимир В о й н о в и ч</b> – Москва – 2042. Главы из романа	17
<b>Александр С о п р о в с к и й</b> – Два стихотворения	66
<b>Юрий Л а п и д у с</b> – На очереди. Повесть	69
<b>Петр А н т о н ю к</b> – Из лагерной поэзии. Публикация Л. Черткова	116
<b>Юрий М а м л е е в</b> – Письма к Кате. Рассказ	119
<b>Юрий И в а с к</b> – Воображая Петербург. Стихи	128
<b>Наум К о р ж а в и н</b> – Стихи	133
<b>Александр З и н о в ь е в</b> – Рука Кремля. Комедия о мирном сосуществовании двух систем	137
<b>Лия В л а д и м и р о в а</b> – Новые стихи	185
<b>Анатолий К о п е й к и н</b> – Право же, светел дол...	193
<b>Дмитрий Б о б ы ш е в</b> – Из американских поэтов	221
<b>РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>Михаил З а б о р о в</b> – Социальная физика	227
<b>ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ</b>	
<b>Милован Д ж и л а с</b> – Албанские особенности	249
<b>ЗАПАД – ВОСТОК</b>	
<b>Лючио Л а м и</b> – Информационный мир болен	257
<b>ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА</b>	
<b>Валерий С о й ф е р</b> – Лысенкоисты и их судьбы. Главы из книги	267
<b>ИСТОКИ</b>	
<b>Нина М у р а в и н а</b> – Судьба алакаевских соседей Ленина	307
<b>ИСКУССТВО</b>	
<b>Пьер Г а р н ь е</b> – Олег Лягачев. Писать знаки, их движения	345

<b>ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ</b>	
<b>Петр В а й л ь, Александр Г е н и с</b> – Булгаковский переворот	351
<b>ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ</b>	
<b>Леонид Ч е р т к о в</b> – Дебют Бориса Поплавского	375
<b>КОЛОНКА РЕДАКТОРА</b>	379
<b>НАША ПОЧТА</b>	383
<b>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</b>	
<b>Ольга М и н ц</b> – Борьба за Сахарова	387
<b>Н. Г о р б а н е в с к а я</b> – С доверием к тексту	391
<b>Галина К е л л е р м а н</b> – К вопросу «о поколении, растратившем своих поэтов»	395
<b>Юрий М а м л е е в</b> – Бессмертие мертвых душ	404
<b>Майя М у р а в н и к</b> – Когда грядет библейская черта	408
<b>Т. Г о р и ч е в а</b> – Русская мысль в изгнании, или Восток на Западе	413
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	419
<b>ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ</b>	425
<b>НАША АНКЕТА</b>	
Беседа с <b>Марекком Х а л ь т е р о м</b>	431
<b>СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	

## В ГОСПИТАЛЕ ЛИЦЕВОГО РАНЕНИЯ

*Памяти моего отца,  
погибшего на войне*

Девушка пела в церковном хоре  
*Блок*

1

В свете войны маскировочно-жестком,  
Тот, кто подыгрывал ей на трехрядке  
И привыкал к наглазным полоскам,  
Тот, кого девочка без оглядки

К морю, покрытому масляным лоском,  
С черного хода выводит, чтоб сладкий  
Вечер вдохнул, – вдруг прижал ее к доскам  
Около морга и, как в лихорадке,

Ищет он тесной матроски вырез,  
Но повезло ей – с топориком вылез  
Славший в гробу санитар-алкоголик:

«Олух безглазый, она ж малолетка!»  
...В детстве бывало мне горько, но редко.  
Мне и мой нынешний жребий не горек.

2

Гордость и робость – родные сестры  
*Цветаева*

Мне и мой нынешний жребий не горек,  
Всё относительно в полном ажуре.

Божьи коровки обжили мой столик  
При низкоградусной температуре,

И, хоть мороз на Московщине стоек,  
Муха местечко нашла в абажуре,  
А почему я не в литературе –  
В этом пускай разберется историк.

Мне ж недосуг. Впрошаю эпиграф:  
«Гордость и робость, рѳдные сестры,  
Что вас прельстило участвовать в играх

Гаеров, в братстве их бутафорском?»  
Поздно кусать локоточек свой острый,  
Память, оставшаяся подростком!

3

В формах и красках содеяны чары  
*Сологуб*

Память осталась вечным подростком –  
Гордой, рассеянной, робкой осталась,  
С голосом, треснувшим в зданье громоздком.  
Мне сорок лет моя память казалась

Слепком былого иль отголоском  
Или резонно вполне представлялась  
Будущей жизни беглым наброском –  
Память живым существом оказалась.

Верит, что даже на ссыльном этапе  
В формах и красках содеяны чары.  
Что ж она вышла в соломенной шляпе

В стужу Москвы и, взбежав на бугорик  
Снежный, глядит сквозь встречные фары:  
Я ли вхожу в олеандровый дворик?

4

Господи, сколько я дров нарубила!

*Некрасов*

Я ли вхожу в госпитальный дворик,  
Чтоб полялякать с чудным санитаром?  
Он же и слесарь, и плотник, и дворник.  
Стружку отмел идохнул перегаром:

«Душу имел я, а нынче топорик,  
Образ имел я – истратил по нарам.  
Был и кулак, и штрафник твой Егорик,  
Смыл я пятно с себя не скипидаром, –

Так и живу с осколком в утробе.  
Доченька, сколько мы дров нарубили!  
Пули свои на себя ж изводили

Двадцать пять лет! – вот и драп целым войском,  
Вот и спиртуюсь, ночуя во гробе,  
В городе нефти, в тылу приморском».

5

Значится в описях разве у Бога

*Случевский*

В городе нефти, в тылу приморском  
Госпиталь близко и к церкви, и к дому.  
Девичья Башня над перекрестком  
Многоязычным укутана в дрему.

Я же из церкви, заплаканной воском,  
К морю иду, от мазута цветному,  
И застываю перед киоском:  
Все же куплю газировку слепому!

Значится в описях разве у Бога  
Эта бутылка с пузырярчатой влагой.  
К морю спиной в район недостроек

Мчусь, оскорбленная тем бедолагой.  
Да, я лечу в оперенье убогом –  
В тесной матроске, в туфлях без набоек.

6

Шум стихотворства и колокол братства  
*Мандельштам*

В тесной матроске, в туфлях без набоек  
Всё же я встречу нашу победу.  
Даром ли из обнищальных помоек  
Солнце встает и голодному бреду

Дарит кулек сладко пахнущих слоев!  
Всё еще ждет меня, непоседу, –  
И общежитье, и прелесть попоек,  
Где подкрепляет рифма беседу.

Это – реально. Но сколь утопична  
Книжная мысль – услышать на столичной  
Почве (в понятии старомосковском).

Шум стихотворства и колокол братства!  
... Ну, а пока надо с духом собраться  
Девочке в зале консерваторском.

Глядя на них, мне и больно и стыдно  
*Лермонтов*

Девочка пела в консерваторском  
 Зданье, чью внутреннюю отделку  
 Остановила война, но к подмосткам  
 Кóзлы приставлены, чтоб хоть побелку

Кое-как сделать. А в свете неброском  
 Лица, попавшие в переделку,  
 Скрыты бинтами... В окопе отцовском  
 Легче ей пелось бы под перестрелку,

Чем под хлопки – только руки и видно,  
 Глядя на них, ей и больно и стыдно:  
 Сердце привыкнуть еще не успело,

Сердце на сто восемнадцать долек  
 Здесь разрывалось – девочка пела  
 В зале на сто восемнадцать коек.

Яблоне – яблоки, елочке – шишки  
*Пастернак*

В зале на сто восемнадцать коек,  
 Где резонанс – отнюдь не подарок,  
 Где вперемежку и нытик, и стоик,  
 Где на подхвате у санитарок,

У медсестричек и судомоек,  
 Где под диктовку пишу без помарок  
 Письма без всяких идейных надстроек,  
 Не выходящие, впрочем, из рамок,

Я прижилась. Я забросила книжки,  
Пятой забросила, вольному – воля,  
Яблоне – яблоки, елочке – шишки.

Да и в какой я узнала бы школе  
Сущность России! У нас, как ни странно,  
Что ни лицо, то закрытая рана.

9

Лучше заглядывать в окна к Макбету  
*Ахматова*

Что ни лицо, то закрытая рана  
В сон и сегодня глядит издалече:  
В марле плотнее морского тумана –  
Щели для зренья, дыханья и речи.

«Дочка, достань табачку из кармана  
Да закрути самокрутку покрепче...  
Двину из вашего Азербайджана,  
Только куда? Не признают при встрече...»

Легче заглядывать в окна к Макбету,  
Чем в эту чистую прорубь для зренья  
Страхом взлелеянного поколенья.

Вздрогну, проснусь, закурю сигарету.  
Бинт размотать – что версту за верстою...  
Что моя жизнь перед этой бедою?

Мы – зараженные совестью: в каждом  
Стеньке – святой Серафим...

*Волошин*

Что моя жизнь? Что назвать мне бедою?  
Божьи коровки в моем жилище,  
В дарственном столике с ножкой витую,  
В письмах, в тетрадях, в бумаге писчей

Зажили жизнью своей непростою,  
То ли духовной питаюсь пищей,  
То ли иной пробавляясь едою, –  
Много ли надо братии нищей?

Нынче лишь с нею да памятью знаюсь.  
Я, зараженная совестью, каюсь,  
В каждом ответную вижу совесть.

В тертой компашке, такой знаменитой,  
Я – откровенная дурочка, то есть  
Только мое здесь лицо открыто.

Думать не надо, плакать нельзя

*Липкин*

Только мое здесь лицо открыто  
Да и лицо гармониста-солдата:  
В битве прошито, в тылу перешито,  
Ну, а каким оно было когда-то,

Даже зеркальным осколком забыто.  
Вижу глаза без повязки помятой.

Пей, говорю, газировку, Никита!  
Но что слепые глаза виновато

Могут смотреть – так меня поражает,  
Что разревелась, а он утешает  
То ли растерянно, то ли сердито:

«Что ты, певунья, разводишь слякоть,  
Думать не надо, нельзя и плакать,  
Пуля не ранит, не будешь убита!»

12

Нужды нет, близко ль, далёко ль  
до берега...

*Баратынский*

Пуля не ранит, не буду убита,  
Памяти мнится иная расправа.  
Память на карту глядит деловито,  
Пальцем обводит места лесосплава,

Тычется в «химию» ссыльного быта,  
Где – уповаю – напишет держава  
На несгибаемом теле гранита:  
«Павшим за Родину вечная слава!»

Что ж, я легко соберу узелочек!  
Мне, что голубке, под сводом ковчега  
Нужды нет, близко ль, далёко ль до берега.

И на этапе смогу невозбранно  
Вслушаться, как в предпоследний разочек  
Ломко звенит колокольчик сопрано.

Утро туманное, утро седое  
Тургенев

Ломко звенит колокольчик сопрано,  
В третьей октаве дрожит он впервые,  
Всё уже поздно, поскольку рано  
Голосу лезть на верха роковые.

Девочка, это не Богу Осанна –  
Славит кантата Оспу России,  
Завтра на музыке Хачатуряна  
Связки порвутся голосовые!

Это с дороги голосом хриплым  
Память моя окликает бывшее.  
Нет, не с дороги, ещё я в столице!

Скоро весна! Скоро к елочным иглам  
Вербка прильнет и светло распушится  
Утро туманное, утро седое.

Странник идет, опираясь на посох  
Ходасевич

Утро туманное, утро седое,  
Сорок лет минуло, как не бывало!  
Утро, я вовсе не лицевое  
Нынче ранение разбинтовала,

Я размотала еле живое  
Сердце мое у того перевала,  
Где начинается внебытовое  
Время без всякого интервала

Меж госпитальным и ангельским пеньем...  
Утро! Привыкший к обьедкам, к обноскам,  
Странник идет, опираясь на посох.

Кто же Он? Кровь на ногах Его бóсых  
Рдеет надеждой и цветом весенним  
В свете войны маскировочно-жестком.

15

В свете войны маскировочно-жестком  
Мне и мой нынешний жребий не горек.  
Память осталась вечным подростком, –  
Я ли вхожу в олеандровый дворик?

В городе нефти, в тылу приморском,  
В тесной матроске, в туфлях без набоек,  
Девочка пела в консерваторском  
Зале на сто восемнадцать коек.

Что ни лицо, то закрытая рана.  
Что моя жизнь перед этой бедою?  
Только мое здесь лицо открыто –

Пулей не ранят, не буду убита!  
Ломко звенит колокольчик сопрано:  
«Утро туманное, утро седое...»

*май 1984*

## МОСКВА – 2042

### Главы из романа

#### ВСТУПЛЕНИЕ

К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятый, потертый, с разлохмаченными краями случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау Грюнберг, хозяйкой нашей штокдорфской химчистки. На этом листочке, я разглядел, с одной стороны было написано: «4 шм. У наг. Тт. Л.О.Лъ». И на обратной стороне: «Завтра или никогда!!!» Ну, смысл этой фразы мне совершенно ясен, я его по ходу дела легко объясню. Но что значит первая запись? О каких четырех «шм» идет речь и что означают другие буквы, убей меня Бог, не помню.

Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком, но что им обозначено – предмет, человек, животное? – нет, оно не вызывает во мне никаких решительно ассоциаций.

А ведь память у меня совсем еще недавно была просто прекрасная. Особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета Союза писателей. Хотите верьте, хотите нет, но я номера телефонов никогда не записывал, запоминал их с первого раза.

А теперь?..

Теперь даже о собственном дне рождения я иногда узнаю из поздравительных телеграмм.

Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память.

Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием, скажут: это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить, может или не может, но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю.

Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что *ничто* есть разновидность *нечто*, а нечто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-то.

Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием.

## РАЗГОВОР ЗА КРУЖКОЙ ПИВА

Этот разговор произошел в июне 1982 года.

Место действия: Английский парк, Мюнхен.

Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, не то Махенмиттельбрехер. Что-то в этом духе, но это неважно. Я лично зову его просто Руди.

Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загоразживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со

всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать.

Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются *масс*. Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется *масс* или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это неважно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили о чем попало.

Начали мы, кажется, с лошадей. Потому что этот Руди – коннозаводчик. Он выращивает лошадей и продает их миллионерам. Сам он, кстати, тоже миллионер, хотя это и неважно.

Он хотя и торгует лошадьми, но сам больше всего интересуется разной ультрасовременной техникой. Он ездит на роскошном «ягуаре», напичканном всякой электроникой, а уж что у него дома творится, и говорить нечего. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. (Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее четырех марок в месяц.) Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам.

Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг – русский писатель.

Мне он говорит, что я пишу слишком реалистично, а реализм – это вчерашний день литературы. Честно

говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят, и я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Им о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах.

Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста.

– Фантастика, – сказал он самоуверенно, – это вообще литература будущего.

Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма.

Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну.

Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой, во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна.

– Возможно, – согласился Руди. – Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Орвелла. Разве он не предсказал в деталях создание той системы, которая существует сегодня у вас в России?

– Конечно, не предсказал, – сказал я. – Орвелл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он описал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый старший брат – предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов.

Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно не интересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас.

Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например, путешествия во времени.

– Да? – сказал Руди, закуривая сигару. – Ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?

– Да, – сказал я. – Именно так я и думаю.

– В таком случае, – сказал он, – ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики.

Само собой разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен (сейчас я в нем тоже силен не очень). Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое.

– Да-да, – подтвердил Руди. – Именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в райзекбюро, купить за определенную (довольно крупную)

сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании «Люфтганза». Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан вроде американского шатла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью аппарат развивает околосветовую скорость и тогда время для тебя останавливается, а на земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое.

Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди:

– Знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь – это еще Эйнштейн доказал, – что не только сверх-, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно.

На что Руди вышел, наконец, из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал.

– То, что сказал твой Эйнштейн, – заявил Руди, – давно устарело. Евклид говорил, что параллельные прямые не пересекаются, а потом появился ваш Лобачевский и сказал: пересекаются, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав, а я говорю, что возможно, и я тоже прав.

– Слушай, слушай, – сказал я ему, – не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю (я, когда выпью, всех уважаю), но ты все-таки еще не Эйнштейн.

– Ну да, – согласился Руди. – Я действительно не Эйнштейн. Я – Миттельбрехенмахер – (может быть, он сказал Махенмиттельбрехер, я точно не помню), – но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид.

Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них (Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди) умнее, я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких она законов построена, мне даже не интересно.

И в самом деле. Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки – на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций – и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махенмиттельбрехер или на Эйнштейн, машина и это для меня сделает.

Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Нужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают?

Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену. И он еле-еле оттуда унес ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги.

Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествий во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую фройляйн Глобке, которая работает в райзедюре на Амалиенштрассе фюнф.

– Правда, – сказал Руди, – совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся.

– Почему же все равно, почему же вряд ли? – спросил я. – Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики.

– Да, – усмехнулся он. – Да, это правда. Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и

подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист.

Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.

#### ФРОЙЛЯЙН ГЛОБКЕ

Обстановка в райзедюре на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Множество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фиорды, погреться на Багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере «Королева Елизавета Вторая».

Я спросил фройляйн Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера.

Честно говоря, я в последний момент порядочно оробел. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл и сейчас все райзедюре сбежит, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал фройляйн Глобке свою фамилию и цель своего прихода, она, к моему удовлетворению, а отчасти все же и изумлению, нисколько не удивилась и смеяться не стала. Да, сказала она, у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройляйн Глобке, готова выслушать мои пожелания.

Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву 2042 года. По еще не утраченной советской привычке, ожидая вопроса, а почему именно в 2042-й, а не в 2041-й или 2043-й, я на всякий случай объяснил, что выбрал указанный год, потому что именно в нем мне исполнится сто лет, что я и хотел бы, если возможно, отметить.

Мое объяснение она пропустила мимо ушей. Как всякий западный работник сферы обслуживания, она привыкла к самым идиотским причудам своих клиентов.

Лучезарно улыбаясь, фройляйн Глобке сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним. Потому что они пока единственное в Европе райзбюро, организующее поездки подобного рода. Если меня интересует способ передвижения...

– Извините, – перебил я ее нетерпеливо, – способ передвижения мне уже приблизительно известен, мне его достаточно подробно объяснил херр Махенмиттельбрехер.

– Миттельбрехенмахер, – вежливо поправила она.

Я поблагодарил за поправку и сказал, что меня интересует не теоретическая основа, а практические условия полета. Как там насчет состояния невесомости и вообще не слишком ли сильно качает? Дело в том, объяснил я, что, когда я выпью, меня иногда очень сильно укачивает даже на земле.

– О, насчет первого, – улыбнулась фройляйн, – вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчет укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полета воздержаться от употребления крепких напитков?

– Что? – переспросил я. – Шестьдесят лет воздержания? Фройляйн, вы хотите от меня слишком многого.

– Ну что вы! – горячо возразила фройляйн. – О таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдет шестьдесят лет. А для вас это будет всего три часа. Как обыкновенный полет из Мюнхена в Москву.

– Ну да, – сказал я. – Это конечно. Это я понимаю. Для меня там пройдет только три часа. Но на самом-то деле пройдет шестьдесят лет. И за шестьдесят лет ни капли?

– Ну что вы! Что вы! – фройляйн так разволновалась, что число веснушек на ее щеках удвоилось. – По-

чему же ни капли? В конце концов, пить или не пить – это ваше личное дело. Кстати сказать, в этом полете напитки пассажирам выдаются в неограниченном количестве и, разумеется, бесплатно.

– Это другое дело, – сказал я. – Что же вы мне сразу-то не сказали, что напитки бесплатно? Если бесплатно, тут и обсуждать нечего. Пишите: один билет туда и обратно, место для пьющих и курящих, желательно у окна.

– Хорошо, – кивнула фройляйн. – Однако должна вас предупредить, что наша фирма обратного возвращения не гарантирует. Мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит, но мы не знаем, какие там будут в то время политические условия. Разумеется, консул нашей страны будет всегда к вашим услугам, но, между нами говоря, кто может поручиться, что через шестьдесят лет наша страна будет еще существовать и будет иметь консулов?

Ну да, конечно, подумал я, за шестьдесят лет может произойти, что угодно. Но я же для того и лечу, чтоб узнать, что там именно произойдет.

– Ладно, – сказал я. – Чего уж там. Возвращения вы гарантировать не можете. Но если вы гарантируете бесплатные напитки, то все равно пишите.

Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройляйн Глобке забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мои имя, фамилия, номер паспорта, номер и дата рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали, сами между собой весело перемножаясь. Наконец, цифры замерли, выстроившись в такое число:

*4.578.843.00*

– Билет в два конца, – прочитала фройляйн, – стоит ровно четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три марки.

– Ого! – сказал я.

– Но если вы внесете наличными, мы предоставим вам десятипроцентную скидку, и тогда вся ваша поездка обойдется вам всего... – Она пошевелила пальчиками, цифры опять попрыгали и изобразили новое число:

– Четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь марок и семьдесят пфеннигов.

– Это уже другое дело, – сказал я.

– Кроме того, в случае вашего невозвращения в течение трех месяцев, семьдесят пять процентов стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам.

– Ну, это совсем хорошо, – заметил я. – Правда, у меня все равно таких денег в наличии пока не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет херр...

– Миттельбрехенмахер, – подсказала фройляйн Глобке.

Вот люди! Почему они всегда лезут со своими подсказками? Неужели эта фройляйн думает, что я без нее не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?

### ТРИ МИЛЛИОНА ЗА РЕПОРТАЖ

Конечно, на Руди я рассчитывал совершенно напрасно. Когда я позвонил ему из автомата, он сказал, что с удовольствием одолжил бы мне необходимую сумму, но, к его великому сожалению, он сам сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что последние шесть миллионов он потратил на двух вывезенных из Саудовской Аравии жеребцов, один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что три миллиона тью-тью.

Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым враньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые.

Домой я вернулся отчасти расстроенный, отчасти успокоенный. Не получилось, значит, не получилось. Не судьба. Может, так и лучше. В конце концов мне уже сорок лет, возраст, достигнув которого, от авантюры по возможности уклоняться.

Что касается моей жены, то она таким развитием событий была, как я заметил, очень даже довольна. Потому что я какой ни на есть, а все-таки муж. И если я где-нибудь в этом далеком будущем почему-то застряну, то еще неизвестно, найдет она себе другого такого же или нет.

Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает. Я, понятно, долго упрашивать себя не заставил. Первую рюмку я выпил с женой, вторую и третью, когда она вышла к телефону, а четвертую опять с ней.

– Да, – сказал я, – а все-таки жаль, что не получилось. Очень хотелось бы посмотреть.

– Что там смотреть? Ты думаешь, там за это время что-нибудь изменится?

– За шестьдесят-то лет? – спросил я. – Неужели ты думаешь, что за шестьдесят лет ничего не произойдет?

Тогда она мне напомнила рассказ нашего соседа, который недавно умер. Когда-то он приехал сюда из России с семьей и не хотел распаковывать чемоданы.

– Скоро большевиков прогонят, – говорил он, – и нам придется ехать обратно. Зачем же нам делать двойную работу: распаковываться и опять паковать?

Опять зазвонил телефон. Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки, но не успел наполнить вторую – жена вернулась.

– Тебя какой-то американец, – сказала она.

Американец оказался корреспондентом журнала «Нью таймс». Он спросил, не могу ли я его принять завтра по срочному делу. На мой вопрос, что еще за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор.

(А еще говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону.)

– Хорошо, – сказал я, – приезжайте, только не раньше десяти. Я долго работаю и поздно встаю.

– О'кэй, – сказал он и повесил трубку.

Вот говорят, американцы развязные. Я этого не нахожу. Большинство из всех встреченных мною в жизни американцев воспитаны, деликатны, скромно, но опрятно одеты и очень приветливы. Конечно, они иногда кладут ноги на стол, но меня лично это совсем не шокирует. Они расслабляются или, как они сами говорят, релаксируют. Ну, и правильно. Релаксировать полезно для здоровья. А рефлексировать, как это делаем мы, вредно. Я тоже иногда кладу ноги на стол, но вместо релакса получается сплошной рефлекс.

На другое утро ровно в десять в дверь позвонили.

Открыв дверь, я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме, с темными, зачесанными на косо́й пророб волосами.

– Господин Мак..? – начал я, забыв продолжение его ирландской фамилии.

– Зовите меня просто Джон, – сказал он и улыбнулся.

Я пригласил его в гостиную и предложил кофе.

– Виталий, – сказал он, – у меня к вам большая просьба. Вы выслушаете мое предложение, а потом, независимо от того, примете его или нет, о нашем разговоре не будете никому говорить.

– Вы из ЦРУ? – спросил я.

– Нет, что вы! Я из «Нью таймс», как и сказал. Но все-таки мне бы хотелось...

– Хотите, чтобы я поклялся на Библии?

– Это не обязательно, – улыбнулся он. – Мне достаточно вашего слова. Я слышал, что вы собираетесь ехать в Советский Союз две тысячи какого-то года.

– Как вы узнали? – удивился я. – Я ведь об этом никому не рассказывал.

– Не беспокойтесь, я тоже не расскажу никому.  
– Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит...

– Я все знаю, – перебил он. – Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берет на себя.

– Все расходы? – переспросил я недоверчиво. – Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти два миллиона долларов.

– И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке.

– Три миллиона долларов за какой-то репортаж? Он усмехнулся.

– Виталий, вы, я вижу, еще не совсем освоились на Западе. Это не какой-нибудь репортаж. Это сенсация века. Или даже двух веков. Возможно, она стоит дороже, но наше финансовое положение сейчас не на самом лучшем уровне.

Я обещал Джону подумать. Он оставил мне свою визитную карточку и, не допив кофе, ушел.

## РАЗГОВОР С ЧЁРТОМ

Глубоко ошибается тот, кто думает, что на мое решение хоть сколько-нибудь повлияли бешеные деньги, которые у меня появилась возможность заработать. Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни одним своим волосом.

И, пожалуй, я оставил бы просьбу Джона без удовлетворения, но тут проснулся во мне мой чёрт, который с тех пор, как в меня вселился, только о том и думает, как бы подбить меня на какую-нибудь авантюру. Иногда он перегибает палку, и тогда я давлю его в себе без малейшей жалости. Он затихает и некоторое время не подает никаких признаков жизни. В эти периоды я веду себя почти идеально: воздерживаюсь от питья и ку-

ренья, дорогу перехожу только на зеленый свет, веду машину, подчиняясь всем дорожным знакам, а заработанные деньги отдаю жене до копейки. В такие дни все знающие меня не могут нарадоваться. Одет с иголки, умыт, выбрит, пострижен и к тому же исключительно со всеми любезен.

Но, наступает время, чёрт пробуждается и начинает нудить:

– Ну что ты встаешь? Еще рано, обед еще не готов, можешь поспать. Спешить некуда, все равно когда-то помрешь. Умываться сегодня не нужно, ты это делал вчера. Полежи, покури, наполни легкие дымом. Вон они твои сигареты, на тумбочке.

Чёрт мой такой настойчивый, я не всегда могу перед ним устоять.

Я вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся.

– Bravo! – воскликнул чёрт. – Рак – лучшее средство против курильщиков.

Это его любимое изречение.

– Дурак! – сказал я ему. – Тебе надо не во мне сидеть, а работать в обществе по борьбе с курением.

Затягиваясь дымом «Мальборо», я стал думать о предложении Джона.

Предложение было заманчиво, но все-таки, пожалуй, не для меня. Куда я поеду? Что меня там ждет, в этом далеком будущем? Может быть, какие-то ужасные передраги. А я ведь не мальчик. Я солидный семейный человек, мне вот-вот (неужели правда?) стукнет сорок. Пора успокоиться и остепениться. Избегать излишних волнений, стрессовых ситуаций и сквозняков. Надеть халат, заварить некрепкий чай, ну, в крайнем случае, выкурить трубку и сидеть себе за письменным столом, сочиняя какой-нибудь роман с плавно разворачивающимся сюжетом.

– Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие, – сказал чёрт.

– Пошел вон! – сказал я. – Не суйся не в свое дело. Ты мне надоел.

– Ты мне тоже, – сказал чёрт. – Особенно в такие минуты, когда ты становишься добродетельным. Слушай, слушай, – зашептал он, – ты же хорошо знаешь, что благоразумие неблагоразумно. Сегодня ты боишься простудиться, а завтра на тебя кирпич упал, и тогда какая разница, был ты простужен или нет? Ну чего ты колеблешься? Тебе такая удача выпадает, воспользуйся. Поедем посмотрим, что там ваши коммунисты навывывали за шестьдесят лет.

– А ты любишь коммунистов? – спросил я насмешливо.

– Ну, а как же! – закричал чёрт. – Как же их не любить? Они ведь тоже вроде чертей, всегда что-нибудь веселое придумают. Слушай, ну давай поедем, я тебя очень прошу.

– Ладно, – сказал я. – Допустим, я поеду. Но это будет последняя авантюра, в которую ты меня втравливаешь.

– Прекрасно! – зааплодировал чёрт. – Замечательно! Вполне даже возможно, что она будет последняя.

– Идиотина! – сказал я ему. – Чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать?

– Да-да, – сказал чёрт печально. – Признаюсь, мне тебя будет ужасно не хватать. Но честно говоря, я бы предпочел тебя видеть мертвым, чем благоразумным.

– Заткнись! – сказал я. – И не мешай мне думать.

– Затыкаюсь, – сказал чёрт смиренно и затих, понимая, что свое дело он сделал.

И хотя я сказал Джону, что мое решение вряд ли будет положительным и что я позвоню ему не раньше, чем недели через полторы, я позвонил ему уже через три дня и сказал: ДА.

Я думаю, нечего объяснять, что прежде, чем пуститься в столь рискованное путешествие, какое я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последними.

Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора – вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней.

Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то, выработанным еще в прежние годы в Москве, чутьем ощутил, что за мной кто-то следит.

Мне было очень некогда, но, проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно. То в нем слышны какие-то шорохи (магнитофон?), то он сам по себе почему-то тренькает, то, звоня кому-то, я попадаю не в тот номер, то ко мне попадает кто-то, кто звонил вовсе не мне.

Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того, ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил, но однажды нашел под самой своей дверью окурки сигареты «Прима».

Другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо моих ворот на велосипеде, он слишком старательно от меня отвернулся.

Потом в одном из прилегающих переулков мое внимание чем-то привлек старый зеленый «фольксваген» с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету «Правда».

На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию. Там меня внимательно выслушали, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчаты и неконкретны. Впрочем, было мне сказано, если у меня появятся более убедительные доказательства слежки, они, разумеется, примут необходимые меры.

Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер «фольксвагена», а окурочек «Примы» положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.

## ПОХИЩЕНИЕ

В тот же день со мной случилось происшествие, которое теперь можно назвать забавным, но тогда оно мне таковым не показалось.

Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться.

Я сел на велосипед и поехал прокатиться по нашему штюкдорфскому лесу.

За время своего изгнания я привык к велосипедным прогулкам и полюбил их. Весь этот преимущественно хвойный лес, который отделяет нашу деревню от окраины Мюнхена, очень мне мил и напоминает наши подмосковные леса, но отличается от них тем, что вдоль и поперек пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками с указателями на перекрестках и подробными планами на опушках. Так что заблудиться здесь можно только при очень большом желании.

Я ехал по своей любимой дорожке, соединяющей Бухендорф с Нойридом, она прямая, асфальтированная и всегда пустынна в будние дни. Я ехал довольно быстро, обдумывая предстоящее путешествие, и, видимо, так увлекся своими мыслями, что не заметил чего-то, что ожидало меня на дороге.

Я и сейчас не знаю, что там было. Скорее всего натянутая поперек дороги веревка, на которую я налетел, упал и потерял сознание. А может, меня оглушили каким-то другим способом, ничего определенного сказать не могу. Я только помню, что я ехал на велосипеде и думал. А потом наступил какой-то провал в памяти, а потом, как говорят американцы, я нашел себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной.

Думая, что нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение, и хотел вскочить на ноги. Но тут же я заметил, что, во-первых, тело меня не очень хочет слушаться, а во-вторых, я нахожусь не дома, а внутри какого-то автобуса с занавешенными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека, два в обыкновенных строгих костюмах, а один весь в белом, должно быть врач.

Батюшки! – подумал я. – Что ж это со мной случилось, подо что я попал и куда меня везут? Я пошевелился, чтоб как-то себя ощупать, проверить целостность своего организма.

Как только я проявил признаки жизни, люди, сидевшие передо мной, тоже зашевелились, а врач сказал что-то на незнакомом мне языке. Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе не врач, а скорее всего, какой-то араб в национальном белом балахоне и такой же белой накидке, закрывавшей половину лица. Двое других были, вероятно, тоже арабы, но одетые по-европейски. Этим, в костюмах, было лет по тридцать, а тот, в накидке, был, пожалуй, постарше.

При моем пробуждении они сначала перекинулись несколькими словами, а потом тот, который в накидке, заговорил быстро, громко и повелительно. Причем, когда он открыл рот, от его зубов изошло голубоватое сияние, и в автобусе вроде бы даже стало светлее.

Когда он замолчал, один из его спутников, кивнул и по-английски обратился ко мне. Назвав меня по фамилии (разумеется, с добавлением слова «мистер»), он сказал, что Его Высочество (то есть тот, который в накидке) приносит мне свои глубочайшие извинения, что им пришлось столь бесцеремонно со мной обойтись. Они никогда не позволили бы себе такого обращения со столь уважаемым и достойным человеком, каким они меня безусловно считают, и только исключительная необходимость толкнула их на такой поступок, о чем Его Высочество еще и еще раз весьма сожалеет.

Очевидно, после чего-то, что со мною недавно случилось, у меня было некоторое помрачение памяти, я не знал, о чем именно сожалеет Его Высочество, и решил промолчать.

– Однако Его Высочество, – продолжал переводчик, – очень надеется, что вы чувствуете себя достаточно хорошо и не будете слишком долго держать на нас обиду. Его Высочество, со своей стороны, готово возместить материально тот небольшой ущерб, который мы невольно вам нанесли.

При этих словах Его Высочество энергично закивало головой (не открывая, однако, лица), потом полезло к себе под подол, долго путалось там в складках и ковырялось, и, вытащив, наконец, кожаный мешочек, вроде кисета, аккуратно положило его на разделявший нас узкий столик.

– Что это? – спросил я, косясь на мешочек.

– Небольшой личный подарок Его Высочества, – улыбнулся переводчик (и Высочество тоже улыбнулось смущенно). – Немного золота.

Я закрыл глаза и стал думать, что это за люди и чего они хотят от меня. Ничего не придумав, я открыл глаза и прямо спросил их об этом.

Сначала Его Высочество что-то быстро-быстро проговорило. Потом переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. Узнав о моей предстоящей поездке...

– Как вы о ней узнали? – перебил я его.

– У нас на Востоке говорят, – тихо сказал переводчик, – что, если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир.

Так вот, приложив ухо к земле и узнав о моих планах, они решили обратиться ко мне с одной маленькой, но деликатной просьбой. Они надеются, что в великом Советском Союзе, большом друге арабских народов, через какое-то время некоторые секреты перестанут быть секретами. И они, мои спутники, были бы мне

очень благодарны, если бы мне удалось достать и привезти сюда подробный чертеж обыкновенной водородной бомбы, которая им нужна исключительно для мирных целей. Если я окажу им такую услугу, то они и лично Его Высочество в долгу не останутся, и мешок золота, который я получу в обмен на несколько кадров фото пленки, может быть в пятьдесят раз больше того, что лежит перед моими глазами.

Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Ходжи Насреддина, который, как известно, в свое время обещал шаху в течение двадцати лет научить ишака говорить по-человечески. При этом Насреддин считал, что ничем не рискует, потому что за двадцать лет или шах умрет, или ишак, или он, Насреддин, предстанет перед Аллахом.

Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж послушным исполнителем их пожеланий, я сказал, что, разумеется, постараюсь (и даже не столько за деньги, сколько из исключительного уважения к их стране и лично Его Высочеству) сделать все, что будет в моих скромных силах, но конкретно обещать ничего не могу. Мне, сказал я, сейчас даже трудно себе представить, какой будет моя страна через столь долгий промежуток времени, и я не знаю, какие сведения будут уже открыты, а какие все еще останутся секретными.

– Видите ли, – сказал я осторожно, – я очень хотел бы быть вам полезным, но в то же время всякая незаконная деятельность противоречит моим моральным принципам.

Тут они все трое загалдели наперебой по-арабски, и вдруг Его Высочество на чистом русском языке и даже почти без акцента сказало:

– На ваши принципы мы не посягаем и ни к чему принуждать вас не собираемся. Но когда вы будете воз-

вращаться из прекрасного будущего в наше трудное настоящее, вам, может быть, захочется подумать о себе и о будущем своих детей и внуков.

– Ваше Высочество, – спросил я, потрясенный, – где вас так хорошо учили русскому языку?

– В Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, – охотно ответило Высочество и улыбнулось, излучая загадочное сияние.

На этом наш разговор закончился, и через пять минут мои похитители высадили меня вместе с велосипедом и кожаным мешочком на какой-то улице.

Выходя из автобуса, я не удержался и спросил Его Высочество, не из платины ли сработаны его зубы.

– Ну что вы! – отозвалось Высочество. – Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе брильянтовые коронки.

## НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Вот вы подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на шестьдесят лет вперед?

Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Кауфхоф (по нашему – Торговый двор) в полной растерянности.

В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы? Зажигалки? Калькуляторы? Жвачки?

Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение шестидесяти лет, в результате развития технической революции, исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс, в деле производства предметов жевания и снабжения ими широких слоев населения произойдут коренные перемены к лучшему.

Ну, и насчет джинсов я тоже думал, что через шестьдесят лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит, и уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские по крайней мере в Москве достать будет можно.

Пару джинсов я все же купил. А еще купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных зонтиков, электронные шахматы, две готовальни и всякую парфюмерию: губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы, такие вещи, я знаю, никогда не устаревают.

О себе я, конечно, тоже подумал и запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой «Жиллет» и двумя пачками лезвий.

Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и несравненно лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными.

Увидев майки, с надписью «Мюнхен – 1982» я, конечно, тут же взял штук пять. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись (хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой тогдашней), я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я находил и маленькие переулки и даже тупики, в которых когда-то жил.

– Улицы Черняховского там нет? – услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся.

Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник.

Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио, я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в Доме

журналистов, много пили, ухаживали за одними и теми же женщинами, при случае разыгрывали друг друга, а я в свое время даже дал имя Букашев одному из второстепенных своих персонажей.

Лешка был из тех людей, кто плохого зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так: «Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку?»

По своим взглядам он был законченный циник и карьерист. Но карьера его сложилась только со второго захода.

Первый заход он начал еще на первом курсе университета.

Я и сейчас хорошо помню его тогдашнего. Среди всех наших студентов он был один из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии и еще весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать Полина Петровна работала дворничихой на Сивцевом Вражке, где у нее была комната семь с половиной квадратных метров без окон.

Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда (даже в армии) не наедался досыта. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы овладеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции (его однажды били).

Но уже на первом курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории, и сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по «партийно-половой линии». Я думал, что его наблюдения над жизнью имеют отрешенный характер, а потом увидел, что нет, он пытается унотребить их для практических целей.

Едва поступив в университет, он тут же начал активничать, скоро стал комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду

не выпускал и сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой одного исторического и героического большевика и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе.

На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться на этой студентке и перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого иные Лешкины предшественники добрались до самых верхов власти.

И вот его выдвинули и должны были голосовать, и исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод.

И тут на трибуну вышла заплаканная Лешкина невеста и сказала, что, как ей ни трудно, она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он — человек с двойным дном: на публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина «Вовка-морковка».

Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, и, больше того, в комсомоле он остался со строгачом в личном деле.

Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лешка работал репортером самого низшего разряда, писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях.

Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию. Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное.

Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из Союза писателей и даже собирались посадить, а он,

наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполнял там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились.

## ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

– Ну привет, – сказал он мне дружелюбно и протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать. Но должен признаться, что моей принципиальности на такие церемониальные движения никогда не хватало.

Пожав его руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене.

– Да так, – сказал он, по-прежнему усмехаясь. – Приехал посмотреть, где чего дают.

Желая как-то его уязвить, я спросил, неужели ему не хватает того, что дают в ГУМе.

– ГУМ, старик, – сказал он мне назидательно и цинично, – существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют в милиции. Кроме того, там очереди, а я очередей не люблю. Ты не знаешь, где тут кассеты для видео?

Я сказал, что не знаю, и спросил, что он здесь делает.

– Это неинтересно, старик, – отмахнулся он. – Мелкие интриги.

– А я думал, ты занимаешься большой политикой, – сказал я.

– Большая политика, – возразил он, – в основном из мелких интриг только и состоит.

Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно.

– Нет, старик, не боюсь. Здесь, среди покупателей, есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную.

– Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди? – спросил я, упирая на слово «ваши».

– Ну да, наши и... – Он засмеялся. – И ваши тоже. Слушай, старик, ты куда-нибудь торопишься?

– Нет, – сказал я. – А что?

– Так, может, нам пойти, трахнуть по кружке пивка?

– Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться?

– Старик, – сказал он с некоторой внутренней гордостью. – Уверю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может. Но тебе оно тоже ничем не грозит.

– А кто тебя знает, – сказал я, желая его обидеть. – Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда.

– С каким бы ни приехал, – сказал он, не обижаясь, – ты можешь не сомневаться, что мокрыми делами я не занимаюсь. Для этого есть другие люди, с которыми я, впрочем, не знаком.

Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную в Английском парке, где недавно мы пили с Руди.

Сейчас мы тоже заказали по «массу». Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застёжками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул «яволь» и побежал исполнять заказ, а Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни: как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь.

По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте

судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он был как раз против «якутского» варианта.

– Другие были за? – спросил я.

– Не все, но некоторые были.

– А ты почему был против?

– У меня было три причины, старик, – ответил он невозмутимо. – Во-первых, я, если ты помнишь, смолodu был готов творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале.

Тут же он стал меня убеждать (и, как мне показалось, вполне искренне), чтобы я не терял время, а писал.

– Для кого писать-то? – спросил я. – С моим читателем вы меня разлучили.

– Старик, не надо преувеличивать, – сказал он. – Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до чёрта, за всеми, кто чего везет, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу.

– Чудные вы, большевики, люди, – сказал я. – Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?

– Идиотизм, – согласился охотно Букашев. – Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская.

Я посмотрел на него недоуменно.

– Значит ты тоже, – спросил я, – понимаешь, что система идиотская?

– А что? – сказал он. – Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом.

И другие не идиоты. Все всё понимают, но ничего сделать не могут.

– Не понимаю, – сказал я. – Если вы все всё понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках.

– Власть-то в руках. Да только как ей воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал?

– У-у! – завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. – Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к чёрту всю вашу партию.

– Это понятно, – сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмущившись. – Ну, разогнал бы, а дальше что?

– Не знаю, что дальше, – сказал я. – И даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти.

– Ишь ты какой! – Он посмотрел на меня сквозь кружку. – Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом.

– Чушь! – возразил я. – Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?

– Ты прав, старик, – сказал он, стирая с губ пену. – Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и семидесяти. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупостей наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки. А так не получается.

– Да и не может получиться, – сказал я. – Утопия есть утопия.

– Откуда ты знаешь, утопия или не утопия. – Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол. – Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом...

– Слушай, – сказал я, – зачем ты мне эту хреновину порешь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить всяких левых, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что ты веришь сколько-нибудь в коммунизм?

– Миленький мой, я вообще ни во что не верю, – усмехнулся он. – Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть.

– Шансы? – я задохнулся от возмущения. – После всего, что вы натворили? Какие там шансы?

– Я тебе говорю: какие-то. Маленькие. Может быть, даже совсем ничтожные. Но они есть. Слушай, браток, – схватил он за штаны пробежавшего мимо официанта. – Притарань-ка нам еще пару пивка.

– Яволь! – охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ.

Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву.

– Леша! – я назвал его впервые за нашу встречу по имени. – Что происходит? Ты же ему по-русски сказал! Как же он тебя понял?

– Да? – переспросил он озадаченно. – Я сказал по-русски? А, ну значит, это кто-то из наших. Неважно, не обращай внимания. Это тебя не касается.

Официант принес и поставил на стол еще два масса.

– Застегни пуговицу! – сказал ему Букашев насмешливо.

Рука официанта невольно дернулась к пуговице. Но он тут же опомнился.

– Их ферштее зи нихт, – сказал он резко и отошел.

– Вот и работай с такими! – вздохнул Букашев. – Прокальваются на любой ерунде. Так вот что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие

возвышенные бредни не верил. Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся.

Я сбегал по малому делу.

– Знаешь что, – сказал я, вернувшись, – я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся, я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения. Система прогнила, окостенела, вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны.

– А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься! – с неожиданной горячностью возразил он. – На что-то мы способны. И что-то сделаем.

– Что вы сделаете? – я посмотрел на него в упор.

– Какие-то идейки имеются, – сказал он, не отводя взгляда. – Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если б можно было заглянуть вперед, лет, скажем, на пятьдесят-шестьдесят и узнать, что из этого всего получилось... – при этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся.

Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашев хотел от меня?

Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей.

Потом спросил о моих планах на лето, и я опять не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства.

Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь... Ну скажем... – (я ляпнул наобум) – ...в Гонолулу.

– Гонолулу! Гавайские острова! – мечтательно произнес Букашев. – Ты знаешь, где только я уже не шатался, а на Гавайях еще не бывал. Должно быть, хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами. Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?

– Давно, – сказал я.

– Говорят, она стала очень религиозна.

– Со временем люди меняются, – сказал я уклончиво.

– Чепуха! – возразил он. – Они меняют предмет поклонения. Но при этом остаются такими же, как были. Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсурила. Я уж думал, и не вылезу. Ну ладно, старик, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать?

У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же.

– Слушай, – сказал я. – А правда, про тебя говорят, что ты майор КГБ?

– Ну да, вроде, – согласился он с удовольствием. – А может, даже повыше. Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтоб на тебя стучать? Нет, старик, я играю в другие игры и ставлю по-крупному.

Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих.

На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый «фольксваген», но номер у него не франкфуртский, а кельнский. Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся.

– Это наши, – сказал он. – Не беспокойся, они едут не за тобой, а за мной.

Он попросил меня высадить его у «Фир Яресцай-тен»\*, самой роскошной гостиницы Мюнхена.

---

\* Vier Jahreszeiten – Четыре времени года.

Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить.

– Когда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю? – спросил я.

– А, ну да! – сказал он. – В Гонолулу. Я и забыл. Но ты ж не навек туда едешь, – при этом он пристально на меня посмотрел. – Когда-нибудь ты вернешься и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть.

Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думал. Впрочем, меня это особо не волновало.

Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый «фольксваген». Потом, по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало и сделал несколько проверочных маневров с заездом в глухие переулки и тупики. «Фольксваген» не появлялся, никаких других следов слежки я не заметил тоже.

## ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

Не знаю, как у других, а у нас, у русских, принято прощаться долго и всерьез. Уходит ли человек на войну, отправляется ли в кругосветное путешествие, едет ли в соседний город в несколькодневную командировку или наоборот, в деревню к родственникам, его провожают долго и обстоятельно.

Поэт сказал: «... и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг».

Именно так мы и делаем. Созываем гостей, пьем, произносим тосты за отъезжающих, за остающихся. Перед выходом из дома принято на минутку присесть и помолчать. А потом на вокзале, на пристани или в аэропорту мы долго целуемся, плачем, произносим глупые напутствия и машем руками.

У нас в доме было принято, что, когда кто-нибудь уезжал, мать не подметала полы до тех пор, пока от уехавшего не приходила телеграмма о благополучном прибытии на место.

Может, кто-то считает это дикостью, но мне весь этот ритуал, замешанный на вековых традициях и привычках, нравится и кажется исполненным высокого смысла. Потому что мы никогда не знаем, какое из наших прощаний окажется последним.

«...И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

Короче говоря, проводы мы устроили честь по чести. С блинами, икрой, шампанским и водкой. Народу всякого русского и нерусского скопилось столько, что сидели чуть ли не по двое на одном стуле. Понятно, мы нашим гостям ничего ни о сроках, ни о направлении моего путешествия не говорили, но вели себя при этом так глупо, загадочно и многозначительно, что пришедшие невольно стали строить догадки, что я то ли собираюсь пересечь на воздушном шаре Атлантический океан, то ли провести какое-то время среди афганских повстанцев.

Все эти домыслы я не отрицал и не опровергал, что вызвало еще более нелепые предположения, включая даже и такое, что я хочу просто запереться дома и, сказавшись отсутствующим, писать новый роман.

Среди гостей был и Руди, который (я должен это отметить особо) вел себя самым деликатнейшим образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности.

Надо сказать, что проводы прошли хорошо, хотя несколько затянулись. Последнего гостя мы вытолкали без четверти три ночи, а в четверть седьмого утра жена уже подняла меня на ноги.

Можете себе представить мое состояние, когда я, нисколько еще не протрезвевший, страдая от головной боли, изжоги и отрыжки, волок к машине че-

модан, набитый подарками моим предполагаемым друзьям.

Жена забегала вперед, проклиная меня, что я иду слишком медленно. Хорошо ей было говорить, если у нее в руках был только маленький чемоданчик типа «дипломат», в который я наспех покидал майки, трусы, носки и всякие вещи, которыми бреются, причесываются, стригут ногти и чистят зубы.

Собственно говоря, времени у нас было достаточно, но, когда мы дотацились до машины, выяснилось, что накануне я забыл выключить фары и аккумулятор сдох. Вызвали такси, но у самого аэропорта влипли в пробку: полиция перекрыла дорогу из-за двух столкнувшихся автобусов.

Короче говоря, в аэропорт мы попали, когда посадка уже кончалась.

Меня так мутило, что, поднимая чемодан на весы, я чуть не упал. А когда работница «Люфтганзы» спросила меня, какое мне выписать место, «раухен одер нихт раухен», я сказал «раухен» и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался.

## ЛИЦО В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Летательный наш аппарат снаружи я разглядеть не успел. Не только потому что не было времени, но и потому, что пассажиры входили в него через выдвижной коридор, какие бывают сейчас во всех современных аэропортах.

Внутри же это был самолет как самолет: кресла, ремни, иллюминаторы и стюардессы.

Пассажиров было немного. Человек десять-двенадцать или пять-шесть (у меня в глазах все двоилось).

Я занял место у окна, перешагнув через колени прыщавого молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших темных очках, мне показалось знакомым, но я не придавал этому никакого значения. Когда я бываю надрвавшись, по крайней мере половина встречаемых мною людей кажутся мне знакомыми.

Пристроив «дипломат» в ногах, я стал смотреть в окно. Там шли обычные предполетные приготовления. Люди в синих комбинезонах что-то там осматривали и заправляли, а один с переносной рацией и в наушниках с кем-то говорил в микрофон.

Кажется, я задремал.

Когда я в первый раз очнулся, наш фантастический драндулет уже плыл, покачиваясь, по рулежной дорожке.

Остановился, двинулся, снова остановился.

Я глянул в иллюминатор и определил, что мы находимся в центре довольно длинной очереди самолетов, ожидающих разрешения занять свое место на взлетной полосе. Передняя половина очереди загнулась вправо, что давало мне возможность видеть машины, идущие впереди. Первыми шли два самолета «Люфтганзы», затем «Алиталия», за ними самолет израильской компании «Эль Аль», потом болгарский Ту-154, английская «Каравелла» и еще один немецкий «Боинг». Когда же, наконец, и мы завернули, я увидел, что непосредственно за нами, припадая к земле дельфиным носом и словно принохиваясь к нашему следу, рулит гордость советского Аэрофлота – Ил-62, бортовой номер 38276.

Несмотря на общее в результате алкоголизма ухудшение памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на серединную цифру, получается простое произведение:  $38 \times 2 = 76$ . Чтобы не запомнить такое, надо уж быть совсем маразматиком, а я им, слава Богу, еще не стал.

Конечно, разглядеть, что находилось внутри Ила, было просто невысказано, да я к этому и не стремился. Я просто разглядывал сам самолет, общие его очертания, когда увидел или мне показалось, что увидел за одним из иллюминаторов прилипшее к стеклу и расплывшееся лицо... ну, кого бы вы думали? Ну, конечно, Лешки Букашева.

То есть сейчас я бы голову на отрез за то, что это был именно Лешка, не дал, но тогда мне показалось, что я увидел его.

Глядя на него, я невольно усмехнулся. Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ. У них были мощные форсированные моторы, и мне почти никогда не удавалось от них оторваться.

Но теперь ситуация изменилась. Теперь, если бы даже Букашев и захотел следить за мной, это ему вряд ли бы удалось. Он еще будет озирать окрестности Мюнхена, когда наш летательный аппарат уже выйдет за пределы Солнечной системы.

Мои мысли прервало сообщение по радио. Капитан корабля херр Отто Шмидт, поприветствовав пассажиров, просил пристегнуться и воздержаться временно от курения. Он пожелал пассажирам и самому себе счастливого полета и выразил надежду, что там, куда мы вскоре прибудем, нас вместе с нашим замечательным космоланом не сожрут какие-нибудь динозавры или чудовищные мутанты, расплодившиеся на земле после всеобщей ядерной катастрофы. Все пассажиры, само собой, похихикали, и я тоже, но, честно признаюсь, мне от этой шутки стало немного не по себе.

Тем временем пришло разрешение на взлет. Наш аппарат загудел на месте, раскручивая крыльчатки своих турбин, затем тяжело тронулся с места и с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлетную полосу.

Проплыла мимо очередь самолетов, промелькнули аэродромные постройки, ухнула, провалилась забитая разноцветными машинами автострада. Я увидел излучину реки Изар, цилиндрическое здание фирмы БМВ, двуглавую церковь Фрауэн Кирхе, а дальше подробности размывались, смазывались, очертания лесов и озер сжимались, словно я смотрел в перевернутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние.

Прощай, Мюнхен! Прощай, Германия! Прощай, моя прошлая жизнь! Прощай, проклятый двадцатый век!

## ПОЛЕТ

Я подозреваю, что читателей этой книги интересуют подробности космического путешествия: перегрузки, звездные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций.

Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было, и ничего лишнего.

А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я очень охотно бы опустил, и только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов.

Так вот, говоря по правде, я о самом полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что, как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собою тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал: водку. Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик

и игрушечную (50 граммов) бутылочку водки «Смирнофф». Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоть и спросил, детям примерно какого возраста дают такие вот порции. Она понимала юмор и тут же, все с той же улыбкой, достала вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведения, что, когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств чего бы то ни было вообще в природе не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться.

– Хорошо, – сказал я, – давайте десять.

Названное мной число вовсе не относится к числу невообразимых. Однако, порывшись в тележке, стюардесса нашла в ней еще пять пузырьков «Смирнофф», а за остальными сбегала в головную часть нашего аппарата.

Когда я выставил все бутылочки перед собой, мой сосед, заказавший стакан томатного сока, снял темные очки и стал следить за моими действиями не без интереса. Потом извинился и спросил, неужели я действительно готов в себя вместить все это ужасное количество водки. Я объяснил, что пол-литра водки для русского человека есть первоначальная и я бы даже сказал, естественная норма.

Его лицо без очков показалось мне еще более знакомым, чем прежде. Где-то я его определенно видел. Высосав два пузырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене, на главном вокзале. Там, у билетной кассы, висели портреты левых террористов, за каждого из которых полиция обещала пятьдесят тысяч марок.

Сейчас пятьдесят тысяч сидели рядом со мной.

Конечно, полиция всегда предупреждает население быть с террористами осмотрительными и самим их не трогать, но сейчас я подумал, что этого сморчка мог бы

придавить без всякой полиции. Если у него даже и есть оружие, он вряд ли сможет его употребить. Впрочем, нужды в немецких марках у меня сейчас не было, поэтому, выдув еще пару бутылочек, я сказал соседу, что я его узнал. Он начал отпираться.

– Брось свистеть, – сказал я ему. – Я вас, террористов, насквозь вижу, но выдавать тебя не собираюсь, поскольку, во-первых, не стукач, а во-вторых, ввиду отсутствия здесь немецкой полиции.

Он потупил глаза и скрытно пожал мне руку. Потом вполголоса сказал, что их партия ценит в людях благородство и никогда не забудет оказанной мною услуги. Я спросил, что за партия, и он охотно мне объяснил, что называется их партия «Мысль-идея-действие». Она ставит своей целью ниспровержение прогнившего капиталистического строя и замену его прогрессивным коммунистическим. Понимая, что пропаганда передовых идей должна быть действенной и наглядной, члены Исполнительного комитета партии провели несколько исключительно успешных операций: совершили нападение на американскую военную базу, казнили по приговору революционного подпольного суда двух известных промышленников и одного прокурора.

– К сожалению, – сообщил мне террорист, – наши действия пока не находят достаточного понимания у народных масс. Развращенные хитроумными уступками капиталистов и продажностью профсоюзных лидеров, рабочие и крестьяне не дошли еще до осознания своих классовых интересов и не хотят подниматься на всеобщую борьбу за окончательное торжество коммунистических идеалов.

– Да-да, – поддержал я соседа. – Люди бороться не хотят, потому что живут слишком хорошо. Зажрались.

– Не только это, – возразил террорист. – Пассивному отношению народа к революции в значительной степени способствует антикоммунистическая пропаганда. Она ловко использует ошибки, допущенные в Совет-

ском Союзе и странах Восточной Европы, и изображает коммунизм только черными красками. Я надеюсь, что мне удастся положить конец этим злобным измышлениям.

– Каким образом? – спросил я.

Молодой человек охотно ответил, что так решили его товарищи по борьбе. Узнав о возможности путешествия во времени, они решили послать одного из самых активных своих членов в будущее, чтобы он одновременно мог ускользнуть от полицейских ищеек и в то же время увидеть коммунизм своими глазами и привезти убедительные доказательства его полного и безусловного превосходства над всеми остальными системами.

На мой вопрос, где он достал деньги на билет, он, усмехнувшись, напомнил мне о недавнем дерзком ограблении Дюссельдорфского банка, когда были убиты один кассир и два полицейских.

Не дожидаясь моего следующего вопроса, он объяснил мне, что убийства людей практикуются их партией как исключительная мера, допустимая лишь в период обострения классовой борьбы и ради высоких целей. Но как только коммунистический строй победит, все тюрьмы будут немедленно уничтожены, а смертная казнь навеки упразднена.

Естественно, я спросил его, какой приблизительно представляется ему жизнь в будущем коммунистическом обществе.

Молодой человек представлял эту жизнь не приблизительно, а совершенно ясно. И тут же рассказал, что люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце (когда естественное солнце будет исчезать, тогда автоматически будут включаться заменяющие его кварцевые светильники). Понятно, что в таком городе будет много замечательной растительности, улицы будут засажены пальмами и платанами.

– При коммунизме, – сказал человек, – все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку.

– А что, – поинтересовался я, – старости, болезни и смерти не будет?

– Вот именно, что не будет! – горячо заверил молодой человек. – Я же вам говорю, все люди будут молодые, здоровые, красивые и, конечно, бессмертные.

– Очень интересно, – сказал я. – А как же вы этого всего собираетесь добиться?

– Мы никак не собираемся, – быстро возразил террорист. – Мы люди действия. Мы заняты борьбой. А проблемы здоровья и вечной молодости пусть решают ученые.

Возвращаясь к разговору о климате в будущих городах, я заметил, что жить в идеальных условиях при постоянно светящем солнце и пальмах, вероятно, очень приятно, но как быть тем людям, которые любят снег, мороз и всякие зимние развлечения?

Для таких людей, сказал он, тоже будут созданы все условия. Для них в специально отведенных частях солнечного города будут насыпаны мягкие горки из искусственного снега. По горкам можно будет сколько угодно кататься, сидя в укрепленных на лыжных полозьях креслах-качалках.

Я его еще спросил, можно ли будет при коммунизме свободно читать книги. Он был таким вопросом слегка удивлен и сказал, что книги высокоидейные и высоконравственные, конечно, будут доступны каждому при помощи разветвленной сети общественных библиотек.

Тем временем принесли обед (курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок). Под такую закуску грех было не выпить. Высосав еще три пузырька, я прошел по салону и познакомился еще с несколькими пассажирами.

Женщина лет сорока с желтым лицом надеялась в будущем излечиться от рака.

Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли еще через шестьдесят лет действовать газопровод Уренгой – Западная Европа.

В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия.

Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и опорожнил еще два «Смирноффа». Возможно, от выпитого или от неощутимой, но имевшей место космической качки сознание мое несколько помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал в своей памяти тоже урывочно. Временами я настолько ничего не соображал, что, к стыду своему, проплывшую в иллюминаторе Проксиму Центавра принял за Полярную звезду.

Впрочем, все эти космические тела – большие, средние и малые – вообще не произвели на меня должного впечатления.

На своем веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кельнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост. Хотя я знал, что рассматривая эти творения, надо испытывать что-то необыкновенное и произносить соответственно возвышенные слова, я ничего необыкновенного не испытывал, хотя слова, конечно, произносил.

Помню, как-то когда я был в Париже, мне показали здание и говорят: «Смотри, это Лувр!» Я посмотрел и подумал: «Ну Лувр, ну и что?»

То же самое я думал, глядя на пролетавшие мимо нас звезды, планеты, астероиды и каменные глыбы: ну и что?

Но один космический объект все же поразил мое воображение, и о нем я, пожалуй, сейчас расскажу.

Почти в самом конце полета, когда мы вошли уже в зону земного притяжения и плелись со скоростью восемь километров в секунду, херр Отто Шмидт вдруг передал по радио, что справа по борту находится космический объект, вероятно, искусственного происхождения. Пассажиры прильнули к окнам. Я тоже (я справа как раз и сидел). Я увидел огромную шарообразную глыбу метров шестьдесят-семьдесят в диаметре, а может, и больше (в космосе все размеры весьма относительно), с какими-то причудливыми антеннами, колыхающимися на космическом ветру простынями солнечных батарей и очень большими иллюминаторами, похожими на лунные кратеры.

Все иллюминаторы были темны, кроме одного. Но за этим одним было видение, которое мне показалось поистине фантастическим. Там была видна обширная круглая комната, ярко освещенная многоярусной хрустальной люстрой. Вся площадь пола была покрыта восточным ковром, а стены – ореховыми панелями. Недалеко от иллюминатора стоял широкий письменный стол очень хорошей старинной работы, а на нем несколько телефонных аппаратов разного цвета. С одной стороны стола стоял большой глобус, с другой – фикус в кадучке. Были еще какие-то предметы, размещавшиеся у стен: кожаный диван, телевизор, бюст Ленина на красной подставке. Все это вместе напоминало служебный кабинет какого-то очень важного начальника, правда, кабинет довольно-таки необычной формы.

Мне сначала показалось, что в кабинете никого не было, но вдруг я увидел, что откуда-то из глубины выплыла и стала приближаться к иллюминатору огромных размеров рыба. Вернее, мне показалось, что рыба, но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом, заросшим густой бородой. Существо, на котором были старые кеды, потертые

джинсы и малиновый свитер, лениво взмахивая плавниками рук, медленно передвигалось в пространстве, постепенно приближаясь к иллюминатору, но не глядело в него. Устремив взор куда-то вниз, существо шевелило губами, видимо, разговаривая то ли с кем-то, то ли само с собой.

Наша скорость относительно этого странного сооружения была равна почти что нулю, и поэтому было видно очень отчетливо, как это существо, точнее сказать, человек, шевелит губами, хмурится и иногда кому-то на что-то повелительно указывает пальцем.

Вдруг он поднял голову (может быть случайно), вздрогнул, и барахтаясь, как неопытный пловец, приблизился к иллюминатору.

– Эй! Эй! – закричали ему хором пассажиры нашего аппарата (как будто он мог слышать!) и замахали руками.

Он кое-как справился с проблемой передвижения, схватился за какую-то держалку и расплющил лицо по стеклу иллюминатора. Он смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния, какое можно увидеть только на лице человека, ожидающего казни.

Но что больше всего меня сбило с толку и ошеломило, это то, что этот изможденный, плешивоватый и обросший неопрятной бородой человек был чем-то похож на упитанного, благополучного и уверенного в себе Лешку Букашева. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букашев. Тот остался где-то в далеком прошлом. Но когда я так подумал, я заметил, что взгляд этого человека остановился на мне. Боже мой! У меня мурашки прошли по коже. Это никак не мог быть Букашев, но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулся и стал как-то странно жестикулировать. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы ему ответить, но в это время включились, видимо, тормозные двигатели, потому что космический дом с бородатым узником

вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик.

Я хотел обсудить увиденное со своим соседом, но он, кажется, ничего не видел. Во всяком случае, когда я к нему повернулся, он с карандашом в руках читал какую-то брошюру, что-то в ней подчеркивая и делая пометки на полях. Я заглянул снизу, чтобы посмотреть название брошюры. Это было известное сочинение Ленина «Государство и революция» в переводе на немецкий язык.

Вид этого человека, занимающегося столь мирным и обыкновенным делом, успокоил меня, и я решил, что, видимо, задремал и спяну мне что-то такое вот примерщилось.

Надеясь прийти в себя, я высосал последний пузырек смирновки, но от него меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось и я заснул.

БОРТОВОЙ НОМЕР – 38276

Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места, со своими портфелями, сумками и чемоданчиками молча толпились в проходе.

Спяну и спросонья я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел. Но посмотрев в окно, сразу вспомнил.

За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово

«М О С К В А».

Чуть ниже были вывешены в ряд какие-то портреты, а над крышей, в лучах жаркого июльского солнца ярко полыхала рубиновая звезда.

Я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе, высадка будет объявлена особо.

– Этого следовало ожидать, – вернувшись на свое место, сказал мой юный прыщавый сосед. – Наверное, наш космоплан для них уже техника вчерашнего дня, и у них для него нет подходящих приспособлений.

Я не ответил. Я смотрел в окно и не мог оторваться от того, что увидел. Рядом с нашим аппаратом на соседней стоянке стоял ободранный и сильно накрененный на левую сторону самолет Ил-62, бортовой номер... 38276.

Что бы это могло значить?

Я ничего не соображал. Я не понимал, как могло случиться, что этот допотопный тихоход, который не способен развить даже скорость звука, оказался здесь раньше нас.

И тут меня осенила догадка: провокация!

Да, конечно, весь этот полет в будущее был сплошной и ловко подстроенной провокацией.

Надо же как сработали!

Значит, и Руди, который уверял меня в возможности путешествий во времени, и фройляйн Глобке, и Джон, и арабские похитители, и Лешка Букашев, и весь экипаж самолета, который они выдавали за космоплан, действовали по одному и тому же, тщательно разработанному в КГБ сценарию и привезли меня в Москву, но не две тысячи какого-то года, а в сегодняшнюю.

А я, дурак (мало меня учили), так легко попался на эту примитивную удочку.

Сразу протрезвев, я стал лихорадочно искать выход из положения. Но что я мог придумать?

Я подавил в себе первый панический импульс куда-то бежать, спрятаться в туалет, забиться под сиденье. Я всегда знал, что в критические минуты нелепые действия это ускоренный путь к гибели. Но что же мне было делать? «Напасть на экипаж! – подсказал мне мой чёрт не очень уверенно. – Напасть на экипаж, захватить заложников и потребовать немедленного возвращения самолета в Мюнхен». Эту идею я тут же отверг как совершенно неосуществимую. У меня не было с собой ни бомбы, ни пистолета, ни даже перочинного ножа, ничего такого, чем я мог бы угрожать экипажу. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запотевшее окно они были плохо видны, но что-то в них было непривычное.

Их было пять.

На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственно правильного научного мировоззрения и даже не Иисус Христос (хотя Он в этой компании выглядел не совсем своим), а лицо, запечатленное на соседнем портрете. Этот бородатый человек, в просторной армейской робе с генеральскими погонами и слегка распахнутым воротом, был похож... ну на кого бы вы подумали?.. Все на того же Лешку Букашева, с которым я пил пиво в Мюнхене и которого я вроде бы видел в диковинном космическом аппарате. Этот Лешка, хотя и с бородой, был больше похож на настоящего Лешку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни, правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого.

Я схватился за голову и застонал.

Боже! – подумал я. – Ну что же все это значит? Почему мне все время мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допился до белой горячки?

Ну, хорошо, сказал я себе самому. Допустим, я ни в каком космосе не был, а летел на самом обыкновенном Боинге. Допустим, Полярная звезда и космический аквариум, внутри которого плавал Букашев, были всего лишь оптическими трюками, разработанными в лабораториях КГБ. Но что означает вся эта мешанина портретов? Тоже трюки только для того, чтобы ввести меня в заблуждение? Этого быть не может.

К тому, где, какие и в каком порядке вешать портреты советская власть всегда относилась с предельной серьезностью, за всякие вольности в этом деле в прежние времена давали довольно-таки большие сроки. Поверить в то, что их повесили всего лишь ради примитивного обмана попавшего на удочку растяпы, я, честно говоря, просто не мог. Но тогда, что же это все-таки может значить?

Что я должен был предположить? Что Лешка на своем Иле летел быстрее, чем я на Боинге? Что за три часа полета он успел дослужиться до генерала, отбросить бороду, захватить власть и развешать свои портреты? Предположения дикие, но ничего более правдоподобного мне в голову не приходило.

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \*  
\*

Я из земли, где все иначе,  
Где каждый занят не собой,  
Но вместе все верны задаче –  
Разделаться с родной землей.  
И город мой – его порядки,  
Народ, дома, листва, дожди –  
Так отпечатан на сетчатке,  
Будто наколот на груди.

Чужой по языку и с виду,  
Когда-нибудь, Бог даст, я сам,  
Ловя гортанью воздух, выйду  
Другим навстречу площадям.  
Тогда вспорхнет – как будто птица,  
Как бы над жертвенником дым –  
Надежда жить и объясниться  
По чести с племенем чужим.

Но я боюсь за строчки эти,  
За каждый выдох или стих.  
Само текущее столетье  
На вес оценивает их.  
А мне судьба всегда грозила  
Постройкой дома на песке,  
Где все, что нажито и мило,  
Уже висит на волоске.

И впору сбыться тайной боли,  
Сердцебиениям и снам –  
Но никогда Господней воли  
Размаха не измерить нам.  
И только свет Его заката  
Предгрозового вдалеке –  
И сладко так, и страшновато  
Забиться сном в Его руке.

1984, май

\* \*  
\*

*Елене Игнатовой*

Что есть душа? Не спрашивай. Пойдем  
Замерзшими холмистыми лугами,  
Где в густо-синем воздухе ночном  
Между белесоватыми клоками  
То тут, то там морозная звезда  
Проглянет из бездонного провала,  
Не освещая тропки никогда.  
Верх-низ и лево-право растеряла  
Захватывающая кривизна.  
Снег голубеет, небо отражая.  
Шаг в сторону – во мгле растворена,  
Грядой холмов петляет даль ночная.

Не спрашивай. Но есть одни глаза,  
Где пляшет темень, и круги цветные  
Расходятся, и различить нельзя  
Ни зги вокруг. И есть глаза другие:  
В них отсвет ленинградского катка,  
Где свалена еще с блокады мебель,  
Азарт подростка, юного кружка  
Опасное товарищество, небыль

Угарных лет, семейного угла  
Заботливо поставленная крепость –  
И зернышко бесхозного тепла  
На дне зрачка нечаянно пригрелось.

Когда одни в другие поглядят –  
Невидяще, темно, морозно, снежно –  
Уже дохнёт Москва, и это ад,  
А это мы, и дружба неизбежна,  
И недоговоренные слова  
Не пропадут. Так вот: какая сила  
В один пейзаж соединила два –  
И две чужих судьбы к нему прибила?  
Не спрашивай. И без того хрупка  
Проснувшаяся чуткость – и напрасно  
Искать ей объяснения, пока  
И без того внутри светло и ясно.

*1984, ноябрь*

**Редакция и редколлегия журнала «Континент»  
выражают глубокое соболезнование  
Эдуарду Кузнецову  
по случаю кончины его матери**

**ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ  
КУЗНЕЦОВОЙ**

## НА ОЧЕРЕДИ

### Повесть

«...Живая жизнь давно уж позади.  
Передового нет, и я как есть,  
На роковой стою очереди».

Ф. Тютчев

Старуха вот-вот должна была умереть. Она должна была умереть потому, что ей шел уже восемьдесят восьмой год; потому, что все сверстники ее уже умерли и наступила ее очередь.

Последним ушел Марк, Марк Борисович Иткин, ее троюродный брат, близкий друг и некогда, в смутные времена 20-х, ее фиктивный муж и фиктивный отец Зары. Жизнь Марка была сменой навязчивых идей, подчиняющих его себе без остатка; последней из них стало желание «умереть завтра». «Умереть? Да ради Бога! Но не сегодня. Сегодня я занят. Завтра – другое дело, умру с удовольствием!» – и Марк ежедневно вставал в 5.30 и отмеривал ровно пять километров, следя по секундомеру, чтобы сделать в минуту не менее ста двадцати шагов. Ту же процедуру повторял он и перед сном; и что же? Один за другим перенес Марк Борисович три инфаркта, оставаясь, по его словам, «целым, невредимым и свежим, как рыночный творожок».

Но рано, рано он – и вся оздоровительная физкультура ему вослед – торжествовали победу. На четвертом инфаркте смерть догнала скорохода. Марк умер; следовательно, наступила ее очередь.

---

Рукопись поступила из Москвы. Сведениями об авторе редакция не располагает.

И вовремя. 87 есть восемьдесят семь. Галя Абрамовна Атливанникова ослепла на один глаз и плохо видела вторым. Кончики пальцев ее как бы ороговели, онемели от слишком медленного движения крови и не могли более давать осязательного знания вещей. Еще в 30-х, после скарлатины, она стала туговата на ухо, а в 57-м, похоронив единственную дочь Зару, умершую во цвете лет нелепейшей смертью – от укуса клеща, – Галя Абрамовна оглохла совсем. Из пяти органов чувств в ее распоряжении оставались только два: обоняние и вкус; ноги не таскали ее, и уже несколько лет она не покидала пределов своей квартиры. Она постоянно зябла и не снимала даже ночью любимой зеленой шерстяной фуфайки, сохранившейся со времен средних классов гимназии; теперь она опять пришлось по росту; а если оставались силы, Галя Абрамовна наливала еще грелку горячей водой и клала ее в ноги.

Ее организм подобен был дому, где все коммуникации износились и обветшали, батареи греют еле-еле, напор воды ослаб (но все же достаточно силен, чтобы рано или поздно пробить ржавые трубы), где протекают потолки и рушится штукатурка. Старуха постоянно чувствовала, как внутри нее что-то осыпается, словно кто-то там непрестанно отряхивался; и она сознавала, что это не та авария, которую можно ликвидировать, а общее аварийное состояние организма. Но даже если бы и можно было что-то починить в себе, Галя Абрамовна все равно не стала бы с этим связываться по недостатку сил: давно уже чувствовала она, как на границе тела и окружающего пространства происходит размывание, как тяжелеет вокруг нее воздух и давит на все убывающее, теряющее в весе тело, как трудно это – сделать целое движение рукой или ногой. Она чувствовала себя, как человек, бредущий в воде по пояс, а то и по горло, и это сопротивление давлению извне отнимало у нее последние силы.

Жизнь Гали Абрамовны была – остаток, получающийся за вычетом из жизни всех физических способностей организма, за вычетом работы всех почти органов чувств, а значит, и всех почти ощущаемых человеком впечатлений бытия. Вернее всего сказать, что эта жизнь ее и была – самое чистое, ничем почти, кроме себя самого, не заполненное, не ограниченное, почти уже бесформенное бытие. Существование ее изжило, избыло себя и, однако же, задержалось зачем-то здесь, на этом островке, окутанном туманами проваливающейся все время куда-то старческой памяти, на этой нейтральной полосе между жизнью и смертью. Но временами сознание ее выныривало из тумана, и тогда оказывалось, что оно, это сознание, не зависит от старения тела и даже не сводимо к работе памяти и слабеющего ума, а что в нем есть какая-то – главная – его часть, почему-то до сих пор бодрая, живая, одна и та же во все возрасты ее жизни: нить, которая сшивает воедино сотни раз засыпающие и просыпающиеся мысли и чувства, обеспечивая человеку возможность быть, невзирая на целый ряд засыпаний и пробуждений, то есть разрывов сознания, всю долгую жизнь все тем же собой; и эта-то часть ее, именно и называемая самым коротким и самым непонятным словом «я», бодрствует, и, невзирая на оцепенение полумертвого тела, не дает спокойно, расслабленно доживать свой век, но толчками, судорожно и мучительно, работает, пытается справиться с мыслями, никогда прежде не посещавшими Галю Абрамовну и вот вдруг ставшими ее неотвязной, ежечасной, истязующей мукой. С той ночи, когда ее посетила смерть.

Все это было слишком необычно. Галя Абрамовна не привыкла ломать голову над вопросами, на которые никто еще не дал мало-мальски удовлетворительного ответа. Ей было не до того. Имея на руках пожилую мать, дочь, взрослеющую не по дням, а по часам, и мужа, который до самого конца так и не смог ужиться с

новым строем настолько, чтобы сносно обеспечивать семью, Галя Абрамовна жила по горло в заботах. Один Алексей Дмитриевич чего стоил с его бесконечными попытками разбогатеть: с его разведением кроликов, которых раскормил он на славу, так что они, вместо того чтобы плодиться и размножаться с положенной им изумительной быстротой, обленились до такой степени, что перестали даже совокупляться, а всё только спали да спали самым безбожным образом; со стадом коров, которое держал он в кооперативном хозяйстве за Волгой, стадом, вскоре уменьшившимся до одной-единственной коровы, да и та в конце концов сдохла; к чести его надо сказать, во все эти авантюры пускался Алексей Дмитрич, воодушевляемый похвальной мыслью – по-сильно содействовать росту благосостояния семьи, и никак не мог взять он в толк, бывший отличный управляющий образцовыми имениями графа Воронцова-Дашкова, что дела его не идут и не пойдут уже никогда на лад – и вовсе не потому, что допущена очередная ошибка в очередных расчетах, а просто потому, что новая система требовала нового зрения, нового подхода, такого, проще сказать, поворота ума, которого у него не только не было и не могло быть, но о котором он даже и догадаться-то не мог, имея ум старого образца. Все же его знаний хватало на то, чтобы при новой власти найти себе профессию: счетовода; но уже это были совсем не те деньги, к которым он привык, а привычки его были не из тех, с которыми легко расстаться... словом, что с него взять? Грудь не в крестах, зато и голова не в кустах, что уже много, по тому-то времени.

Короче говоря, Галя Абрамовна должна была в основном сама зарабатывать на семью из четырех человек, и она зарабатывала. Она зарабатывала хорошо и в 30-е, и в войну, когда на базаре сайка стоила 60 руб., а буханка черного – 300, а мясо стоило 60 руб. сто граммов на щи; и позже. Она работала в поликлинике, на Воскресенской (ныне Самарской) площади – человек

предусмотрительный, она не хотела отказываться от пенсии, – и приватно, на дому. У нее всегда была клиентура, даже в 43-44 годах она могла позволить себе платить Лиле, как в хорошие времена, 10 руб. за стальную коронку (и Лиля у нее недурно зарабатывала, надо сказать, особенно для начинающего техника-протезиста... во всяком случае, в свои 17 лет она могла кормить себя и малолетних брата и сестру, оставшихся у нее на руках после страшной эвакуации из Смоленска). Может быть, Галя Абрамовна и не была дантистом экстра-класса, но у нее было главное: доброжелательность. Ей как-то сразу удавалось настроиться на теплую волну доброжелательности – каким бы ни был клиент, – и, поставив пломбу, коронку или мост, она совершенно искренне восклицала: «Прекрасно! Восхитительно. Совсем другой рот. Совсем другой человек! Красавец!» И человек, только что плевавший кровавой слюной и мукóй, которую бормашина смолола из его же собственного зуба, человек, только что глухо стонавший, уходил домой с радостным сознанием того, что не только позади все ужасы, но – свершилось именно то, чего он желал и ради чего решился наконец пострадать: превращение его в человека, который отныне избавлен от тягостной повинности – постоянно следить на людях за своим ртом, чтобы тот не открывался более, чем это строго необходимо для принятия пищи или внятного произношения нескольких слов. Галя Абрамовна трудилась с утра до вечера в поте лица своего, хотя сие и заповедано, кажется, мужчине, а отнюдь не красивой женщине, выросшей к тому же в семье с достатком и окончившей классическую гимназию; она трудилась так, пока в 1954 году ее семья не сократилась на одного человека: с Алексеем Дмитричем случился удар. Галя Абрамовна долго не могла утешиться: хотя Алексей Дмитрич и разорял непрестанно семью, хотя – добавим – у нее и была пара увлечений на стороне (за 30-то лет совместной жизни!), но любила она своего мужа ровно и нежно:

за отменные манеры, неизменную булавку в галстук, бархатный голос и шелковистые роскошные усы – откровенно старорежимные усы, доставлявшие своему хозяину кучу хлопот, которые он нес, лишь бы не расставаться с усадой своей жизни, – а всего пуще за удивительную, беззаветную любовь к ней и к Заре, которым он до последнего дня не уставал дарить цветы и не только цветы, закладывая для этого, как выяснилось после его смерти, в ломбард свои безделушки, которых у него оставалось даже и после Октября немало. Да, Алексей Дмитрич любил ее, и Зару любил, как родную дочь; любил Зару и Марк, ее фиктивный отец, и по своему баловал, хотя, не в пример Алексею Дмитричу, был скуповат. У Зары было два отца, один по паспорту, другой по существу, – и ни одного родного; не зная родного (даже фотографии от Мирослава не сохранилось), она любила обоих своих, так сказать, квазиотцов, но Алексея Дмитрича, конечно же, больше. Да, все баловали ее, даже Софья Абрамовна, мать Гали Абрамовны, женщина феноменально скаредная, умевшая сказать, например, за столом полужнакомому человеку, да еще пришедшему свататься: «Что это вы, Алексей Дмитрич, второй кусок пирога берете? Вы уж один съели», – даже она держала в своем ларе, на котором и спала, постелив на него перину, и ключ от которого носила на шнурке за пазухой, сливочные тянучки по 33 рубля кило для внученьки и, вытаскивая их по одной и тут же заперев за собой ларь, протягивала Зарочке с той трогательно-свирепой гримасой, что бывает у больших злых псов, увидевших своих хозяев. Все баловали Зару, все пророчили ей долгую жизнь и светлое будущее; а она умерла через 3 года после Алексея Дмитрича – от укуса клеща! Она работала в Москве, чтецом-декламатором, с самим Николаем Александровичем, и надо же, чтобы на гастролях на Камчатке ее укусил какой-то там клещ! Глупо до невозможности. И тем не менее – энцефалит.

Нелепейшая смерть. Галя Абрамовна оглохла от горя. Но и после Зариной смерти, и даже после смерти мамы несколько лет спустя, она продолжала жить здоровой жизнью, насколько это доступно глухому одинокому человеку. Она еще принимала иногда пациентов, редко: много ли было нужно ей одной? Она тщательно убирала дом – по 4-5 часов в день, и общалась с Марком Борисовичем и женой его Софьей Ильиничной, давно уже простившей Гале Абрамовне и Марку их когдатосный брак, хотя так никогда и не поверившей, что достопамятный сей марьяж был и оставался чистейшей фикцией все те несколько лет, пока они жили у ее матери в Стерлитамаке, спасая себя и Зару от страшного голода 1921 года, когда по волжским деревням ели конский навоз, а случалось, и людей, а в самой Самаре за пару буханок хлеба можно было купить дом. (А между тем, они действительно спали в разных комнатах – да что – спали? Между ними не было ничего, решительно ничего: даже поцелуя. И вовсе не потому, чтобы она была такая уж недотрога, а просто: беременность, тяжелые роды, Зарины болезни, да еще мастит, сильнейшие боли в закаменевшей груди... Надо сказать, самая мысль о мужчине вызывала у нее в этот период физическую неприязнь, тем пуще Марк, с которым они в детстве чуть ли не на одних горшочках сидели. Увлечься Марком? Дичь! Этого не могла понять только Софья Ильинична. Но еще бóльшая дичь – думать, будто она могла просто так, без страсти, без хотя бы увлечения! Увольте. Не в ее привычках. Конечно, всеобщая эмансипация захватила и ее, но существовало еще и воспитание, семья, гимназия, круг нравственных ценностей. Во всяком случае, у нее были свои «можно» и «нельзя», и среди них – невозможность сойтись с мужчиной совсем уж просто, без тени того, что в ее сознании, воспитанном на Тургеневе и Гамсуне, носило имя любви. Не говоря уже о том, что все эти годы она продолжала любить Алексея Дмитрича, своего будущего мужа;

Мирослав просто попал на чужое место, или, скорее, не попал, но — был волей рока послан заменой Алексея Дмитрича, закинутого по несчастью революцией и гражданской войной далеко, сначала на Украину, затем в Крым, пока, наконец, судьба его бывшего хозяина графа Воронцова-Дашкова, а тем самым и дальнейшая перспектива быть управляющим его имений не выяснилась окончательно; но и затем еще целых три года своевольная фортуна мешала Алексею Дмитричу соединиться со своей возлюбленной; только в 1924 году задним числом узнал он, что Галин отец, Абрам Наумович, бывший единственным препятствием к их браку, умер еще в декабре 17-го. Но не могло же, в конце концов, у Алексея Дмитрича быть сколько угодно заместителей! Характерно, что сам Алексей Дмитрич, в отличие от Софьи Ильиничны, всегда все понимал правильно и насчет Мирослава, и насчет Марка: первого он ей простил и забыл однажды и навсегда, ко второму же никогда не ревновал.) Она завела блокнотик, и карандаш «Смена» с резинкой, и точилку. Ей писали, она отвечала вслух. Впрочем, она научилась понимать большинство слов по губам, если отчетливо выговаривать букву за буквой. Писать нужно было только малоупотребительные слова. Но она любила и когда писали: тогда стачивался карандаш и надо было подтачивать его, а ей нравилось крутить точилку, и слышать рукой мягкий хруст карандаша, и видеть тончайшую гофрированную стружку, и обонять запах нагретой от работы крашеной древесины. Для чтения она пользовалась не совершенно уже бесполезными очками, а лупой, прекрасной лупой в медной оправе — память о детских годах Алексея Дмитрича. Галя Абрамовна могла поддержать любой разговор: она выписывала и внимательнейшим образом прочитывала еще тогда «Правду», «Известия» и местную «Волжскую коммуну»; она была в курсе всех событий, будь то запуск спутника, убийство Лумумбы или Московский фестиваль молодежи и сту-

дентов. Особенно долгими, занимательными были споры по поводу разоблачения культа личности Сталина и разгрома антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича и К°. Ох, уж этот культ. Она решительно поддерживала линию ЦК вплоть до выноса тела из мавзолея: ясно, как дважды два, что расправа со многими и многими замечательными сынами партии и народа, о которой узнал в эти дни сам этот народ, была извращением, искажением ленинской линии в партийном и государственном строительстве. Сказать, чтобы народ – взять хоть ее – и раньше ничего совсем уж не знал, она не могла. Как не знать, когда у твоего же супруга уже и чемоданчик наготове со всем необходимым? Как не знать, когда слухами земля полнится? Когда соседа их, отца Ксенофонтия Архангельского, пожилого уже человека, взяли в 38-м считай что у нее на глазах? Потом попадья рассказывала: прятал странствующих проповедников. Разумеется, расстрел: контрреволюционное подполье, тут думать нечего. Но не зажи-лась на этом свете и попадья, во всяком случае, в 54-56-м, когда в о з в р а щ а л и с ь, домой не вернулась.

Да, как не знать? И все же она почти с чистой совестью могла сказать: она не знала. Народ не знал. Потому что муж и соседи – это одно. А история, строительство нового мира – совсем другое. И ведь правда же, неприятно, но факт – дело прошлое, чего скрывать – Алексей Дмитрич, вернись в Россию старый строй, еще неизвестно как себя повел бы. Речь не о... упаси Боже... но у т е х б ы л и о с н о в а н и я, вот что она хочет сказать. А попы, даже самые приятные из них, – это что-то безнадежно отставшее от жизни, что-то до того уже не от мира сего, что прямо-таки напрашивается само в мир иной. Так казалось тогда и ей, и всему народу. Была правда бытового факта, и была правда истории. И они не имели друг к другу ни малейшего отношения. А теперь все становилось на свои места – и в душе, и в истории. И Галю Абрамовну, как и каждого честного, мыслящего

советского человека, это радовало. «Зачем столько шума? – возражал Марк. – Зачем вся эта возня? Я понимаю: справедливость, демократия. Это да. Справедливость – это хорошо, Геля (он предпочитал ее настоящее имя русскому «Галя», закрепившемуся за ней с приготовительного класса в качестве полной формы, что придавало этому произведению стихийного, допролетарского интернационализма неожиданную цыганскую удаль). Но я спрашиваю: мы живем в России или в Швейцарии?» – «Допустим, в России. Что с того?» – «В России. Задаю второй вопрос: ты видела в России справедливость?» – «Теперь вижу». – «Хо-хо-хо. Срезала. Ну-ка ответь еще: когда тебе и всем нечего будет кушать, поможет тебе тогда твоя справедливость?» – «Почему это сразу – нечего кушать? Вспомни историю Европы. Там революция послужила колоссальным стимулом к развитию производи...» – «К разви-итию. Сти-му-лом. Начетчица! Да разве мы англичане? Нет, ты скажи, разве мы – англичане?» – «А чем мы хуже?» – «Хуже, лучше... Кто может знать? Мы не хуже. Но мы-таки другие. И я знаю одно – только между нами: русский мужик без царя в голове, поэтому ему нужен царь на троне. Нужна сильная рука. Так было и так будет. И ты в этом убедишься. А я тебя тогда спрошу: зачем был весь этот шум?» – И Марк, запустивший было, забывшись, по безобразной привычке палец в нос (ее с детства подмывало всегда дать ему по рукам), вынимал его и поднимал торжествующе вверх. Галя Абрамовна ценила политическое чутье Марка с той давней поры, когда он предложил ей (бескорыстно, просто желая ей добра, хотя, очень может быть, и надеясь, что фиктивный брак естественно перейдет в действительный) сочетаться законным браком – р а с п и с а т ь с я, как стали называть это о ту пору, – чтобы дать свое имя ребенку. И если бы она его не послушалась и Зара в метрике писалась бы не Марковна и не Иткина, а, как по правде, Мирославовна, позднее, полтора десятилетия спустя, когда начались

все эти проверки и перепроверки и выяснилось бы скорейшим образом, что она – бывшая любовница белочеха, больше того – имеет вражеского ублюдка, а стало быть, наверняка поддерживает связь с заграничным разведцентром, ни ей, ни Заре, ни Алексею Дмитричу, и без того висевшему весь новорежимный отрезок своей жизни на волоске из-за графы «род занятий до октября 1917 года», – никому из них не поздоровилось бы, да как еще крупно бы не поздоровилось! И все-таки согласиться с Марком она не могла: слишком уж привыкла она еще со времен гимназических придерживаться демократических взглядов без их позднейшей централистской редакции.

Послушать его, что выходило? Или сильная рука, или нищета и разруха. Но это же... нет, нет, с этим никак нельзя согласиться: если революция нужна в процессе истории всего лишь затем, чтобы сменить одного царя на другого, чего же ради положили столько народу? Зачем тогда то ужасное время – а ведь оно было ужасным, ужасным!

Ей не забыть по гроб своей жизни жестокий 18 год; не забыть, как на следующий день после взятия Самары чехи вели под конвоем Франциска Венцека – председателя ревтрибунала, – вели его по Фабричной (ныне, разумеется, улица Венцека). «Зверь, – раздалось в толпе, – бей его!» Какая-то дама кинулась и ударила зонтиком по голове едва волочащего ноги, словно в дремоте мучи бредущего бородатого человека. Его голова раскачивалась, как одуванчик, на тонком стебельке шеи, и он поднял ее с трудом и поглядел перед собой, и Галя, стоявшая в толпе, увидела его глаза цвета сырой печени. И вся невероятная толпа приличных в большинстве людей сорвалась с места, смяв равнодушных чехов; она видела только разорванное плечо пиджака Венцека, из которого торчала грязно-серая вата, а потом исчезло и оно, лишь ходили ходуном десятки кулаков, ног, зонти-

ков... А сверху шел грибной дождь, прибивая поднявшуюся пыль.

И, как дятел, как детская трещотка, стучал пулемет. Тогда она еще хорошо слышала! Чехи и «народная армия» Комуча били красных, красные – белых, работало подполье, возник страшный Чапаев. И все это стреляло отнюдь не понарошку; и так продолжалось целых четыре месяца – до октября. Вздувшиеся трупы плыли по Самарке, как бревна. Говорили, люди ходили туда искать своих, но мало кому удавалось опознать кого-нибудь.

А потом окончательно воцарились кожаные куртки, и прилично одетому человеку лучше стало не показывать носа на улицу; но и дома стены больше не помогали: людей уводили из дома, и не все возвращались. Да, это было ужасное время. Да, оно было, это время, и оправдать его, оправдать жестокость, ненависть, повальную смерть и массовое одичание – оправдать все это могло только одно: историческая необходимость.

Но необходимость – чего? Необходимость свободы, равенства, прогресса, светлого будущего, наконец. Необходимость новой кабалы, необходимость сменить, что называется, шило на мыло – за такую цену?! Абсурд! Как можно – не то, что согласиться с этим, но как и кому могло такое вообще прийти в голову? Только одному человеку на свете – Марку с его вечной вожжей под хвостом.

Так они спорили часами; а Софья Ильинична слушала их споры и глядела нехорошо, ревниво, но, будучи женщиной воспитанной и имея к тому же 63 года от роду, вмешивалась в разговор только чтобы поддержать мужа на доступном ей уровне, сказав: «Все так, но, между нами, метрополитен имени Кагановича – это звучало». Или: «Вы заметили, что крабы исчезли? Как хотите, а раньше этого безобразия быть не могло». А прощаясь с Галей Абрамовной, нежно поправляла у той на груди бисерную «летучую мышь».

Было, было ей чем занять свое существование; тем более, надо учесть, тогда уже у нее квартировали Понаровские, лет что-то 5 или 6, пока Семену не дали квартиру от 4 ГПЗ, в ДК которого он работал хормейстером. Одна борьба с безалаберностью этой молодой четы чего стоила; и, когда Лиля приходила с работы домой, в свою комнатку, ее ждали чулки или туфли, торжественно водруженные в центр обеденного стола, или еще какой-нибудь сюрприз в этом роде. А еще ведь надо было поддерживать порядок на могиле мужа и на Зариной могилке; она поставила мраморный памятник по Лилиному эскизу, с выбитой на камне надписью, сочиненной ею самой: «Доченька, память о тебе в наших сердцах вечна, как вечна жизнь, безмерно любимая тобою». Все одобрили эту поэтичную надпись; а через полгода угол памятника отбили, выкололи глазки на Зариной фотокарточке и нарисовали углем виселицу и на ней – шестиконечную звезду. Галя Абрамовна сочла эту выходку обычным хулиганством. Она всегда думала и теперь продолжала думать, что с еврейским вопросом в стране в целом покончено, этого печального наследия царизма больше не существует. Просто некоторые евреи – между нами говоря, евреи действительно могут быть очень неприятными, когда захотят, – выискивают антисемитов; а кто ищет, тот всегда найдет. Ей было больно, но она спокойно занялась реставрацией памятника, и посадила незабудки, и резеду, и ноготки, и любимые доченькой астры и хризантемы; и две аккуратные елочки, сохранявшие, сколько бы они ни росли, аккуратную форму.

Словом, у нее хватало дел, подходящих полноценному человеку в осенне-зимнюю, пенсионную пору его жизни. Безусловно, внутренняя картина мира, ориентация в нем сильно отличала Галю Абрамовну от слышащего большинства людей: восприятие ее, лишенное, подобно немому кино, идущему без аккомпанемента, того ритмического стержня, который не только обеспе-

чивает постоянное напряжение сюжета жизни, но вообще делает его именно сюжетом, то есть чем-то разворачивающимся во времени, текущим от чего-то к чему-то, – восприятие ее превращалось, таким образом, в ряд вспыхивающих и гаснущих кадров, так что Галя Абрамовна перестала ощущать течение времени и соединяла все впечатления от жизни вневременной, чисто умозрительной связью; иногда же все и вовсе запутывалось, так как вдруг включившаяся слуховая память могла наложить видимое настоящее на фонограмму из прошлого, простейшим примером чего мог быть, например, цокающий копытами трамвай, или солнце, светящее под совершенно явственным шум дождя, или дети, играющие под стук пулемета. А могло быть и так, что вдруг появлялся ее же собственный голос, каким он был в семнадцать лет. Девичий голосок, читающий на выпускном вечере отрывок из любимой «Виктории» Гамсуна. «Зажгли лампу, и мнѣ стало гораздо свѣтлѣе, – пел этот голос. – Я лежала въ глубокомъ забытїи и снова была далеко отъ земли. Слава Богу, теперь мнѣ было не так страшно, какъ прежде, я даже слышала тихую музыку, и прежде всего не было темно. Я такъ благодарна. Но теперь я больше уже не в силахъ писать. Прощайте, мой возлюбленный...»\* Этот голос, и эти слова, и все утраченные, нежные, как выдох, непронизносимые и все же чуть слышные «ъ» и «ѣ» в них... Возможно, даже наверное, мышление глухой старухи и могло называться не совсем нормальным – в силу особой сосредоточенности, болезненной напряженности обдумывания, навязчивой боязни уйти в сторону, сбиться, не додумать мысли до конца. Работа ее мысли в высшей степени носила характер пр е с л е д о в а н и я (что, впрочем, естественно для человека, лишённого большинства внешних раздражителей, переключающих наше внимание и рассеивающих мысль); и, однако же,

---

\* Перевод Ю. Балтрушайтиса.

поведение Гали Абрамовны, равно как и самый склад ее представлений о мире были сугубо нормальны, и даже предоставленная последние годы почти целиком самой себе, своему одиночеству, она жила делами текущими и вопросами злободневными, ухитряясь даже интересоваться политикой. И дни ее шли, и жизнь убывала; убывала, да все не кончалась; а значит, она жила; а стало быть, нужно было делать все, что положено живому: есть, пить, спать. И она ела, пила, спала. Спала плохо, зато ела хорошо. Выходит, в целом жила неплохо. Нормально. И странные, ненормальные мысли не беспокоили ее.

Пока не пришла смерть. Пришла и ушла. Это было после очередного разговора с Лилей: та приходила по вечерам раз в два-три дня, чтобы принести ей поесть, ведь сама Галя Абрамовна уже лет пять как была не в состоянии выйти из дома. О приходе Лили сигнализировало включение лампочки, служившей ей вместо звонка. Последние несколько лет зажегшаяся лампочка могла значить только одно: пришла Лиля, или прислала вместо себя Семена, или, в крайнем случае, Витю. Лиля принесла две булки, которые старуха по привычке именовала французскими, половинку орловского, превкусные свои голубцы с прижаристой корочкой, жирный куриный бульон и еще всякую всячину. Старуха взяла все это, сказав: «Зачем так много, Лилечка? И все такое вкусное – просто ум отъешь. Разве можно так баловать?» Она очень любила Лилину стряпню, и даже сейчас, когда она следила за Лилей, опасаясь, что та хочет ее отравить, не могла удержаться, чтобы не съесть все подчистую. Галя Абрамовна в который уже раз принялась жаловаться: жизнь ей опостылела, а смерти все нет и нет. В самом деле, зачем ей жить, одинокой, глухой, полуслепой 90-летней развалине, которой требуется полчаса, чтобы доковылять до туалета, да и там сил нет потужиться как следует, при ее-то запорах? Пора, пора умирать. И кому это нужно, чтобы она жила? Никому.

Никому она не нужна. «Галя Абрамовна, что вы говорите», – возмутилась Лиля, конечно, только для виду, и все равно, это было приятно: теперь можно было повторить; и она повторила гулким, каркающим голосом глухого: «Ни-ко-му, Лилечка. Совершенно никому, и вам, и, уверяю вас, себе тоже», – прислушиваясь к острому, едкому наслаждению собственным сиротством, вошедшему в нее от этих слов. Ведь у нее так мало осталось теперь удовольствий! Одно только чувства сиротства, будучи высказано, поведено, могло еще привнести какую-то остроту жизни в ее цепенеющую душу, как-то увлажнить ее иссохшее вещество. Самое интересное, все, сказанное ею, представлялось ей совершенной правдой. И Галя Абрамовна, чувствуя себя в полной безопасности, ибо не видела перед собой, ни в себе смерти, не слышала ее и не обоняла ее запаха, а только рассуждала о ней, вела себя бесстрашно: давала полную волю своим здравым на этот счет соображениям.

Они немного посмотрели телевизор. Галя Абрамовна до недавней поры любила телевизор, особенно программу «Время»: ей нравилось, что она могла узнать содержание выступлений руководителей и сообщений, зачитываемых ведущими, по газетам. Ей не мешало отсутствие звука. Собственно, первые телевизоры в городе появились как раз, когда она оглохла; таким образом, она раз и навсегда восприняла телевизор как систему изображения, отделенную от звука. И относилась к этому спокойно. Она вообще относилась спокойно к своей глухоте, не испытывая обычной у глухих предвзятости, антипатии, даже злобы по отношению к слышащим; может быть, потому, что и сама 60 лет находилась в числе слышащих и вполне понимала их психологию. А может быть, все объяснялось еще проще: тем, что она вообще ни к кому заранее не испытывала злобы, настороженности, предубеждения. (Кстати, это счастливое свойство натуры сильно выручило ее в 18-19 годах, когда ее вполне искренние симпатии к большеви-

кам – тогда для них это еще было важно – то есть прежде всего к учению марксизма в целом, а вследствие того уже и к русским его представителям, в конце концов – сложная история – принесли ей охранную грамоту на ее дом на Красноармейской, выданную пожизненно. И это несмотря на то, что все то время, пока город был под белочехами, у них квартировал поручик Мирослав Штедлы, адъютант самого полковника Чечека, командующего Поволжской группой Чехословацкого корпуса; конечно, узнай они, что Мирослав – отец Зары, их доброе отношение тут же бы и окончилось... Спасибо, спасибо Марку! И надо сказать, грамота эта честно хранила ей дом все те несколько лет, с 21 по 24-й годы, пока она жила у матери в Стерлитамаке.) Так же не вызывал теперь у нее раздражения и тот факт, что смотреть Брежнева (очень, очень приличный, она бы сказала – видный мужчина, в летах, степенный, как и подобает руководителю великой державы, однако же совсем еще нестарый, 70 лет – во всех отношениях достойный возраст, когда человек уже умудрен жизнью, но еще полон сил и энергии; особенно ей нравилось, если его поздравляли пионеры и Леонид Ильич немного плакал: это обличало в нем человека с сердцем) можно было по телевидению, а узнавать, что он говорит, приходилось из газет.

Но в последнее время ей что-то разонравилось смотреть: не только телевизор, но вообще – смотреть. «Что такое? – жаловалась она Лиле. – Не могу понять – куда исчезли все краски? Раньше все было цветное, а теперь черно-белое. Как по телевидению. Что это? Неужели выцвел мир, Лилечка?» Она с трудом прочитывала теперь одну газету вместо трех и с грустью глядела на стоящие в шкафу томики Пшибышевского и Гамсуна досоветского издания А. Ф. Маркса, «Мою жизнь в искусстве», оставшуюся от Зары, «Анну Каренину», «Женщину в белом»... Если бы она могла читать, как помогли бы они ей, ее любимые книги, скоротать оди-

нокую старость! «Но нет, Лилечка, и этого не дано, и это у меня отнято. Пора, пора, зажились я», – и Лиля снова возмущалась, а Галя Абрамовна снова видела ее насквозь; и Лиля рассказывала о том, что всегда занимало старуху, что слушала она с тем же чувством, с которым завзятый болельщик составляет таблицу футбольного турнира: о семейных делах. Она живо реагировала на очередное награждение Семена грамотой Управления культуры или вылет Вити, 20-летнего сына Понаровских, с очередной работы. «Компания? Девочки? Выпивают?! Мы как-то ухитрились обойтись без водки. Чай, варенье, баранки, танцы, шарады, буримэ, наконец! Но – водка? Да еще в будний день! Чтобы девушка – и позволила себе? Дичь!» Она не понимала Витю; чего ему не хватало? Почему он меняет работу за работой – макаронную фабрику на сапожную мастерскую, мастерскую на зубопротезный кабинет, а теперь вот устроился официантом в летнее кафе «Отдых». «Что у вас написано – фар...цу...-ет? Что это? Спекулирует? Как можно? Приличная семья! И куда вы смотрите? Что значит интересно? Молодому человеку должно быть интересно совершать открытия. Заниматься спортом. Вообще делом... Он говорит – это и есть дело? Ну, знаете...» Она принимала все близко к сердцу, но стоило Лиле уйти, как Галя Абрамовна тут же забывала все. Она вообще заметила, что общение вызывает к жизни чувства и реакции острые, но, видимо, необязательные, искусственные, ибо одиночество – превосходный барометр правды – эти чувства почти всегда гасит.

...Словом, так вот они посидели тогда, и затем, оставшись одна, Галя Абрамовна со вкусом покушала, кряхтя перемыла посуду, из последних сил умылась, выпила слабительное, которое должно было подействовать через 8-10 часов, разделась, положила вставные челюсти в стакан с водой и, выключив ночник и подоткнув по детской привычке для тепла одеяло аккуратным конвертиком – эта привычка сейчас, когда старчес-

кая медленная кровь грела из рук вон плохо, а до ног и вообще, казалось, не добиралась никогда, пришлось как нельзя более кстати – закрыла глаза. Закрыла с привычным, но не потерявшим от этого силу страхом бессонницы. В последнее время бессонница, словно издеваясь над Галей Абрамовной, ночь напролет держала ее на грани сна и бодрствования. Когда перед глазами уже пылала вереница картинок, немыслимых наяву, вроде человека, глядящего в лупу на свой собственный глаз, или Алексея Дмитрича, уверяющего, будто он отнюдь не умер в 1954 году, а как раз ожил, – то есть когда именно начиналось засыпание, Галя Абрамовна безо всякого перехода, безо всякого фиксируемого в ощущениях толчка изнутри или извне, вдруг просто открывала глаза, и оказывалось, что она бодр, свежа, как огурчик (хорош огурчик! скорее уж желтый, выжатый огурец из тех, что можно увидеть разве что в магазине), во всяком случае, шансов на то, чтобы уснуть – никаких. Но это бодрствование никогда не успевало созреть настолько, чтобы старуха приняла решение: встать, зажечь свет и занять себя чем-нибудь до утра. Нет, Галя Абрамовна успевала только дойти до состояния холодного, изматывающего раздражения нервов и изнеможения тела, как тут же опять перед глазами начинали плыть те зыбкие картинки, которые (если верить журналу «Здоровье») соответствуют начальной фазе сна. Эта чересполосица продолжалась всю ночь. Таким образом, каждая ночь, вместо того, чтобы давать свежие силы, отбирала и те последние, что еще оставались после прожитых утра, дня и вечера.

Однако в ту ночь ей крупно повезло: она моментально уснула. И что же? Тут как тут, словно лист перед травой, встал перед ней Алексей Дмитрич, дорогой; и был он почему-то без замечательных своих усов цвета гречишного меда, тех самых усов, коими после нее, Гали Абрамовны, дорожил он более всего. Сколько бы ни просила она его сбрить, а того проще – подбрить на

новый манер знаменитые усы, предательски-авантажнo торчащие стрелами вверх, Алексей Дмитрич оставался неумолим, продолжая спать в наусниках и наутро проводить перед зеркалом мало не полчаса. Теперь, однако, был он без усов, так что она не сразу его узнала, а узнав, мгновенно поняла: дело – как говаривал в бытность свою живым сам же Алексей Дмитрич – табак. «Разве ты не умер?» – спросила она его, как обычно, и он, обычно отвечавший так: «Галочка, ты, верно, опять лишнего съела на ночь. Что ты? Я именно ожил», – на сей раз ухмыльнулся странным безусым ртом и спросил только: «А ты как думаешь?» После чего немедленно изменился в лице, точнее, в цвете лица, ставшего изжелта-серо-зеленым, как бы цвета внутренностей вареного рака; затем лицо сплющилось в блин; скрутилось, завернув в себя глаза, рот и нос, подобно начинке, и исчезло, оставив, однако, свой безобразный цвет, ровно заливший все поле сонного зрения Гали Абрамовны.

Тогда предчувствие страха в ее душе перешло в самый страх, тем более сильный, что Галя Абрамовна сознавала: она спит – что там спит? – всего-навсего дремлет, и надо только очнуться, чтобы избавиться от этого серо-зеленого кошмара, вдруг начинавшего облеплять ее, обмазывать со всех сторон, застывая на ходу тяжелой массой, подобно гипсу. Галя Абрамовна пыталась вылезти из гипсового мешка, но приказы ее мозга никак не могли пробиться сквозь толщу дремы (казалось бы, столь тонкой) к глазам и открыть их. Ах, она чувствовала: только это и нужно – открыть глаза: но дремота продолжалась; вдруг выяснилось, что облепившая ее серо-зеленая корка – всего-навсего приготовительный этап, подобный анестезирующему уколу перед удалением зуба. Теперь, когда душу ее одели в смирительную рубашку, и с ней, хотя и напуганной до крайности, но уже подготовленной к тому, что должно было произойти, сделалась сильная слабость, – теперь внутри

ее вошло... свечение, сказала бы она, если бы со словом «свет» у нее не связывались – тепло, покой, уют; теперешнее же свечение смутило ее душу до такой степени, что та потеряла власть над телом и Галя Абрамовна произвольно обмочила простыню. Но и тогда она не проснулась от мокрого холода (как бывало в детстве), и это одно могло бы убедить ее, если бы она была способна сейчас размышлять, что сон ее – не простой сон; но она не думала ни о чем – не только потому, что плохо умела думать во сне, но и потому, что увидела предмет, или существо... словом, то, что светилось, и сразу поняла, что – а точнее – кто это. Она видела его – или ее – впервые, но сразу узнала... Такая гулкая тишина наступила вдруг, что шаги неслышные смерти сделались слышны, как бы проявились на слух, как проявляется текст письма, написанный молоком, если подержать над огнем письмо. И Галя Абрамовна вдруг увидела себя со стороны, словно слабоосвещенную комнату, которую можно увидеть с улицы сквозь окно, сквозь паутинообразную туманность тюля; она смотрела в себя и видела, как истекает тихим, подобным рентгеновскому, свечением.

Ужасным свечением смерти.

И тело ее начало распирать светящейся, зараженной смертью душой, расширившейся от страха, как разбухает от водки печень пьяницы. Страх этот превосходил все известные виды страха не столько силой, сколько каким-то новым, иным качеством. Это был страх без боязни: высоты ли, темноты, или физической силы; боязни, которая всегда неотделима от надежды, что, быть может, все обойдется, пронесет. Ибо в боязни нет знания будущего, а потому нет и полноты страха или бесстрашия. Страх, овладевший душой Гали Абрамовны, лишен был надежды и весь состоял из беспощадного, точного, полного знания. Знания о том, что все – не будет, а есть, все уже свершается, и свершается именно так, а не иначе: происходит самое невозможное,

противоестественное для сознания живого человека и потому невообразимо – ужасное – лишение человека жизни, то есть – себя самого.

Смерть, играя с ней в кошки-мышки, еще подержала ее в своих когтях, еще на какой-то невыносимо долгий миг задержала страх в душе старухи и затем вышла из нее так же необъяснимо легко, как вошла: просто прошла сквозь Галю Абрамовну, как луч сквозь стекло. Видимо, смерть сочла свое кратковременное пребывание в ней для первого знакомства достаточным; прощаясь, она как бы легонько пожала старухино сердце, и от боли отдаленного сердца Галя Абрамовна проснулась. Она потянулась было за валокардином, но остановила себя, сообразив, что никаким валокардином и даже нитроглицерином тут не помочь; и точно, сердце прошло само собой, так же вдруг, как и заболело. О случившемся осталось, казалось бы, только одно свидетельство – мокрая простыня, но и ее старуха позаботилась тут же застирать (нелегкая это работа для человека в 87 лет – возиться с огромной простыней, но не позорить же себя перед Лилей). Однако вычеркнуть впечатления от визита незваной гостьи из памяти было гораздо труднее.

Подобно тому, например, как в кастрюле остывшего борща рыжая пленка жира скрывает густое, роскошное варево, которое и есть собственно борщ, так видимая мощь и прочность земной жизни, кажущаяся неостановимость ее вроде бы вечного течения, ее стихийная сила, очевидная всеохватность ее бытия (ведь насколько глаз, сердца и ума хватает, всюду только она, жизнь, и нет в мире места ничему, кроме нее), так все это до поры до времени закрывает от человека ужас безусловного, неперемного, а главное – чрезвычайно простого исчезновения его земной жизни, погружения ее мнимой единственности в неисследимую глубину великой и страшной пучины. Обман может длиться сколь угодно долго, но рано или поздно поверхностный слой,

тонкую пленку жира, называемую земной жизнью и принимаемую за всю, абсолютно всю мировую наличность, вдруг прорывает; рано или поздно все, казавшееся прежде ненарушимым, бронированно-прочным, трещит по швам. И человек, как вот теперь Галя Абрамовна, болезненно остро и тяжело переживает вдруг открывшуюся ему шуточность, иллюзорность жизни, здоровья, всего порядка вещей на этом свете.

И, вот так неожиданно, шкурно поняв всю нешуточную серьезность, а главное, чрезвычайную простоту уготованного ей полного, окончательного и бесповоротного уничтожения, она содрогнулась. Страх, согнувший ее позвоночный столб, был тем большим – по знакомой уже нам причине, так многое определявшей в ее жизни, – что глухая, полуслепая старуха, лишенная отвлекающего разнообразия предметов внешнего мира, воспринимала явления внутреннего порядка с лишенной противодействия, противоестественно сильной силой.

Вообще говоря, она давно уже умела распознавать смерть. Умела читать ее следы. Из боли в почках и в заднем проходе, из глухого шума крови, волнами подкапывающей к вискам, из привкуса кала во рту по утрам, из могильного холода в конечностях, из седых волос, пучками остающихся на гребенке, из каждой клетки ее тела – ибо каждая клетка ее тела была частицей материи разлагающейся, то есть стремящейся к изначальному состоянию: состоянию праха, – сочилась смерть. Смерть попросту **в ы с т у п а л а**, как выступают капли пота на лбу от работы, от самого движения жизни к смерти. Можно бороться со смертью от тифа, холеры, даже рака, но бессмысленно пытаться победить смерть от старости, потому что остановить смерть тут значило остановить жизнь.

И все же до той страшной ночи оставалось место утешению. Оставалась надежда, связанная с самим пониманием смерти, к которому привыкла она и все вокруг. Именно: смерти как таковой не существует,

«смерть» есть всего-навсего понятие, обозначающее угасание, прекращение жизни. Фактически это только слово, образно выражающее то, что труднее всего представить: пустоту, отсутствие. Иначе говоря, с м е р т ь е с т ь т о , ч е г о н е т . Вот почему когда-то смерть от старости представлялась Гале Абрамовне лучшей из всех возможных: человек исчезает, тает, как сосулька, не замечая своего перехода в нуль. Без страха. Эта утешительная вера в естественное и потому незаметное осуществление законов природы всегда жила в ней. Ведь законы природы как-то же продумали сами все за нее. Они ее родили, они ее провели по жизни, они и найдут способ ее убрать самым естественным и, значит, наименее обременительным способом.

И что же? Сейчас, глубокой старухой, пережившей всех и вся, и самое себя, сейчас-то Галя Абрамовна как раз и узнала – каждой из оставшихся в живых своей клеткой, – что такое панический, уму неподвластный страх смерти. Смертный страх. Потому что она увидела смерть. Ее незримое лицо. И не было ничего ужасней. Она не знала, как сказать, что смерть – б ы л а . Но смерть – была, и ужаснее этого не было ничего.

Мириады одухотворенных частиц материи, сложившиеся в строгий порядок, в стройное целое ее организма под действием стягивающей их центростремительной силы жизни, боялись, трепетали силы центробежной, расширяющей силы смерти. Ибо целью смерти был взрыв, раз-рыв прежнего порядка; и, что бы ни было затем – создание нового порядка или полный, окончательный хаос, – частицы, составляющие ее организм, яростно сопротивлялись, ужасаясь уже одному моменту предстоящего взрыва, расщепления, то есть упразднения многолетнего, обжитого товарищества частиц, роспуска, разгона его с последующим уходом по одному в черную мглу неизвестности.

К тому же и жизнь ее последние тридцать лет складывалась из потерь, составляла ряд утрат, так, что оче-

редное несчастье заставляло Галю Абрамовну вжиматься в себя, опять и опять чувствуя свою малость и в то же время обособленность, отдельность. Чувствовать свое «я» словно бы в тесно облегающей его оболочке: так тонкий, эластичный чулок туго облегает полную ногу. Бывают злосчастья, словно тренирующие душу на расширение, приучающие ее к забвению себя или хотя бы к небрежности памяти о себе: такова, например, война, когда человек попадает в поле общего душевного напряжения и ощущает себя не более, чем вибрирующим язычком пламени огромного пожара. Не то в случае с Галей Абрамовной. Потери мужа, дочери, матери, Марка, Софьи Ильиничны, последовательно случавшиеся на ровном фоне оседлой, более или менее обеспеченной жизни, равномерное обрывание связей с немногими близкими людьми, обрывание ниточек, связывающих глухую женщину с жизнью – все это заставляло ее каждый раз заново, каждый раз остро ощущать свое незащищенное, свое болезненно сжимающееся «я», границу между ним и всем, что им не являлось. Старость, одряхление бессильны были с этим что-либо поделывать: пока оставалось «я», оставалась и гипертрофия самосознания. Патологический страх исчезновения.

Но коли уж так, надо же что-то делать! Что бы там ни было, она не привыкла сидеть сложа руки. И теперь она готовилась встретить смерть лицом к лицу, чтобы, встретив, запереть дверь перед ее носом. Старуха не знала, как она это сделает, но, во всяком случае, одно было ясно: чтобы противостоять смерти, не пустить ее в себя, надо было по крайней мере успеть обнаружить ее следующий приход прежде, чем смерть опять пробежится вовнутрь, в душу. А значит, необходимо прежде всего непрестанно бодрствовать. Стеречь. Галя Абрамовна, рискуя прожечь всю свою пятидесятирублевую пенсию, оставляла по ночам свет включенным. Она завела, а точнее, вернулась к детской привычке непре-

станно сосать леденцы. По свойственной многим женщинам особенности, Галя Абрамовна не любила шоколадных конфет (хотя всегда держала их для гостей, ныне же, по недостатку средств, вынуждена была заменить их соевыми конфетами типа «Кавказ» или «Волейбол», а так как приходила к ней давно уже только Лиля, сделанный пару лет назад запас не было нужды пополнять; и она радушно угощала Лилю купленными Лилей же по ее просьбе два года назад конфетами, не замечая, что те уже покрылись слегка плесенью), предпочитая им ириски, а еще лучше карамельки типа «Барбарис», подушечки, помадки, леденцы. И вот теперь все, что можно извлечь из сосания леденца: трение языка о ребристую, жесткую поверхность, перекачивание конфетки во рту, заглатывание кисло-сладкой слюны, чаще всего с сильным, резким привкусом мяты (если верить Лиле, куда-то окончательно исчезли и «Барбарис», и «Дюшес», и даже разноцветное монпасье в жестяных коробочках, и есть лишь вот эти мятные леденцы с дурацким названием «Взлетные») – все это обеспечивало ей ту отчетливую непрерывность ощущений, по которой старуха могла знать: она не провалилась в опасную яму дневного полусна. Конечно, иной раз и леденец подводил и затем сам собой тихо таял во рту, пока она отключалась этак на полчаса, но все же, все же... В целом система «леденец» функционировала нормально (любимое выражение Марка, почерпнутое им из репортажей о космонавтике; на вопрос: «Как здоровье?» – он писал, хотя в этом не было нужды, она и так знала его ответ: «На борту корабля все системы функционируют нормально». Он был шутник, этот Марк, для тех, кто его не знал). Но вот ночью... Не могла же она вообще не спать! Впрочем, она почему-то была уверена, что во второй раз смерть – существо прихотливое, капризное – ночью не придет. И все же она разбила ночь на несколько отрезков, по два часа в каждом, давая себе задание: просыпаться; это не да-

вало крепко заснуть, держа в постоянной готовности к бодрствованию.

Так она жила, не желая умирать, но зная уже наверняка, зная всем естеством, как знает человек, у которого болит, что ему больно: часы ее – не дни, но часы – сочтены. И от этого физического знания, от силы сопротивления жизни, упирающейся перед дверью, открытой в смерть, все стеснилось, сдавилось в ней и сдвинулось. Что-то произошло в ней, что-то важное, она не знала, что; вот и леденец постоянно отдавал холодом и сыростью могилы.

После этого-то визита смерти и началось то, чему, казалось, не будет конца: мысли. Прежде всего изменился характер бессонницы. Отныне она часами лежала без сна; однако же эта бессонница не походила не только на ее прежнюю, издевательскую, но и на обычную бессонницу, состоящую из пустот, поневоле заполняемых раздражением и злостью, с обязательной головной болью под занавес. Нет, теперь это была бессонница, данная ей специально, нарочно. П о с л а н н а я ей с определенной целью: пропустить через нее поток мыслей, чрезвычайно изнурительный для ее угасающего, слабого сознания, вынужденного, однако, бодрствовать, а значит, воспринимать этот поток.

Когда-то, совсем девочкой, прочла она рассказ «Пестрая лента», который, в отличие от других историй про Шерлока Холмса, произвел на нее сильное впечатление. Ее потрясла, ужаснула сама ситуация: привинченная намертво к полу кровать; девушка, лежащая на кровати; змея, спускающаяся на кровать по шнуру звонка. Змея может и не укусить сегодня; но когда-нибудь, когда-нибудь под утро она укусит наверняка, и раздастся ужасающий, нечеловеческий крик, и отвратительно-слабый серенький, предрассветный английский луч, проникнув в щель ставни, упадет на искаженное страхом и болью лицо человека, умирающего от яда тропической змеи в пустой, запертой изнутри комнате.

А теперь она сама оказалась в таком положении! Положении человека, которому не спрятаться, не убежать. Одни и те же мысли преследовали ее каждую ночь на протяжении многих недель. Кроме их регулярности, у них была еще одна пугающая особенность: они явно существовали с а м и п о с е б е, не ей принадлежали; хотя приходили, безусловно, в голову именно ей, а не кому-нибудь еще. То, что она не сама была их источником, что мысли эти были как бы з а с л а н ы в нее извне, следовало из их непохожести – во всем решительно – на ее собственные, обычные. Этот четкий, ясный, более того – словесно оформленный поток мыслей, этот т е к с т (данный, правда, разорванно, кусками, как бы островками, появляющимися и вновь исчезающими в океане старческого слабоумия, склеротического забвения; однако же куски эти словно сами просились быть собранными в единый, связный текст), неженская отвлеченность его содержания, въедливая, дотошная логичность построений (как-то особенно неприятно наложившаяся на болезненно-навязчивый характер работы ее мозга) – все это, безусловно, не было свойственно мышлению Гали Абрамовны когда-либо и уж менее всего могло принадлежать ему сейчас, в 87 лет. Неверно было бы вообще сказать, что она – думала; она просто читала некие мысли, лентой проходившие в мозгу.

Ясно было, что к ней подключили, не спросясь, какое-то невидимое устройство. Словно она подопытная крыса или обезьяна; вот опять – потекли они, безотрадные, тяжелые, неутешительные, снова и снова, ниоткуда и в никуда...

Тяжелы же, безотрадны и горьки мысли эти были тем, что не только ставили под сомнение все, на чем привыкли строить свою жизнь и она, и все ее окружающие, все то, что давало ощущение исполненного урока, достигнутой цели, не напрасно прожитой жизни, – но просто и ясно объясняло, что урок бессмыслен, цель

пуста, а прожитая жизнь не стоит – и не может стоять – ровным счетом ничего.

Начиналось, как правило, с появления в ее голове слова: «Зачем?»; это был сигнал включения, сигнал начала пытки. Несносное «Зачем?» отчетливо возникало на внутреннем экране ее зрения в виде кудлатой маленькой шавки с завитком вопросительного знака в роли хвоста, шавки из породы тех пронзительно-визгливых пустобрехов, которых Галя Абрамовна, и вообще-то никогда не жаловавшая шумное и неопрятное собачье племя, просто терпеть не могла.

Гале Абрамовне, как уже сказано, в голову не пришло бы – и не приходило никогда – спрашивать себя, за чем она живет. И в девичество, и в зрелые годы женской своей жизни привыкла она знать, что жизнь, то есть дыхание, пища, питье, запахи, одежда, цветы, поклонники, любовь и плод любви – дети, работа, отдых, сон, – что все это имело цель и смысл само в себе и для себя. И в этом резонном, обоснованном законами природы понимании вещей Галю Абрамовну еще более укрепляло отменное здоровье, позволяющее человеку ощущать жизнь своего тела как жизнь п р а в и л ь н у ю, и красота, та редко встречающаяся еврейская красота, в которой присутствие Востока во всем: в форме и величине век, глубине тона бархатно-черных глаз, в изящно-неправильной линии чуть вислого носа – слышно только как привкус, ароматическая добавка, не имея густой, экстрактивной полноты вкуса выдержанной еврейской крови, вызывающей нередко, что греха таить, у представителей более молодых наций явственную аллергию.

По всему по этому вопрос «Зачем?» – если таковой и возникал когда-нибудь в глубине ее души – как-то естественно и незаметно сменился другим: к а к о б е с п е ч и т ь эту прекрасную и тем уже осмысленную жизнь? Понятие материального о п р а в д а н и я жизни – право есть свой хлеб, – как это и бывает с большинством

людей, непринужденно и легко заступило место понятия цели, то есть оправдания духовного. Живешь – для того, чтобы обеспечивать свою жизнь. Обеспечиваешь жизнь – чтобы жить.

И Галя Абрамовна непрерывно обеспечивала свою жизнь, а заодно и жизнь еще троих людей на протяжении что-то около 50-ти лет. Она обеспечивала себя и других не покладая рук.

И ей казалось, что этого довольно. Потому что всегда что-то оставалось за душой, а что-то маячило впереди.

И вот все кончилось. Ничего не было впереди. Ничего, кроме смерти. Ничего, кроме ничего.

И высунулась злая моська и залаяла.

Зачем? Зачем ты жила? Говорили: «Чтобы было, что вспомнить». Будто бы можно жить впрок. Будет, что вспомнить. Насосался жизни, как клоп, и... и что? Ужели же человек не меняется? И кто поручится, что захочет он вспомнить через год, через несколько лет о том, что дорого ему вот теперь? А через несколько десятков лет? Все, все уходит, а если что и остается по случаю в живой твоей памяти, что-то хорошее, что-то пленительное и дорогое, оно только заставляет жалеть, понапрасну сжимает сердце, понапрасну исторгает плач о прошлом, которого не вернешь. Но чаще вспоминается дурное, все самое плохое, что было в жизни.

«Будет, что вспомнить». Что ж, теперь ей было что вспомнить. И вот: горечь унижения больших и маленьких, боль разлук, ужас смертей самых близких ей людей, словом, все, что ранит, колет, болит и ноет, – вот это все и вспомнилось живо. Все же острые, очаровательные, радостные, нежные и веселые минуты ее жизни – потускнели, стерлись, отмерли. Она словно утратила некое внутреннее обоняние, и онемевшие ноздри ее души не могли больше воспринимать аромат воспоминаемых событий. Был детский роман с таким-то, а мог ведь быть и с таким-то. Какая сейчас разница?

Ни-ка-кой. Детство, отрочество, юность... Холодно... Был еще Саша... Александр Петрович; военврач. Высокого роста, усы подбриты. Любитель преферанса. Вероятнее всего, шатен. И совершенно отчетливо – легкий, кисловато-чистый перегар медицинского спирта, употребляемого им регулярно в умеренных дозах. А тот... кажется, Виктор, студент... интересно, чего? Трезвенник, носил полосатое кашне, никогда не снимал башмаков. Подобно чеховскому Беликову, ходил в калошах даже в ясный день, чтобы в гостях, сняв калоши, остаться в башмаках. Вероятно, стеснялся рваных носков; это бывает. Мелочь, однако же из неприятных. Вот почему она всегда следила, чтобы у Алексея Дмитрича имелся запас носков. Нитяных, разумеется, они не так пахнут. Запах потных ног – это самое противное в мужчине. Если не считать... или вот... окончательно выпало из памяти имя, но – очень красивый румынский еврей. Убит петлюровцами. Как и ее тетя Сима. Любил холодный свекольник, малосольные огурцы и кисло-сладкое мясо. С черносливом; именно – с черносливом. А вот: Модзалевский. Это еще кто?

Запах, взгляд, отпечатавшийся в памяти след взгляда. Улыбка. (Почему именно – Модзалевский?) Изрядно важна в мужчине улыбка, улыбка человека, имеющего за душой что-то, что интересно разгадывать. Некий секрет. Она помнит две-три таких улыбки. Но – сила объятья? Сладостность его? Тело, его тяжесть? Где все это? Как они бестелесны, тела прошлого, как прозрачны, призрачны; как не вещественны вещи прошлого; но ведь прошлым рано или поздно становится с е, и, значит, бестелесно всякое тело, не вещественна каждая вещь, и любая радость – безрадостна (но горе – горько!), и близость – далека, и осязание памяти немотствует... и за все, за все как есть имущество твоей памяти, движимое и недвижимое, никто – да ты же сама первая – ломаного гроша не даст и в базарный день...

Глядя назад, старуха видела себя прошлую как д р у г у ю женщину, и эта другая, как и все «другие» в сознании каждого человека, была для нее всего лишь движущейся в пространстве прошедшего времени фигуркой, допускающей произвольные замены и перестановки. Не потому ли так часто и лжем мы, рассказывая о своем прошлом, что и лжи-то никакой не ощущаем в том, чтобы передвинуть ту или иную игрушечную фигурку на доске нашей памяти на сантиметр вправо или влево? Игра бывает честной или нечестной, но нет и не может быть игры истинной или ложной; а значит, всякая игра по-своему честна.

Галя Абрамовна наблюдала эту работу памяти, сохраняющей все плохое и превращающей в игрушки, в чепуху, в ничто все хорошее, милое, дорогое в ее жизни, и ей хотелось лишиться памяти. Впасть в беспамятство. Жизнь, в которой нечего вспомнить, казалась ей теперь правильно прожитой жизнью, и она с облегчением следила, как, слабая, гаснет с каждым днем ее память, как отделяются от нее, отшелушиваются, как зажившая ранка, и медленно, но верно тонут в склеротическом белесом тумане уже и самые тяжелые и живые впечатления прожитого.

Все вздор. Как можно было так долго обманываться?

Зачем жить? Чтобы – жить? Но как же это может быть не ясно любому дураку: если жизнь – сама себе цель, если: «стихия и мощь жизни» и прочая, если прав Горький, если «Девушка и Смерть» и впрямь посильнее «Фауста» Гёте, если – «пусть сильнее грянет буря» и «безумству храбрых поем мы песню» (не отставать же, в самом-то деле, от безумцев!), если живешь, одним словом, чтобы выжать из жизни все, – то такую цель можно преследовать, не на словах, а на деле, отнюдь не в каждой-всякой, но только – в с ч а с т л и в о с л о ж и в ш е й с я жизни. В жизни, дающей возможность или безумствовать вволю, или вволю же наслаждаться

утехами домашнего очага. Следовательно, в такой жизни должны совпасть: здоровье, красота, обеспеченность, обаяние (применительно к мужчине добавим силу и отвагу) да плюс к тому немного удачи. И все это должно совпасть в одной судьбе! Каково? Ну-с, а остальные? Ведь кому же нужно богатство без здоровья и силы, как возможно семейное счастье в нищете, и чего стоит красота, если у тебя тяжелый характер? А ведь есть – и их вполне достаточно – люди небогатые, некрасивые, неуживчивые и нездоровые одновременно. Приплюсуем нищих, заключенных, калек, душевнобольных, олигофренов, больных болезнью Дауна и других, с позволения сказать, мизераблей. Все эти люди несчастливы, а ведь их, горемык, вместе взятых – абсолютное большинство. Попробуй-ка выжми из жизни хоть что-нибудь, поживи-ка полной жизнью, сидючи в тюрьме, в кресле на колесиках или просто имея обычные способности и три-четыре рубля в день за вычетом коммунальных расходов. Но такова ведь жизнь 90 из 100. Значит, жизнь 90 из 100 – бессмысленна? Так прикажете думать?! Или, может быть, требовать от миллионов трудящихся безумства храбрых? Уж не на рабочем ли месте? Или дома с женой и детьми, или, не дай Бог, на улице вечером? От женщин, по восемь часов в день отбывающих трудовую повинность, силы чувств Елены Стаховой или Веры Павловны? А? Мыслимо ли это? Помилосердствуйте!

Но допустим, допустим, почти все названное совпало; вот хоть бы в ее жизни. Ей крупно повезло, скажем прямо. Она славилась красотой, знала, что такое обеспеченное существование; главное же, ее любили, здоровье не изменяло ей никогда, и за 90 лет жизни она ухитрилась ни разу не влипнуть ни в одну из тех историй, коими так богата Россия в двадцатом столетии. Ей крупно повезло. И что же? Да ничего хорошего. Пять, десять, от силы – пятнадцать лет – и все. Счастье так непостоянно. И вот уже как из ведра: болезни близких,

расстройство дел, разлука за разлукой, утрата сил и свежести чувств, одиночество, одиночество и еще раз одиночество. И это, заметьте, в лучшем случае, есть ведь еще и ограбления, и изнасилования, и сроки с конфискацией ведомо и неведомо за что (положим, она всю жизнь платила налоги; но потому она, что называется, и вкалывала всю жизнь по десять-двенадцать часов в день, чтобы хоть что-нибудь заработать; и как ни претили ее правовому сознанию уголовные преступления, но ее человеческому сознанию, откровенно говоря, было не совсем ясно, почему за честную работу людей, пусть даже и уклоняющихся от платы налогов – огромных налогов, – ждут такие большие неприятности. 5 лет, например, да еще с конфискацией! Не проще ли уменьшить налоги?) ... Нет, кто говорит, так, как она, жить было можно, что там – вполне прилично жить, только вот... зачем? Сейчас-то ей видно, что «жить можно» не тянет на «жить нужно». Поскольку «жить нужно» – д л я ч е г о - т о , а «жить можно» – п о т о м у ч т о . Потому что не умирается, вот почему. А вот д л я ч е г о ?

Жить, чтобы жить... Да не может же смысл какой бы то ни было вещи лежать в ней самой! Вот, скажем, смысл искусственных зубов вовсе не в том, что они есть, и даже не в том, чтобы ими жевать, а в том, чтобы жевать ими в м е с т о с в о и х , настоящих. Их смысл в том, чтобы заменить настоящие. А в чем смысл жизни? Ну, хорошо, если жизнь в радость, то до поры до времени тут просто нет проблем. А если безрадостна? Трудный вопрос. Но у Горького и других инженеров человеческих душ и на него готов ответ. У них на все припасен ответ. Для того, чтобы творить добро. Активно творить добро.

Так принято. Говорить и думать. Все так говорят. Большинство так думает. То самое большинство людей, у коих молодость не совпала с красотой, а здоровье с благосостоянием. Их вера поневоле сделалась – добро.

Помогай людям – ведь они не счастливее тебя. Чем не ответ? И правда – чем? «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника...» «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» Кто в гимназии не читал на уроках под партой эти и множество им подобных стихов? Что ж, может быть, может быть... она не знает: на ее пути встретилось не так много людей, да и, безусловно, она не годилась в Сонечки Мармеладовы или Веры Павловны Лопуховы-Кирсановы. Однако она старалась не причинить никому зла, что по двадцато-тридцато-сороковым было совсем не так мало. А иногда и помогала, если выпадал случай. Лиле, например. И, между прочим, правильно сделала, что помогла именно ей: Лиля оказалась благодарным человеком, неизвестно, что бы она сейчас вообще без Лили делала. Но – общий смысл? В чем он? Что останется-то от этого добра, тобою сотворенного? Ты помогаешь людям. А потом они умирают. Ты тоже. Ни от них, ни от тебя, ни от твоего добра ничего не остается. Совершенно ни-че-го – не настолько же ты глупа, чтобы вообразить, будто благодетельствованные тобой расскажут о тебе своим детям, а те – детям детей... Которые, кстати сказать, тоже умрут. Окончательно и бесповоротно. Так что в любом случае нечего надеяться на вечную память. Вечное спасибо.

Но такова, ведь, между прочим, цена и любого дела! Лю-бо-го. Все эти «пароходы, строчки и другие долгие дела» (а уж как Зара читала Маяковского на выпускном вечере! Чувствовалось – быть ей актрисой) – все это вздор. Чистая фикция. Тень тени твоего самобмана.

Дела? Свершения? То есть то, что остается от человека после его кончины? Все это неплохо. В том случае, когда конец – далеко. Г д е - т о т а м. То есть в области чистой игры ума. (Тем-то и хорошо будущее, что безопасно. Ибо будущее, пока оно будущее, может быть чем угодно, кроме одного: оно не может быть

настоящим. А по-настоящему опасно только настоящее.) Вот и Фауст Гёте – что ты будешь с ним делать; зацепился ненароком, да так и нейдет из головы – он, говорят, был умницей необычайным, вот и он все звал к великим свершениям; город, что ли, он там строил, дай Бог памяти? А зачем? И что дальше? Опять же: «Остановись, мгновенье!» Еще бы. Понятно, что мгновенье счастья хочется продлить. А чтобы остановить навовсе – за это не жалко и душу дьяволу продать (да тут еще нет ли такой мыслишки, что, мол, остановишь раз и навсегда, а стало быть, за заветным-то мигом ничего – никакого дьявола – и не последует!). Вот только возможностью остановить хотя бы одно-единственное мгновенье никто и ничто на земле не обладает. Время неостановимо; с неизбежностью выясняется в один прекрасный день: жизнь в новом городе ничуть не счастливее, чем в старых. Это легко было предсказать, и предсказать наверняка; удивительно, что в такую голову, какой наградил Фауста Гёте, не пришло, что город без людей есть всего лишь живописная груда камней, коих ради никак не стоило ничего и никому закладывать, тем более душу. Людей же, человеческую природу Фауст изменить – хотя бы, для начала, увеличив срок жизни на 300 – не смог бы даже с Мефистофелевой помощью; да и не пытался, тут у него ума хватило, и люди остались все теми же слабыми, несчастными смертными, какими и были всегда и, вероятно, всегда будут, если даже из кранов в их квартирах потечет не вода, а миндальное молоко. Какова же теперь цена фаустовского мгновенья? И ради чего было огород городить? Зачем учить лжи? Затем, что принял ее за истину? Какой же ты в таком случае инженер душ? В таком случае ты всего-навсего простофиля, такой же дурошлеп, как и мы, грешные, ну разве что поязыкастей. Или, может быть, сознательно: дескать, «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? Что ж, возвышайтесь, пока есть охота. Возвышаться – это тоже занятие.

Пока не поймешь, что все просто: конец приходит и берет тебя за живое, и все встает на свои места. Смерть стоит перед тобой, и ты перед смертью, и это... а-яй-яй, как это нехорошо! Только здесь, только теперь ты видишь все, как оно есть на с а м о м д е л е. И ты понимаешь, Геля, Галя, ты понимаешь теперь: все, что было, и все, чего не было, но могло бы быть в твоей жизни, если бы тебя случайно родили Пушкиным или Анной Павловой, – все-все-все вещи, драгоценности, цветы и лавры, обожатели или обожательницы, весь успех, пена всего шампанского, сколько ни есть его в мире, и даже исполненный тобой «Лебедь», и даже сочиненный тобою же «Евгений Онегин», и даже построенный тобой город, и даже перекроенный тобою мир, и... – все это пустяки перед неминуемой черной ямой без дна, перед абсолютной дырой, перед крокодиловой пастью с четырьмя рядами отборных, без единой коронки зубов, хотящей тебя пожрать. Ибо смерть есть нуль. А все, помноженное на нуль, есть опять-таки нуль. И те, оптимизму которых не мешает это простейшее соображение, это круглое колечко... – тех просто не клевал еще жареный петух, как говаривала после стопки «Московской» ее соседка по двору, домработница Понаровских Маша Телегина (покуда упомянутый петух не клюнул ее самое и после одной из стопок не хватила Машу, говоря ее же словами, кондрашка от паралича в палате № 17 Клинической больницы).

Подумать только, она и сама верила во всю эту ерундистику. Из всех разновидностей нуля она выбрала славу. Правда, прославиться надлежало не ей – она достаточно трезво оценивала свои способности. Прославиться должна была Зара, и тем – обессмертить мать. Обессмертил же Моцарт отца, а Пушкин и подавно – Арину Родионовну. Сколько же она испортила себе и Заре крови, когда окончательно выяснилось, что дальше вторых ролей в Куйбышевском драматическом театре дочь не пойдет! И хотя в дальнейшем

Заре повезло устроиться в Москве, куда уехала она из-за обычной истории: романа с режиссером, разумеется, женатым на больной женщине, которую бросить он не мог как порядочный человек, но которой болезнь не помешала обратиться в местном театре с письменным заявлением, – Галя Абрамовна так и не могла с этим примириться вполне до самой Зариной смерти. Какая-то артистка Москонцерта! Сколько пролито слез, выпито сердечных капель... Надо же! Из-за чего? Прославиться в детях; чтобы говорили: «Сегодня Иткина была не в ударе». Или: «В своем роде она, безусловно, ничего. В своем роде, но не в моем вкусе». Или просто: «Что вы в ней нашли? Обыкновенная истеричка». О-о, ради этого стоило жить и бороться? Ну, хорошо; но уж так называемая «вечная память» – это-то хоть стоящее дело? Ради бессмертия имени в памяти людской – стоит жить? Более того, стоит умереть?

Может быть, может быть... А почему, собственно? Выдумки. Вздор. Решительно всякая слава – вздор. И «память» ваша, и «бессмертие в памяти» – такой же точно вздор.

Что память? Вот, ты живешь с мужчиной. Дело житейское. Проходит время; вы расстаетесь. Опять-таки житейское дело. Само собой, как и в каждой долголетней связи, в вашей была для тебя пара неприятных минут. Таких, о которых вспоминаешь, краснея. Это может быть связано с обманом, изменой его или твоей, или унижительной ревностью, с его непозволительной грубостью, цинизмом, с тем, что тебя потребляют, как кусок мяса, с... да мало ли с чем! Хоть бы и с тем, наконец, что на тебе случайно оказалось плохое или несвежее белье. И что же? Часто ли вспоминаешь ты об этом лет этак 10 спустя? Не дает ли покоя мысль о том, что он помнит? Горят ли щеки от того, что по земле ходит человек, в чьей власти в любую минуту, вспомнив о тебе, воскресить вещи самого непристойного, бесстыдного, унижительного свойства? А? Ничего подоб-

ного. Чепуха какая. Пусть себе вспоминает, что хочет. Ко мне это не относится. Ведь он вспоминает не м е н я, а всего лишь то, что в его голове носит мое имя. Да что вы, в самом деле? 10 лет прошло! Да и кто такой этот «ОН», скажите на милость? Где «ОН»? Не есть ли этот «ОН» всего лишь тоже имя, лишь точка в пространстве моей памяти? Вот – я стираю эту точку. И ставлю другую. И точка.

Если человек сделался мне безразличен, значит, отныне он для меня не существует. Его нет в моем мире. А ведь он был со мной так близок, как только возможно. И вот все, что он думает и помнит обо мне, перестает меня интересоваться! Вот она, память. Что после этого сказать о славе? Ведь всякая вообще слава – это есть именно мысль и память обо мне, интерес ко мне множества людей вообще н е з н а к о м ы х, посторонних, попросту не существующих для меня людей, – то есть то, что для человека не должно иметь равным счетом н и к а к о г о значения! Ну скажите на милость, можно ли теперь представить себе что-либо глупее, чем влечение к прижизненной славе? Можно. Влечение к славе посмертной. Когда некому будет даже тешиться бредовой идеей, будто бы само количество несуществующих для тебя посторонних людей, уплотняясь, перерастает в иное качество: несуществующие для тебя порознь люди сгущаются в некий как бы существующий, приятно ощущаемый тобою теплый ком под названием «благодарное человечество». Почему же человек так упорно продолжает верить в «вечную память»? Сколько уже разбили себе лоб об эту стену. Сколько искалеченных судеб. Жизнь в искусстве! Хороша жизнь. Водка, а то и наркотики, зависть, непонимание, травля, скандалы, нервные и психические болезни, самоубийства. Все – ради славы, ради памяти.

Что им эта память? Да, наверное, вот что. Вовсе и не памяти им надо, а – памятника. Памятника, о котором всю жизнь мечтал Есенин и от которого публично

отказывался в своих стихах (значит, про себя – хотел, хотел!) Маяковский. Не живой памяти живых посторонних людей, которая им, может быть, и ни к чему, а – воплощенной в аплодисментах, аншлагах, лаврах и памятниках удачи своего дела. Помнят – стало быть, не зря жил, стало быть, сделал дело. Тут и помереть не страшно. Тут – выполненное назначение. Тут осуществление себя. То есть, между нами, с меня-то «довольно сего сознания». Но то, что помнят и славят, тоже не пустяки, поскольку подтверждает правильность моей самооценки.

Дело, назначение... Все же она привыкла верить – так уж как-то оно ей казалось вернее, проще, правильнее, – что душа (пусть она и не бессмертна), что мысль и сердце больше, важнее, дороже, чем любой материальный предмет. Вещь. Живая собака лучше мертвого льва. И тем более мертвого памятника, который никогда и не был живым. А ведь почти всякое дело сводится к какому-то количеству произведенных вещей. Гвозди, станки, машины, дома, дороги... Все это очень полезно для человека. Но ведь именно: не само по себе полезно, а для человека. Так вот и стоит ли вещь, созданная всего-навсего для человека, чтобы человек перевел, перегнал на ее производство всю свою человеческую жизнь? Всю свою душу? Кто спорит, работать надо, и хорошо работать, но – ужели это и есть смысл жизни? Эта вот перегонка бесценной человеческой души на сколь угодно длинный ряд неодушевленных, а значит, подлежащих тарификационной оценке вещей? Полноте!

Да, но есть еще искусство... Но не всем же быть художниками. Их мало, очень мало. А остальные? Да и опять-таки – что искусство? Гомер и Данте, Мильтон и Расин – кто их читает? Единицы. Она и сама-то, честно говоря, их не читала. Почти не читала. А хоть бы и прочла – что сие изменит? Разве, говоря по совести, кому-нибудь ляжет на душу переживать, читая «Божествен-

ную комедию» или «Потерянный рай»? А значит, это опять-таки только имена, только памятники, то есть – вещи. И не говорят ли они о том, что такой же мертвой вещью станет и Толстой, и Чехов и, может быть, даже Пушкин? А вот уже – игра Паганини, танец Истоминой, пение Патти – что это? Имя, только имя и ничего больше!

Мой вклад в историю... Мое дело... Бессмертие моего имени... Любимейший из всех самообманов. Таково уж свойство нормального сознания: живой человек не в силах представить себе ничто, полное от с у т с т в и е (ибо само его представление есть уже п р и с у т с т в и е), что влечет за собою обычную, но, увы, неправильную картину смерти, когда умерший в то же время представляется как бы видящим свою смерть, видящим мир без себя и свои дела в продолжающем жить мире, бессмертие своего дела, завещанного живущим. Человек может сколько угодно говорить: «Смерть есть п о л н о е исчезновение», – и при этом по-прежнему рисовать себе картину, где он и умер, и одновременно живым оком зрит величественную панораму осиротевшего, но продолжающегося без него мира. Любодорого воображать себе этакое что-нибудь: освещенное солнцем радостно-бесконечное течение жизни, где угасание одной из миллиардов частиц, ее составляющих, – очередная смерть того или другого человека, в том числе и твоя, – факт не только принципиально несущественный, но и попросту неразличимый при слепящем глаза солнечном свете безудержного оптимизма. Хорошо бы так-то устроиться, ничего не скажешь. Тут тебе и мировая гармония, и мудрость примирения, и светлая грусть... «И пусть у гробового входа -та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, и равнодушная природа красою вечною сиять». Пушкин. Ну и что с того? Неправду ты сказал, Пушкин. И вся неправда в этом маленьком «пусть». Ибо таковая картина примирения с собственной смертью при виде вечной красоты природы – не более чем картина. Картина, рисуемая в т в о е м мозгу. Умри он, твой

мозг, – и вся эта вечная жизнь природы никак уже не сможет тебя утешать, ибо ее д л я т е б я попросту не б у д е т, она разлетится в прах. То есть твоя жизнь – никак не о д н а и з, отнюдь не в т о м числе жизней, исчезновение коих ты принимаешь со спокойною, бестрепетною грустью, но она, твоя жизнь, ее наличие – е д и н с т в е н н а я для тебя возможность и утешаться, и примиряться, и вообще как-либо (например, как Пушкин) представлять себе эту самую якобы объективную якобы вечность земной жизни. Исчезновение же твое – есть для тебя исчезновение всего, аб-со-лют-но всего. И какое уж тут «пусть», когда вовсе не «пусть»! Никаких панорам, никакой вечной красоты, никакой светлой грусти! Все это из разряда: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. «Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть...» То-то и оно, что – не тем! И всё-то философски утешаешься, и всё маячит впереди большая жизнь с маленькой точкой в конце... Пока точка не вырастает у тебя на глазах в бездонную пропасть, а твоя большая жизнь, напротив, уменьшается до крохотного камушка на самом ее краю, и тут ты начинаешь отлично соображать, невзирая на дряхлость рассудка, что заснешь вот сейчас именно т е м, именно х о л о д н ы м с н о м м о г и л ы, и тут ты кончаешь шутки шутить, милочка моя, тут...

Вот оно. Самоосуществление. Перед лицом вечной смерти. Вздор! Так пьяный пьет лишнее, не думая об ужасе завтрашнего похмелья (но он-то – хотя бы пьян). Вздор; глубочайшее детство. Так пятилетний ребенок борется с отцом, крича: «Я тебя заборол! Я сильный!» Только вот смерть – не любящий папа. Она не такая киса, чтобы, ласково шутя, ложиться на лопатки. Уф, холодно.

А сколько лжи в словах живых об усопшем! «Память о нем всегда жива в наших сердцах!» Сколько здесь слоновьей тупости, дурацкого мерянья умершего на свою живую мерку! Сколько чисто внешнего отноше-

ния к человеку – как к кукле. Кукле, правда, мыслящей и чувствующей, но мыслящей и чувствующей заведомо и з в е с т н о е. Одушевленной вещи (или овеществленной душе?) Вещи, целиком зависящей от нашего к ней отношения. Вещи, ничего другого уж и желать не могущей, кроме н а ш е й любви, нашей о ней доброй памяти. Ведь это же надо – представить себе человека, который уж и помыслить ни о чем другом не может (и не должен), кроме как всю свою жизнь положить на то, чтобы мы з а п о м н и л и его имя. И затем вспомнили бы и забывали его, когда н а м заблагорассудится. Какое счастье: над твоим гробом какой-нибудь Сидор Карпович возгласит: «Память о нем вечно жива в наших сердцах!» (Но не то же ли она и сама сочла подобающей эпитафией Заре?) Это-то и есть бессмертие имени, под разными соусами, но всегда только это и ничего, кроме этого. За это и жизнь отдать не жалко. А если уж очень повезет, о тебе (не о ней, слава Богу, она человек маленький) выйдет книга воспоминаний людей, о которых ты сам вспоминал по праздникам, чтобы пригласить их в гости. Да, не зря, не зря ты жил... Будто бы умирающий человек – как вот сейчас она – не высвобождается из-под обаяния жизни, из-под власти всего житейского, не перестает дорожить мнениями и памятью о нем даже самых близких людей. Будто бы ему не наплевать на все то, чем дорожил он когда-то, в том числе на все ваши воспоминания, статьи и памятники. Будто бы не испытывает он сейчас, не переживает, не теряет безвозвратно и не прощается с т а к и м, по сравнению с чем памятник, если даже на него пойдет вся бронза мира, – мелочь, которую неудобно и считать. С живой жизнью своего единственного «я». Навсегда. На-все-гда.

Зачем? Зачем? Зачем?

Но вот есть еще мысль о назначении. О долге. Об эстафете поколений. Однако: кому и что, спрашивается, она должна? Природе – за то, что та дала ей жизнь?

Так она же и платит жизнью! Умираю – и квиты. Если учесть, что вместе с жизнью природа дала мне страдание и страх смерти, будем считать, что я плачу долг с процентами. Но смысла выйти из ничего, чтобы стать ничем, по-прежнему не вижу.

Они говорят: ты в долгу перед будущим человечества. Но его еще нет, а значит, оно никоим образом и ничем не могло меня одолжить. Еще вопрос: чем этот будущий так уж лучше меня теперешней, что я должна жить ради него, а не ради себя? А он, в свою очередь..? А тот..? И опять-таки: если конца у этой эстафеты, если конечного получателя – нет, то к о м у и з а ч е м мы отдаем? А если он все-таки есть, этот конечный получатель, этот последний человек, которому уже не надо будет отдавать, а только тратить все, полученное от человечества, – то за что, за какие заслуги огромное, неисчислимое множество людей должно все свое взять да и отдать ему одному – и умереть? Справедливо ли это будет с точки зрения большинства? А б с о л ю т н о г о у м е р ш е г о б о л ь ш и н с т в а ? И, главное, сможет ли он, последний-то, вместить столько? На что оно ему? Не спать же на сундуке с накопленным добром, как мама ее Софья Абрамовна. А если тратить – хватит ли жизни потратить это несметное богатство? Куда же он его денет?

Нет, это немислимо. Да и какой в этом смысл? Не лучше ли, не умней ли каждому разумно приобретать и тратить свое, чем... и уж во всяком случае не может эта сомнительная, непонятно куда и кому адресованная передача из рук в руки стать целью моей единственной и конечной жизни. Ахинея. Решительно – ахинея.

А идея вечной жизни рода! Идея бессмертия в детях – эта последняя, самоочевидная, эта вкуснейшая из наживок. Это женское: родить; это мужское: и чтобы мальчика! О да, тут ничего не скажешь, тут – голос крови; она тоже, как и все, хотела ребенка; и она его родила; и он умер. Чтобы она, наконец, увидела вещи прос-

то, как в детстве. Ребенка не надуешь; его не убедишь, что манная каша – «м'ака», если уж он считает, что она «бьяка».

Бессмертие рода. Я продолжаюсь в дочери, мы обе в сыне или дочери дочери, мы трое в... и т. д. Ну и что?

Говорят: это и есть реальное бессмертие. Порукой тому кровь, переливающаяся из жил в жилы. Вздор. Верить в эту галиматью могут только те, кому не довелось, подобно ей, пережить собственного ребенка и увидеть его кончину. Верить, что смысл жизни заключен в светлом будущем, которое увидим пусть не мы, так наши дети или дети детей, – верить в это в чеховские времена еще можно было, не будучи круглым... да нет, пожалуй, в любые времена люди, не наделенные точным знанием будущего, подставляют на место его с в о ю картину будущего детей и внуков. И естественно, это всегда приятная картина, и естественно, человека, плохо живущего, выручает мысль: завтра будет лучше, чем сегодня, само собой, и... а человека, утверждающего, что времена не изменятся к лучшему, пока не изменятся люди, последнего же что-то до сих пор не обнаружено, – такого человека еще обзовут как-нибудь, так, что с ним и связываться никто не станет. Да, они верят в бесконечность земного, и обязательно в с в е т л у ю бесконечность. Потому что не знают и знать не хотят конца. Но она-то видела Зарин конец, она знает, каков он. Каков земной конец всего земного.

Вот что знает она; она много на себя не берет, но вот что она знает точно: родить человека – значит безусловно обречь его на смерть. На уничтожение. Произвести на свет живое существо, не имея возможности даровать ему бессмертие, – жестоко, бессердечно. Бессовестно.

Бессмертие рода. Три «ха-ха» (простите за гимназическую вольность оборота) – и не бессмертие вовсе, а эстафета смертей. Так ведь и та-то конечна! Ведь вот она, Галя Абрамовна, сидит сейчас в кресле, в черном

дубовом кресле с высокой резной спинкой, коричневым плюшевым, вытертым добела сиденьем и такими же подлокотниками, в отцовском кресле; сидит и вмещает в себя весь свой род. Происходящий наверняка от одного из 12 колен Израилевых – может быть, даже колена Левиева – и, стало быть, насчитывающий несколько тысяч лет. Чего ради старались они, ее предки, среди которых наверняка были куда более ее заслуживающие уважения? Ради того, чтобы в конце концов на свет появилась она, Геля? Что ж, она появилась на свет. И она покончила с ними со всеми. В ней свернулась кровь рода. Он исчезнет с лица земли – это очевидно так же, как то, что зимой солнце только светит, а летом почему-то еще и греет. Она не виновата, что ей пришлось прекратить собой течение сотен судеб, тысяч лет. Но это факт. Так чего же ради они были, эти люди и годы? Ради точки. Ради ничего.

А что от них останется? Да вот что: ничто. То, что остается от мыльного пузыря: ни-что. Галя, Геля, и ты, дурочка, и каждый, кто стоит сейчас или будет стоять перед лицом смерти – а стоять перед ее лицом будет каждый, – все вы всего-навсего падальцы, червивые сгнившие яблочки, и никому не интересно знать, какими налитыми, золотыми, какими сладкими и живыми были вы когда-то...

И теперь, зная то, что наконец ей открылось, что было так ясно, так просто, так ничем не заслонено: во временной жизни нет и не может быть ни вечных ценностей, ни абсолютной цели, ни подлинного утешения, и потому земная жизнь есть всего-навсего вереница самообманов, непрерывно и необратимо стремящаяся к своему концу, к смерти, являющейся для человека единственно возможной формой вечности, – зная это, старуха не могла не отдать должное хитроумному устройству человеческого естества. Аппарата, до поры до времени не принимающего сигналов действительного знания, вынести которое ему не по зубам. Ведь только

поэтому для человека становится возможным спокойное исполнение долгой и трудной работы: дожить до смерти. Да и после того, как знание открывается человеку, входит в его отверстую душу, оно поглощается ею не сразу, а по частям: страх, вестник грядущей смерти, то появляется, то исчезает, давая возможность усвоить, освоиться с той порцией его, которую душа поглотила. Галя Абрамовна понимала, что должна благодарить за столь мудрое устройство своего организма, давшее ей возможность прожить почти 90 лет, около 30 тысяч дней, 720 тысяч часов, более 4 миллионов минут, 240 миллионов секунд без того изнурительного, хронического, безнадежного ужаса, на который обречен смертельно больной человек. А ведь каждый человек и есть смертельно больной, поскольку рано или поздно смерть ждет каждого, и каждый осведомлен об этом. Осведомлен, и тем не менее до определенного момента нервные окончания его души отключены, будто заморожены сильной дозой новокаина.

*(Окончание в следующем номере)*

## ИЗ ЛАГЕРНОЙ ПОЭЗИИ

*Публикация Л. Черткова*

Петр Анто ню к родился в 1938 году в деревне на Украине. Учась в техникуме, он был арестован и осужден в 1958 году за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и провел три года в мордовских лагерях. После лагеря он завербовался работать на Север и там, по дошедшим слухам, в 1963 году покончил с собой. Сколько их, этих странных смертей!

Эти стихи – всё, что от него сохранилось, – были написаны в лагере и включены в изданный там рукописный сборник «Пятиречье». Даже по этим четырем стихотворениям можно видеть, каким многообещающим был этот невольный последователь Хлебникова, о котором он лишь едва слышал.

*Л. Чертков*

\* \* \*

Там перед сном вечер,  
Стелет долина тень,  
Зелень, росу, день,  
В край безрассуден.  
Сыну поставили свечи.  
Порог. Не скрипит плетень.  
Темный овал головы.  
Можешь узнать пустынное –  
Изба на краю травы.  
Он отчетливо едет в страну алтынную.  
Удачно грохнула дорога –  
В углу привычный хохот бога.  
Взяло живот наперевес, –

Любила парня в карый век,  
А он блудил немытыми руками, —  
Пока в могилу чуткими ночами  
Швырнули серый гулкий камень.  
Голова его проста за берёзовы лета.  
И не хотелось вспоминать.

\* \*  
\*

Как скоро сын сказал, что сед,  
Как много бед,  
За желтым холмом,  
Махая крестом,  
Проплыл на носках сосед.  
Где скрытый столб,  
Скучая до полночи,  
Метнул рекламу средний череп, —  
И грубо застучали губы —  
Среди урочищ  
Жили черви.

1959

#### ГОРОД

На перилах лестниц  
Оставляют потный след  
Люди, которые не делают хлеб.  
А городу гнить,  
Когда погаснут города огни,  
Когда им женщины шатать  
Не будут груди —  
Войди и оглянись — скажи —  
Зачем здесь были люди.

1960

\* \*  
\*

Он уходил скорее, чем сапог,  
К раздутым рубежам невыносимой тверди –  
За это каждый всякий мог  
Предать его замысловатой смерти.  
Но ветер серых берегов,  
Принесший жесткую простуду,  
Угнал людей на перегон,  
И мы зашили в узелок посуду.  
Мы шли в размытые дожди,  
Мы шли, чтобы узнать друг друга,  
И в сбоку выросшем лесу  
Был каждый честен и поруган.  
Вокруг зажили скупое и без меры, –  
Не разбираясь, кто он и откуда –  
Мертвецки жили на карьере,  
А ночью каждый в одиночку  
Размеренно поверил в удаль.  
Потом из леса вышел бес,  
И не скрывая отвращенья,  
Каждый на каждого дико лез,  
А эхо сзади кричало и просило прощенья.  
Но было поздно звать, молить, кричать –  
Все были дрянны, рьяны, пьяны;  
И только сон, привыкший спать,  
Обнял на ветках истуканы.  
Привычно вымучен пейзаж,  
Нет позабытых незабудок,  
И кровь не льет из тесных плеч  
Под роковые перебуды.

1959

## ПИСЬМА К КАТЕ

Это была не очень странная девушка, с голубыми, точно нежно-выветренными глазами и с гибкой, вполне человеческой, ласковой фигурой. Ручки, личико и, очевидно, все тело было до того нежно и в меру пухло, так бело, как будто девушка создалась из молочной, высшей спермы и появилась, как свет. Впрочем, выражение лица было так неопределенно, словно что-то за этим скрывалось, а может быть, и ничего. Девушка смотрела, как сквозь ангельский сон, хотя и не без некоторой странной, но скованной хищности. Особенно, когда глотала.

Спала тоже по-божески: растягивая и изнеживая тело, любуясь собой даже во сне, но иногда только с хриплым лаем просыпаясь. Тяжело ей, видно, где-то было.

У себя в комнате, под пуфиком, она обычно хранила целую гору писем: письма были от влюбленных в нее: все они – рано или поздно – покончили из-за нее жизнь самоубийством. Иных писем не было.

Иногда, когда девушка чувствовала, что ей будет особенно сладко спаться, она клала свои пачки с письмами себе под подушечку, прямо-таки под щечку, и от этого, может быть, ей еще слаще спалось.

Вот некоторые из писем.

Катя! В отношении меня ты должна твердо знать, что я – чёрт. Я тогда нарочно скрывал от тебя это, не хотелось говорить. Особенно последний раз, когда встречались у памятника Пирогову. Ты так заглянула мне в глаза, что я ошалел. Чтой-то у тебя глаза такие нехорошие? Или это мне только кажется по недоверию к вашему человеческому?!

Устал я жить, Катюша. Что-то совсем не то, что я ожидал тут у вас увидеть. Как говорят ваши поэты, действительность всегда ниже мечты! А как я мечтал, мечтал, холодея духом, о воплощении, о вашем мире!! Какие планы связывал с этой жизнью! Но меня опередили... А потом этот ужас... Ну да ладно. Одна ты у меня отрада. Только не грусти, как бывало. Не пой свои нежные песни. Сил нет больше жить. Боюсь, что-нибудь сделаю с собой или с тобою.

Катя, не думаю, что ты могла бы меня полюбить, какой я есть. И дело не только в виде. Ты говорила, что тебя мучают мои глаза, что сам я как ряженный, особенно когда пью кофий.

Это ты про душу мою говорила. Но не буду, не буду говорить, какой я есть. И никогда, никогда об этом не спрашивай. Всего сказать не могу, но любовь наша, если б свершилась, была бы так страшна, что не решаюсь, не решаюсь. Любимая моя, я скоро перейду на визг!! Была бы ты ведьма что ли!! Отчего ты мне в душу, человечка, так запала?! Что у нас общего!!?

Всё, ухожу. Решил, как у вас говорят, дезертировать. Если до завтра не будет знаков, ты меня здесь не увидишь.

Катя, что бы с тобою не случилось, как тяжело бы тебе не было, никогда не взывай к нашему имени. Не вспоминай обо мне. Это мой тебе лучший совет. И не спрашивай обо мне у духов.

Всего сказать никак невозможно.

Твой-мой Анисимов.

До встречи.

\* \* \*

\*

Катя, я уже стал мертвым, потому что все мертво по сравнению с тобой. Зачем, зачем я только родился?! Мне бы бегать по лесу, ловить бабочек, пить воду из

ручейка, а я мертв. Ты за меня будешь ловить бабочек, пить воду из ручейка, потому что моя жизнь перешла к тебе.

Помнишь, я увидел твое личико там, в вышине, у звезд, и после этого у меня был тяжелый сердечный приступ? Тогда я понял, что мир – мертв, одна ты – живая. И дико мне стало смотреть на тебя – когда ты идешь по улице, как будто вся жизнь мира перешла в тебя, и ты идешь, имея жизнь в себе самой, и каждый твой вздох – дыхание вечности.

А я мертв.

Прощай. Константин.

\* \*  
\*

Катюша! Когда я тебе поцеловал, я так обрадовался, так обрадовался, что весь день потом не мог прийти в себя. Какое счастье!!

К жене совсем не могу прикасаться – до того противна, что готов свинью поцеловать, лишь бы не ее.

Ух, ты мой попрыгунчик, шалуныя моя ветреная, глупышка ненаглядная!

Скорей бы в отпуск. Зам обещал дать в третьей декаде. Накуплю я тогда снеди всякой, консервов, муки, колбаски, селедки в винном соусе, грибков, сядем мы с тобой, мамочка, в мой «Москвич» и махнем, как ты обещала мне, на юг. Ой, не терпится, ой, не терпится! Готов целовать зама.

Любящий тебя до печенок, целующий каждый твой пальчик, берегущий каждый твой волосик

Петенька Васильев.

P. S. Говорил вчера с Карповым – он обещал, что тебя примут в институт, на первый курс.

Еще раз целую мою шалуныю.

\* \*  
\*

Здравствуй, Катя!.. Где мы с тобою встретимся?!... Я хотел бы встретиться с тобой в ином мире. Потому что, говорят, мы будем там абсолютно, безнадежно одиноки, попросту говоря, один на один со своею душою. Но почему глаза твои так черны и глубоки... (Дальше неразборчиво) ...Уйти, уйти в эту глубину навсегда... (опять неразборчиво) ...Почему я так несчастен... (опять неразборчиво, но в конце три восклицательных знака) ...уединено от твоих сокровищ: союза красоты и духа (совсем неразборчиво!) ...смерть... (опять неразборчиво) ...смерть... (опять неразборчиво) ...смерть... (опять неразборчиво)...

Твой Андрей.

\* \*  
\*

Катюня, привет!

Пишет тебе твой друг с дальнего Амура, который со всею своею душою рвется к тебе. С прошлой жизнью покончено. Неделю назад был у Белого Кота и порвал со всею малиною. Это ты, матросочка моя ненаглядная, человека из меня сделала. Только ради тебя веду жизнь фрайера.

Через пять дней – расчет, билеты уже взял и айда к тебе. Иного пути у меня нет.

Твой Саша.

\* \*  
\*

Катюша! Помнишь, как стояли с тобой на берегу реки под ветерком? Шел снег, и я разделся до самого пояса. А ты еще, смеясь, запустила в меня снежком.

Помню, снежок попал мне в самую грудь под левую сиську. Неужели ты больше не подаришь мне ни одного такого дня?! Катя, Катя!!! Неужели всё прошло, и мы с тобою никогда не увидимся? Ты еще что-то говорила про судьбу. Какая же у меня теперь будет судьба без тебя!!? Я учусь на шоферских курсах и скоро окончу вечернюю школу. За окном часто поет гармоника. Но мне скушно без тебя. На стене висит портрет товарища Чайковского. Но мне не до него. Я хочу видеть тебя, Катенька. Катя, Катя, я пишу тебе восьмое письмо до востребования, а ты мне не отвечаешь. Горе мое, горе. Твердо решил получить от тебя весточку.

Если не будет, то пойду в справочное бюро и там получу окончательный ответ.

Скучающий без тебя Валера Шапошников.

\* \*  
\*

Девочка моя, девочка! Ты так напоминаешь мне мою маму, когда ей было всего восемь лет, а меня еще не было на свете! Поэтому я так и люблю тебя. Теперь у меня нет моей мамы (на днях похоронил, т. е. сжег старушку), у меня у самого теперь подгибаются колени и руки дрожат от возраста, но подари мне одну ночь, всего одну ночь!! Я совсем изошелся слезами, и особенно сейчас, после похорон, мне хочется юркнуть к тебе, моя светлая девочка, под одеялко, прижаться к твоим голым коленям, чтобы обогреть твоим теплом мою одинокую старость. Пусть я шепеляв, пусть из носа течет, зато у меня есть душа. Пусти меня к тебе, моя светлая девочка!

А я плачу. Не могу забыть глаза мамусеньки во гробе. По ночам снятся кошмары. Будто гроб этот ожил, а мамусенька – нет. И будто потом этот гроб, походив по комнате, превратился в мамусеньку, а мамусенька – в гроб. И я сначала было потерялся, где гроб, где маму-

сенька. А потом отличил. И что потом мамусенька эта моя, которая есть гроб, превратилась в тебя, моя светлая девочка. Хи-хи.

...Мне так хочется к тебе, моя детка. Весь дрожу, ноги трясутся, жду ответа.

Целую тебя в ручку.

Вечно помнящий о тебе и своей мамусеньке доктор наук Соболев.

\* \*  
\*

Катя! всё что нужно для тебя – сделал. В академию больше не звони. Отсылаю тебе твои письма. Мне – каюк. Всё.

Твой Владислав.

\* \*  
\*

Катенька! Мумуля моя! Пыс-пыс-пыс! Надьсь ты говорила, что ежели тебе выходить замуж, то только за мене. Я наизусть помню твои слова. Пыс-пыс-пыс!! Катенька, мумуля моя!! Корова у нас поутру отелилась и солнце пригрело. Приезжай. Пыс-пыс-пыс! Я очень любил нашу коровку и ухаживал за ей. Но тебя я буду любить еще больше. Коровка у нас покойная, тихая, и теленок у ей, наверное, от мене. Приезжай. Мы оба его будем целовать. А потом, ежели на то будет судьба, то и своего теленочка родим. Ему с братцем хорошо будет на наших полях и лужайках. А еще кур у нас много. И дров. Мумуля моя!! Зимой тепло на печке, не то что в хлеву. Помнишь, как мы пригрелись? Мумуля моя!

Пыс-пыс-пыс.

Аким.

\* \*  
\*

Катя! Конец. Без тебя – нет жизни. Прощай.  
Толя.

\* \*  
\*

Катенька! Совсем ослаб от тебя вестей не дождавшись; хирею, голубочик ты мой, без твою поцелуя; пиджак совсем затерся, в нутре пусто, и клопы падают из ушей, когда встряхиваюсь; на дворе снег; ботинки продырявились и боюсь выйти на улицу: мокро; пожалей меня, ведь мне всего двадцать три года, а чувствую себя старичком; в боку болит и слезы каплют, как гляну на твой портрет. Пожалей меня. На работу меня не берут: говорят плох, и даже маменька от меня ушла. Вся надежда на тебя, на мою ласковую, жалостливую. Если б не твоя жалостливость, я бы к тебе так не привязался и не надеялся. А по-утру еще подхватил насморк: сопли так и текут вместе со слезами. Вся голова – в полотенцах. Кот и тот на меня не смотрит. А кошка тая, которая тебя видела, когда ты у меня гостила, очень по тебе скулчала и позавчера от тоски по тебе издохла. Я ее похоронил в огороде, рядом с капустой. И весь вечер там стоял, под осенним ветром.

Катенька! Если не вернешься ко мне, то и я, наверное, издохну, как эта кошка. И даже крест мне не поставят на могилу.

Все тело чешется, так и зудит, а в мыслях – ты и ты...

До последнего вдоха твой,  
несчастный Алеша.

Катя! Катенька! Скоро, скоро я уйду туда, где можно любить одного Бога, а не тебя. Бога, Которого мы никогда не познаем, как будто любовь к Нему – только скольжение по Его тени. Как холодно! Но я помню, помню тот вечер – я лежал полумертвый, и кровь у меня шла из горла, и дышать было нечем, и я звал на помощь, а ты сидела в соседней комнате, хохотала и целовалась с этим чучелом. Я, помню, говорил тогда, звал: «Катя, Катенька, мне совсем, совсем плохо... Любимая моя, приди...» Свой собственный голос казался мне странным и оторванным от меня самого. Точно я разговаривал со своим прошлым нечеловеческим воплощением. Потом дверь открылась и показалось это чучело, которое поклонилось мне и затем подмигнуло. А за его спиной – хохотала ты. Хохотала куда-то ввысь, не замечая нас. Катя, Катя, что ты тогда делала?!

Любимая, ответь. Почему ты ничего не говорила мне об этом существе раньше и почему оно повесилось у меня в прихожей?! Как потом испугалась моя бедная, маленькая сестренка!! Почему у тебя последнее время стала такая прозрачная кожа, точно ты уходишь на тот свет, в то же время оставаясь здесь?! Катя, Катенька! Почему у этого существа было столько галош, откуда он их взял? Мне потом пришлось, больному, с кровохарканьем, укладывать их в большой мешок и уносить в утиль-сырьё. Только мне и забот перед смертью, что разносить галоши.

Как светит солнце в окно. Как быстро пронеслась жизнь! Хоть бы поцеловать перед концом свое предыдущее воплощение! Может быть, в нем я прожил лучшую жизнь. Катюша! Катюша! Ну скажи, скажи, что понастоящему ты любила только меня, только меня. Приди, приди ко мне – приди абсолютно, сверху, приди

перед моей смертью. Я чувствую, что от этого зависит моя будущая жизнь.

Михаил.

\* \*  
\*

Катя, прощай!!!

Виктор.

\* \*  
\*

Иногда девушка просматривала эти письма, почти не читая их. И только, когда уходила, наглухо закрепляла фортку, словно опасаясь, чтобы кто-нибудь не вылетел в окно за время ее отсутствия.

Конец



**Израильский журнал на русском языке не только для евреев.** Каждую неделю: *Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами.* – *Обзор израильской печати* («Маарив», «Едиот ахронот», «Харарец», «Джерузалем пост» и т. д.) – *Лучшее из журналов Свободного мира.* – *Самиздат.* – *Роман в продолжении.* – *Письма читателей.* – *Дискуссии без цензуры.* – *Новые рас-*

*сказы и повести несоветских русских авторов.* – *Что происходит по ту сторону кордона и др.*

Цена для Европы на 3 месяца – 75 марок ФРГ,  
для США и Канады – 30 долларов США,  
включая пересылку авиа.

## ВООБРАЖАЯ ПЕТЕРБУРГ

БАРТОЛОМЕО РАСТРЕЛЛИ  
И СВЯТАЯ КСЕНИЯ

*Димитрию Бобышеву*

I.

Из плеска и фырка седьни-могутни  
Трезубье, нептунье, под ребра вонзая...  
И вона я дрыгаю – вво на игле.

Опутали плутни, но слышатся лютни.  
Чухонская белая ночка – чужая.  
А если вдруг оземь – и сразу желе...

II.

Моржовые трубы бесстыже ревели.  
Начищены юные марсы до блеска.  
Размякшие трахты Российской земли.

Твои, крутомышечный пышный Растрелли,  
Коринфы на приступ имперски-предерзко  
Из Зимнего, Смольного, Сарского шли.

### III.

На турку, барокко! На перса и шведа!  
На смерти подобное зло промедленья!  
Емельку ату! Ой, уймися простор.

Конечно, любая – бедою победа.  
У Блудного сына светлей воскресенье.  
У зодчего с вечностью свой разговор.

### IV.

Еще кукарекай, альпийский Суворов.  
Рычи из берлоги, медвежий Державин,  
Любовники славы России – сии.

Но десятилетье седьмое позоров.  
Давно отзвенели куранты: Коль славен...  
Блаженная Ксения присно еси.

### V.

Развалкой утиной. Портянки. Платочек.  
Завязаны черные жилки узлами.  
Бродяжка. Далекий занозистый путь.

Её не теряется узкий следочек.  
Овамо за Мойкой, за всеми звездами.  
Ей-эй не теряется... Молнией ртуть.

### VI.

Она толканула сердито-небольно:  
Куда тебе, квёлый... а, ну-ка, подай-ка!  
Я в руку-шершавку кирпичик сую –

И Царства и Царствия краеугольный...  
Такая – не праздно, а трудо-шатайка.  
У не одолеет Юродицу – ю.

## VII.

Я ó земь и ó небо блошкой: стаккато!  
Отсюда или отсюда глянул!  
Едва узнаваемый тот же ли Град?

Но разве не самые – те же палаты  
Вы строили оба... Вызванивал Ангел.  
А рай – перепаханый ухнувший ад.

*Май-июнь 1983 г.*

### ПРИМЕЧАНИЯ К СТРОФАМ СТИХОТВОРЕНИЯ «ВООБРАЖАЯ ПЕТЕРБУРГ»:

III, 2. Промедление смерти достойно – слова Петра Великого.  
Там же, 5. Кающийся Блудный сын: ассоциация с гениальной картиной Рембрандта в Эрмитаже.

V, 4 и 6. Читать, срывая голос, на высокой петушиной ноте.

VI, 2. Квёлый – слабый, хрупкий. Индюшка – птица квёлая (Даль).  
Там же, 4. Царство – империя, напр., Византийская или Российская. Царствие – Небесное. Кирпичики, приносимые Блаж. Ксенией и вкладываемые в постройку, незримо граничат с тем, что ТУТ, и с тем, что ТАМ. Это краеугольные камни.

Там же, 5. Есть праздношатайка (или праздношатающаяся). Должна быть и трудошатайка. Блаж. Ксения шаталась по Петербургу, но и трудилась в поте лица, и с радостью.

Там же, 6. У – шифр зла (ужаса). Ю (её) – аналогия к тексту: врата адовы не одолеют ю. (Церковь).

VII. Напоминаю: стихотворец всё еще (с трезубцем под ребром) висит на Адмиралтейской игле. Наконец, он падает, но не превращается в желе, как предполагал. Он становится блохой – панцирным насекомым. Поэтому не разливается. Гётевский Король любил

свою блоху, как собственного сына. Моя любовь к блохам более умеренная.

Там же. Оба строили – Бартоломео Растрелли, гениальный зодчий, но и бедная юродивая Ксения Петрова. Творец, иначе, чем мы, расценивает их работу: отдает должное барочному ликующему гимну, но и знает – самые жалкие кирпичики этой вдовицы – особенные, богоугодные. Еще кое-что ведает...

Во всей VII-й строфе чудеса, не совсем понятные стихотворцу. Видится ему другой Петербург, сразу земной и неземной, может быть, уже в другом измерении... Новый Рай прекраснее старого: это знал еще Мильтон.

Рай сделан из ада: здесь стихотворец теряется в догадках. Так-то так, но как? Перестроен из ада, переплавлен? Это стихотворение параллельно стихотворению Дмитрия Бобышева *Ксения Петербургская* и ему посвящено.

У меня очень мало данных о Блаженной Ксении. Но я с ней тайно общался. Услышал её ворчание, её ко мне обращенные слова:

– Куда тебе, квёлый...

Она ворчливая святая, иногда сердитая, а улыбнется – больше чем рублем подарит – целым солнцем! Мала, слаба, черные узелки жилок на висках, руках, а упрется восковой ладонью – ростральную колонну сдвинет.

Блаженная Ксения отождествляла себя с покойным мужем: – Я не Петрова, а Петров! На самом деле была ни мужниной вдовицей, и не им самим, а Христовой невестой. Но даже подумать об этом не смела: так была смиренна, и смирение – великая её мощь.

Не ушла в монастырь, а носила кирпичики на стройку. Как строилось – по плану великого Растрелли или доморощенного горе-зодчего – её нисколько не занимало. Но знала: нужно строить – и не одни церкви, а и дома, сараи, погреба. Она святая нового ПОСЮСТОРОННЕГО, а не только ПОТУСТОРОННЕГО христианства. Душой Мария, но с руками Марфы.

Прием у Царицы Небесной. Млечная голубизна палитры Фра Беато Анджелико. Глубокий кастильский реверанс Св. Терезы Авильской. Три метания Св. Юлиании Лазаревской. А Архангел Гавриил подымается всё выше. Херувимы приподымают старенькую тютельку – Ксению.

Шепот: третье кресло. В первом Мария Магдалина, во втором Мария Египетская...

ИВАСК Юрий (Георгий) – родился в Москве в 1907 году. С 1920 года – в Эстонии. Закончил русскую гимназию в Ревеле и юридический факультет в Юрьеве (Тарту). С 1949 года проживает в США. Доктор Гарвардского университета. Преподавал литературу в университетах Калифорнии, Канзаса, Вашингтона, Массачусетса. С 1977 года в отставке. Живет в городе Амхерс (Массачусетс). Опубликовал монографию о Леонтьеве (Жизнь и творчество), а также пять книг стихов. Выходил в Самиздате. Печатался: «Новый журнал», «Грани», «Опыты» (им же и отредактированные), «Мосты», «Воздушные пути», «Новое русское слово», «Русская мысль».

## «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Сорок четвертый год издания

Под редакцией Романа ГУЛЯ (гл. редактор),  
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

**Книга 160-я. СОДЕРЖАНИЕ:** *Р. Гуль.* Я унес Россию. Том III. «Россия в Америке». *М. Дубинин.* Пушкин в Одесском театре. *Ю. Кашкаров.* Иберия. *Эрг.* Тупик «Успокоенного Сердца». *Э. Абросим.* Хризантемы. *Н. Скад.* Побег. СТИХИ: *Б. Закович,* *Т. Великовская,* *И. Чиннов.* *Г. Архангельский.* О простоте и сложности Российской поэзии. *И. Чиннов – Д. Глэд.* Интервью. *Б. Филиппов.* П. Я. Чаадаев. Цепь цитат. *В. Крейд.* Г. Иванов в литературной жизни 1910 – 1913 гг. *А. Чедрова.* Христианские аспекты романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». *В. Блинов.* Созидательные антиномии С. Рафальского. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Письма *И. Ф. Романова (Рцы)* к В. В. Розанову. *М. Шапиро.* Женский концлагерь. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *А. Федосеев.* ЮАР и ее проблемы. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: С. Зеньковский, С. Крыжицкий. Памяти *Н. И. Ульянова.* Б. Филиппов, Ю. Иваск. Памяти *Г. П. Струве.* М. Гольдштейн. Памяти *К. Е. Аренского.* СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *В. Гинзбург.* В дополнение к «Дневнику» М. Башкирцевой. БИБЛИОГРАФИЯ: *Игумен Геннадий Эйкалович.* А. Ф. Лосев. «Вл. Соловьев»; *Е. Валин.* С. Клычков. «Князь мира»; *Я. Горьковатый.* Еще один дождь; *Игумен Геннадий Эйкалович.* Чеховград; *Т. Фесенко.* Н. Белавина, Стихи; *Вл. Гребенчиков.* А. Опульский. Вокруг имени Толстого.

Цена 1 книги – 9 долл., 4-х книг – 30 долл.  
Адрес редакции: 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

СТИХИ О ВЕРЕВКЕ

Были с детства мы вежливыми  
И всю жизнь берегли свои крылья:  
Жили в доме повешенного –  
О веревке не говорили.

Крылья нашей надеждою  
Были... Воздух... Просторные дали...  
Но над домом повешенного –  
Лишь над ним! – мы на них всё летали.

И кружились как бешеные,  
Каждый круг начиная сначала.  
То веревка повешенного  
Нас на привязи прочно держала.

Всё мы рвались в безбрежие...  
А срывались – сникали в бессильи.  
Душным домом повешенного  
Было всё, что вокруг, – вся Россия.

...Так же сник в Зарубежье я...  
Смолк ворот отпускающих скрежет,  
Но веревка повешенного  
Так же прочно и здесь меня держит.

Обрывает полёт она...  
Трёт – лишь только о ней позабуду.  
Тяжесть гибнущей родины,  
Как судьба наша, с нами повсюду.

Тем и жив я пока еще...  
Той веревкой... Той связью дурацкой...

В пустоте обступающей  
Даже страшно с нее мне сорваться.

Предоставлен насмешливо нам  
Страшный выбор, как дело простое:  
Жить с веревкой повешенного  
Или падать в пространство пустое?

И кривая не вывезет...  
И куда вывозить? – Всё впустую.  
Глянь – весь мир, как на привязи,  
Сам на той же веревке танцует.

Всё счастливей, всё бешенее,  
Презирая все наши печали, –  
На веревке повешенного,  
О которой мы с детства молчали.

\*            \*  
                 \*

Дети, выросшие дети,  
Рады ль, нет, а мы в родстве.  
Как живется вам на свете –  
Хоть в Нью-Йорке, хоть в Москве?

Как вам наше отливало –  
Веры, марши, плеск знамен?  
Чем вам юность открывалась  
В дни почти конца времен?

И какими вам глазами  
Видеть жизнь теперь дано? –  
Хоть в Париже, хоть в Казани,  
Хоть в Кабуле – все равно.



Все равно! Что должен – делай:  
Все претензии – к себе.

Чтоб от злости не смешаться  
Со средой, лишась всего.  
Чтоб хоть как-то продержаться  
До... Не знаю, до чего.

## «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Сорок четвертый год издания

Под редакцией Романа ГУЛЯ (гл. редактор),  
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

**Книга 161-я. СОДЕРЖАНИЕ:** *Р. Гуль. Я унес Россию. Том III. «Россия в Америке»; А. Шепиевкер. Агафья и Агафон; А. Кторов. Мелкий Жемчуг; Ю. Кашкаров. Афон. СТИХИ: И. Чиннов, И. Елагин, М. Косталевская, В. Крейд. Ю. Иваск. Похвала Российской поэзии; Т. Фесенко. О. Н. Анстей (Люша).*

**ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:** *А. И. Гучков. Из воспоминаний; гр. Е. Н. Разумовская. Из дневника; кн. В. Вяземский. Первая четверть века существования зарубежного масонства; Ю. Фельштинский. Из истории Брестского мира.*

**ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:** *В. Бондаренко. Взгляд с исторической вышки; А. Иванов. Экология исторических памятников и могил. Смерть и погребение Гоголя.*

**ПАМЯТИ УШЕДШИХ:** *Вяч. Завалишин. Памяти А. Худякова.*

**СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:** *К. Скворцов. Письмо в журн. «Pure Vérité»; Д. Антонов. Марксистский национал-социализм и смерть А. Шпрингера; Р. Плетнев О «Босанчице».*

**БИБЛИОГРАФИЯ:** *Н. Ржевский. А. Pushkin. Eugene Onegin. Transl. by Ch. Johnston; Т. Фесенко. Игорь Чиннов, «Автограф».*

Цена 1 книги – 9 долл., 4-х книг – 30 долл.

Адрес редакции: 2700 Broadway. New York, N. Y. 10025

## РУКА КРЕМЛЯ

*Комедия о мирном сосуществовании  
двух систем*

### ПРОЛОГ

На правой половине занавеса изображен Кремль и ракеты, направленные налево, а на левой половине – Запад (Эйфелева башня, статуя Свободы и т. п.) и ракеты, направленные направо. С левой стороны выходит Западный Человек (ЗЧ). Он высокий, худой, длинноволосый, бородатый. Одет так, что сразу видно, что это – западный человек (возможно, в джинсах и куртке). С правой стороны выходит Советский Человек (СЧ). Он маленький, толстенький, круглолицый, коротко подстрижен, гладко выбрит. Одет как советский партийный чиновник среднего ранга. ЗЧ и СЧ сходятся в середине сцены, жмут друг другу руки, обращиваются к зрителям.

ЗЧ: Уважаемые зрители! В соответствии с программой культурного сотрудничества и обмена между Западом и Советским Союзом мы сейчас покажем вам совместную советско-западную комедию о мирном сосуществовании двух непримиримых социальных систем...

СЧ: ...на Западе.

ЗЧ: Почему только на Западе?!

СЧ: Потому что у нас в Советском Союзе никакого сосуществования коммунизма с капитализмом быть не может, особенно – мирного. Мы готовы мирно сосуществовать с капитализмом у вас на Западе, а не у нас.

ЗЧ: Но это же кончится тем, что вы нам навяжете свой режим силой!

СЧ: У нас, коллега, нет никаких захватнических целей на Западе. Наши цели не захватнические, а освободительные. Мы хотим освободить Запад. Для нас самих, конечно. А захватнические цели на Западе имеет сам Запад.

ЗЧ: Как так?? Это же нелогично, коллега!

СЧ: Вот именно! Зачем Западу захватывать Запад? Совсем ни к чему. Вот поэтому мы решительно против захватнической политики Запада на Западе. В крайнем случае, мы можем согласиться на сотрудничество, причем – на условии полного равноправия: половину вам, половину нам. Согласны? А если вы не хотите, мы и одни справимся, без вашей помощи.

ЗЧ: Мы согласны, коллега. Мы всегда за сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Этому мы и хотим посвятить наше представление. С чего начнем?

СЧ: Разумеется, с самого начала, т. е. с Первоапрельского Пленума ЦК КПСС, на котором будет принято решение о мерах по преодолению серьезных недостатков в работе Запада.

ЗЧ: Почему ваше руководство избрало для такого Пленума именно первое апреля? Это же день шуточных обманов!

СЧ: И нешуточных тоже. Итак, коллега, в Москву!

ЗЧ: Но я в черном списке КГБ, мне не дадут визу.

СЧ: А я в черном списке вашей службы безопасности, мне не дадут визу на Западе.

ЗЧ: Как же быть?

СЧ: Очень просто. Мы обменяемся отсутствием виз, и все будет в порядке.

ЗЧ: Прекрасное начало для мирного сосуществования!

### *Действие первое*

#### ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Занавес раздвигается. На сцене – изображение зала заседаний Дворца Съездов в Кремле. Вверху лозунг «Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего человечества!». Полукругом в несколько рядов нарисованы советские руководители, собравшиеся на Пленум ЦК КПСС. За ними в центре – гигантская статуя Ленина и красные знамена. Внизу в центре – трибуна для ораторов. Все это нарисовано на полотнищах. Справа и слева – двери для передвижений действующих лиц. В момент поднятия занавеса часть мест для руководителей и место оратора на трибуне не заняты – несколько позже на эти места повесят изображения руководителей. Советские руководители изображены схематично.

ЗЧ: Перед вами – высшие советские руководители. Они, как вы видите, далеко не красавцы и совсем не юноши. И все довольно полные. Наша кремлинология... Кремлинология – это наука о советском руководстве (о «Кремле»)... Наша кремлинология установила, что советские руководители в среднем на двадцать лет старше, на двадцать сантиметров ниже и на двадцать килограмм тяжелее наших западных руководителей.

СЧ: Верно! Но ведь задача наших руководителей – не совращать женщин и не побивать спортивные рекорды. Они вершат судьбами человечества. А для этого нужна мудрость, которая приходит лишь в преклонном возрасте.

ЗЧ: Советские руководители разделяются на «ястребов» и «голубей». Вот это – «ястребы», а это – «голуби». У «голубей» наград меньше, чем у «ястребов», зато больше волос. Поэтому «ястребы» тянут историю назад, а «голуби» – толкают ее вперед.

СЧ: А ты знаешь, где у нашей истории зад и где перед? Нет? Наши руководители общими усилиями толкают историю вперед, но толкают ее под зад.

ЗЧ: Советские руководители, далее, разделяются на «политиков» и «военных».

СЧ: «Военные» приходят на заседания в погонах, а «политики» оставляют погоны дома.

ЗЧ: И отношение к войне у них различное.

СЧ: «Политики» боятся начать войну против Запада, так как еще не уверены в поражении Запада. «Военные» же не решаются начать войну против Запада, так как еще не уверены в победе Советского Союза. Так что наше руководство готово бороться за мир до последнего патрона и до последнего солдата...

ЗЧ: Прекрасная формула!

СЧ: ...до последнего советского патрона и до последнего западного солдата. Раз уж мирное сосуществование, то надо все делить честно пополам.

ЗЧ: Сейчас, уважаемые зрители, советские руководители собрались в Кремле на очередной внеочередной Пленум ЦК КПСС. Ждут Генерального Секретаря – Генсека. Пока еще отсутствуют и наиболее важные фигуры, из числа которых будет выбран новый Генсек. В Москве ходят слухи, будто

нынешний Генсек давно умер, но от населения это скрывают. Зачем это делается, коллега?

СЧ: В Кремле еще не решили, кто будет читать похоронную речь. Тот, кто эту речь захватит в свои руки, автоматически становится новым Генсеком. У меня в аппарате ЦК есть знакомый. Он сообщил мне... по секрету, конечно,... что претенденты на пост Генсека, стараясь вырвать похоронную речь друг у друга, порвали ее в клочья. Теперь «аппаратчикам» приходится сочинять новую речь. На это уйдет две недели. И покойному Генсеку все это время придется ходить на заседания и беседовать с западными политиками и журналистами.

ЗЧ: Это будет ему нелегко, я думаю.

СЧ: Пустяки! Наши вожди к этому привыкли и делают это с удовольствием. Один наш покойный Генсек через месяц после смерти даже в одну братскую социалистическую страну съездил. А другой из гроба выскочил, когда его преемник зашуршал похоронной речью. И только после того, как увидел в ней свое имя, подчинился решению ЦК быть замурованным в Кремлевскую Стену. Между прочим, коллега, ты упустил еще одно важное разделение советских руководителей на две группы.

ЗЧ: Не может быть! Какое?

СЧ: На вечно живых и полуживых.

ЗЧ: Это, конечно, анекдот! Ха-ха-ха!

СЧ: Тс-с-с! Идут ведущие фигуры Кремля! Они относятся к группе полуживых без всяких шуток. И все они жаждут стать вечно живыми.

Из двери справа на сцену выходят люди с изображениями советских руководителей. Они вешают их на пустые места и уходят в дверь налево.

СЧ: Эти люди, которых вы сейчас видели, суть «аппаратчики», т. е. работники аппарата ЦК КПСС. В их задачу входит вносить, развешивать, перевешивать, снимать и уносить высших руководителей, сочинять для них речи и помогать читать им – по возможности, по правилам грамматики, – подсказывать, когда им нужно голосовать «за» и когда «против». Одним словом, они выполняют чисто технические функции в машине власти.

ЗЧ: Обратите внимание на этого «голубя» в первом ряду справа от места для Генсека! Это – будущий Генсек. Теперь «голуби» захватят власть в «Кремле» и...

На сцену справа выбегает работник аппарата ЦК и перевешивает этого «голубя» во второй ряд, а на его место вешает «ястреба».

ЗЧ: Как мы и предвидели, власть в «Кремле» прочно удерживают «ястребы».

Работники аппарата ЦК выносят на сцену какие-то куски картона, собирают из них изображение Генсека и вешают его над трибуной. Когда его вешают, от него отваливаются куски. Помощники Генсека поднимают их и прикрепляют на место.

СЧ: Вот и сам Генсек. Эти ордена он получил за прошлую войну через тридцать лет после ее окончания. А эти – за намерение руководить всеми вооруженными силами планеты в будущей войне. Эти – за умиротворение Чехословакии, эти – за помощь Афганистану, эти – за успехи в литературе, эти – за вклад в марксизм-ленинизм.

Генсек засыпает. Громко храпит. Один из помощников достает огромный шприц и делает Генсеку укол в зад. Другой помощник достает молоток и стучает Генсека по голове. Удар сопровождается громким звуком. Генсек вздрагивает.

ГЕНСЕК: А где моя речь?!

ЗЧ: В самом деле, где речь? Генсек приведен в говорильную форму, а речи нет! А советским вождям без бумажки говорить не положено. Почему?

СЧ: Не умеют.

ЗЧ: Вот тут – уязвимое место советской системы! Если у советских вождей похитить речи, составленные для них аппаратчиками, и подсунуть на их место речи западных политиков, то советские вожди поведут Советский Союз к западной демократии!

СЧ: Ничего не выйдет.

ЗЧ: Почему?

СЧ: Наши вожди ваших языков не знают.

ЗЧ: Мы переведем их на русский!

СЧ: В переводе на русский речи западных политиков звучат точно так же, как речи наших вождей.

На сцену выбегают «аппаратчики» с большим рулоном. Разворачивают перед Генсеком. Пока они это делают, говорит СЧ.

СЧ: Каждый месяц советские руководители обсуждают положение в какой-то отрасли хозяйства. На прошлом Пленуме ЦК они обсудили положение в сельском хозяйстве и постановили сеять у себя дома, но пожинать урожай в Америке. Это постановление уже выполнено. На сегодняшнем Пленуме обсуждается положение в другой отрасли советского хозяйства – на Западе.

ГЕНСЕК: Да-ра-хы-е та-ва-ры-ши им-пе-риа-лис-ты...

Ропот. Помощники затыкают рот Генсеку, тычут его носом в речь.

ГЕНСЕК: Да-ра-хы-е та-ва-ры-ши...

Помощники стремительно зажимают рот Генсека. Ждут несколько секунд. Открывают.

ГЕНСЕК: ...империалисты на Западе обвиняют нас в том, что мы снизили темпы роста нашего влияния на Западе. Это гнусная клевета. Под руководством нашего ленинского ЦК и под моим личным руководством мы добились выдающихся успехов в деле перевоспитания Запады в коммунистическом духе. Об этом свидетельствуют следующие данные. Число наших агентов на Западе удвоилось, а число ихних агентов у нас сократилось в общем и целом до одного. Поставки Запады нам утроились, а наши платежи сократились вдвое. Повысилась производительность труда наших разведчиков. Если раньше мы имели всего один украденный секрет на одну шпионскую душу, то теперь мы имеем их пять.

Раздаются аплодисменты. Генсек засыпает. Аплодисменты кончились. Генсек храпит. Его трясут помощники.

ГЕНСЕК (жалобно): Я хочу в туалет!

Помощники сворачивают речь и уносят Генсека.

ЗЧ: Генсек покинул заседание! Очевидно, будет военный переворот!

СЧ: Скорее всего – заворот кишок. Ничего-то ты не понимаешь, коллега, в нашей жизни.

ЗЧ: Все советские люди убеждены в том, что западные люди вообще не способны понять советскую жизнь.

СЧ: А все западные люди убеждены в том, что западному человеку достаточно побывать пару дней в Советском Союзе, как он будет знать и понимать советскую жизнь лучше, чем все советские люди вместе взятые. Вот ты, коллега, был в Советском Союзе?

ЗЧ: Был.

СЧ: Сколько раз?

ЗЧ: Один.

СЧ: Сколько лет?

ЗЧ: Один... э-э-э...

СЧ: Год?

ЗЧ: Нет...

СЧ: Месяц?

ЗЧ: Нет...

СЧ: День?

ЗЧ: Нет, час.

СЧ: Что так мало?

ЗЧ: Меня арестовали.

СЧ: Почему?

ЗЧ: Потому что у вас нет демократических свобод. А вы, коллега, бывали на Западе?

СЧ: Был.

ЗЧ: Сколько раз?

СЧ: Один.

ЗЧ: Вот видите, тоже только один раз! И как долго?

СЧ: Двадцать лет.

ЗЧ: Что так долго?

СЧ: Никак не хотели арестовать.

ЗЧ: А почему вы все-таки покинули Запад?

СЧ: Был пойман, как и ты, с поличными.

ЗЧ: С какими, если не секрет?

СЧ: Не секрет. Об этом писали все ваши газеты.

ЗЧ: Мы наши газеты не читаем.

СЧ: Я пытался послать по почте в Москву новый военный самолет. Ваша пресса сочла мою высылку незаконной.

ЗЧ: Как так?!

СЧ: Самолет еще не был принят на вооружение. Ваше правительство потом извинилось передо мною.

ЗЧ: Вот видите, какие преимущества имеет западная демократия!

СЧ: Для нас – да. А на чем попался ты, если не секрет?

ЗЧ: Не секрет. Об этом же писали все ваши советские газеты.

СЧ: Мы наши газеты не читаем.

ЗЧ: Меня поймали на сущем пустяке. Какой-то интеллеktуал захотел напечатать свою статью у нас на Западе и передал ее мне. Хотя статья была переводом статьи, уже опубликованной на Западе, ваше правительство передо мной не извинилось.

СЧ: А почему оно должно извиняться? Тебя арестовали законно. Кстати, почему ты на свободе, а не в Сибири?

ЗЧ: Обменяли на советского агента. А почему вы на свободе?

СЧ: Обменяли на западного агента.

ЗЧ: Надо признать, что эта форма культурного обмена между Западом и Востоком имеет большие перспективы.

ОДИН ИЗ «ЯСТРЕБОВ»: Я тоже в туалет хочу.

Вбегают «аппаратчики», снимают «ястреба» и уносят. Выбегают другие «аппаратчики», перевешивают на освободившееся место «голубя» и убегают. Приносят обратно «ястреба», перевешивают «голубя» обратно, вешают «ястреба» на прежнее место.

«ЯСТРЕБ»: Безобразие! Стоит на минуту выйти в туалет, как твое место занимают всякие карьеристы! Когда в конце концов наши ученые изобретут для нас унитазаы, с которыми можно будет на заседаниях и на парадах хоть целые сутки просиживать и простаивать без риска потерять пост?!

Одобрительный ропот вождей. Возгласы: «Давно пора!», «Судить их, бездельников!», «Куда КГБ смотрит?!»

Помощники вносят Генсека, вешают его на крючки, разворачивают перед ним речь.

ГЕНСЕК: ...но в работе самого Запада еще есть серьезные недостатки. Запад снизил темпы роста числа наших людей в своих правительствах, в военных штабах, в банках и фирмах.

Пятилетний план поставок продовольствия и компьютеров в нашу страну с Запада оказался под угрозой невыполнения. Настало время исправить недостатки в работе Запада. Запад должен трудиться по способности, чтобы удовлетворить Советский Союз по потребности. Этому нас учили учителя мирового пролетариата Маркс и Ленин! Какие будут соображения?

ГОЛОС 1: Пристрелить президента Запада!

ГОЛОС 2: Послать подводную лодку!

ГОЛОС 3: Сбить еще два самолета!

ГОЛОС 4: Устроить полугодовую демонстрацию и затем полугодовую забастовку на Западе!

ГОЛОС 5: Перекрыть нашу газовую трубу на Запад. И они тогда там вылетят в трубу. Ха-ха-ха!

ГОЛОС 6: Нажать кнопку!

ГОЛОС 7: А кто тогда нас кормить будет?

ГОЛОС 8: Передать власть коммунистам!

ГОЛОС 9: Тогда нам самим придется кормить их и одевать! И, захватив власть, они перестанут слушаться нас.

ГОЛОС 10: Для нас на Западе лучше слабый капитализм, чем сильный коммунизм.

ГОЛОС 11: Пора сменить старую установку для Запада: «Лучше красный, чем мертвый» – на новую «Лучше слабый капитализм, чем сильный коммунизм».

ГОЛОС 12: Наша разведка на Западе считает, что нам пока достаточно погрозить Западу пальцем и он сам исправит свои недостатки.

ГОЛОС 13: Товарищи! Запад политически неграмотен. Его надо терпеливо воспитывать. Надо заставить Запад добровольно, без всякого принуждения с нашей стороны, делать то, что Западу пришлось бы делать, если бы мы заставили его это делать.

ГОЛОС 14: Пальцем погрозить мало! Надо кулак показать!

ГОЛОС 15: Они тогда наложат в штаны и устроят Восток восточнее нашего.

ГОЛОС 16: То есть прокитайский! Это опасно. Лучше пусть там остается просоветский Запад, чем будет прокитайский Восток.

Все время, пока длилась дискуссия, Генсек спал и храпел. Теперь помощники делают ему укол. Генсек просыпается, дергается.

ГЕНСЕК: Голосуем предложение. Возражений нет? Принято единогласно. А' за что, собственно говоря, мы голо-совали?

Помощники снимают Генсека, разбирают его на куски, сворачивают речь и уносят. По дороге от Генсека отваливаются куски. Вбегают работники аппарата ЦК и снимают с крючков руководителей. Занавес закрывается.

ЗЧ: Нам, коллега, пора на Запад.

СЧ: Я еще визу не получил.

ЗЧ: Но мы уже решили эту проблему!

СЧ: Я не о западной визе говорю, а о нашей – о разрешении на выезд.

ЗЧ: А какие тут-то могут быть проблемы?

СЧ: Мой товарищ написал на меня донос.

ЗЧ: Но зачем?

СЧ: Чтобы помешать мне поехать на Запад и поехать вместо меня. Для советского человека поездка на Запад всегда есть событие из ряда вон выходящее. Во-первых, можно мир посмотреть. Во-вторых, можно много ценных вещей привезти. Их частично можно продать, заработав на этом немалые деньги. А главное: раз разрешение на поездку дано – значит, начальство тебе доверяет, значит, успешное продвижение по служебной лестнице гарантировано.

ЗЧ: А что именно он донес на вас?

СЧ: Будто тот самолет, который я послал в Москву, западные секретные службы мне подсунули специально с целью дезинформации.

ЗЧ: Признаюсь вам, коллега, по-дружески: тот самолет уже устарел. У нас изобрели самолет, у которого скорость на целых три километра больше!!

Справа выходит офицер КГБ, дает СЧ красный паспорт и уходит обратно.

СЧ: Все в порядке, коллега! Я выкрал как раз тот самолет, у которого скорость больше. Итак, на Запад!

СЧ уходит налево. ЗЧ собирается идти за ним. Но справа выбегает бородатый советский интеллигент и сует рукопись ЗЧ. За интеллигентом выбегает толпа сотрудников КГБ, хватая обоих и уводит направо. Затем слева два западных чиновника выводят толпу совет-

ских агентов с чемоданами и сумками, с западными вещами. Справа офицеры КГБ и солдаты с автоматами выводят ЗЧ. Он в наручниках. Под глазом – «фонарь». Советские агенты уходят направо. С ЗЧ снимают наручники, сдирают джинсы и куртку, выковыривают изо рта жевательную резинку, дают под зад коленом, так что он буквально вылетает на Запад. Вскakiвает, убегает налево. Через некоторое время ЗЧ (уже одетый) и СЧ появляются на сцене.

## *Действие второе*

### НАШ ЧЕЛОВЕК НА ЗАПАДЕ

Занавес раздвигается. Сцена имеет такой вид. Слева – вид Запада (Эйфелева башня, статуя Свободы, небоскребы, витрины, рекламы и т. д.) Справа – бетонная стена с колючей проволокой поверху. Из-за стены торчат ракеты. Видет силуэт Кремля. В стене дверь. На ней написано: «Посторонним вход воспрещен». Перед стеной – группа западных людей с лозунгом «Лучше красный, чем мертвый». Эта группа нарисована на фанерном щите, а остальное все – на полотнищах. Посредине сцены – здание. Все помещения открыты в сторону зрителя. В помещении 1 расположен Институт Западологии, т. е. советский шпионский центр. В помещении 2 расположен Институт Кремлинологии, т. е. служба по борьбе с советским шпионажем на Западе. В помещении 1 – стол, стулья, на стене портреты Маркса, Ленина и Генсека, на столе телефоны. Слева – огромная бутылка водки с краном. В помещении 2 – стол, стулья, телефоны. На стене нарисованы люди, занятые с какой-то технической аппаратурой. Справа – огромная бутылка кока-колы тоже с краном. В 1 на стене вверху – лозунг: «Выполним пятилетний план шпионажа в два месяца», а в 2 – лозунг: «Нет ничего тайного на Западе, что не стало бы явным в Москве». В помещении 3 находится отель «Гулаг». В нем – кровать. На кровати – одеяло. Под кроватью – пустые бутылки. Кровать должна быть такая, чтобы внутрь ее могли залезть многие люди, т. е. люди должны уходить через кровать и выходить через нее. На стене – картинки голых женщин и эротических сцен. Справа в углу – телевизор. Слева – дверь. Помещение 4 – банк. Перед ним – сцена ограбления. На тротуаре лежит убитый инкассатор. Собачка мочится на труп. Стоят грабители с автоматами и в масках. Это нарисовано на фанере, вырезано и вынесено вперед сравнительно с фасадом здания. В банке – фигуры служащих с поднятыми руками, пачки денег, грабители с пачками денег. Помещение 5 – кафе «Лубянка». Стол и стулья. На столе табличка: «Зарезервировано для советских агентов». На стене нарисована внутренность западного кафе.

ЗЧ: Уважаемые зрители! Мы с вами находимся на Западе. Справа вы видите бетонную стену. Это – граница, отде-

ляющая Запад от Советского Союза. Перед вами – здание, в котором помещаются многие важные учреждения. Вот здесь находится Институт Кремлинологии...

СЧ: ... то есть центр по борьбе с нашей агентурой на Западе. А здесь, уважаемые зрители, вы видите Институт Западологии...

ЗЧ: ... то есть центр советской агентуры на Западе. Это – отель «Гулаг», который обслуживает...

СЧ: ... сотрудников Института Западологии.

ЗЧ: Под Институтом Кремлинологии вы видите кафе «Лубянка», которое обслуживает...

СЧ: ... сотрудников Института Западологии.

ЗЧ: В центре здания вы видите символ западной демократии – банк.

СЧ: Сейчас его грабят. Это и есть демократия в действии. Каждый гражданин имеет право грабить банки.

ЗЧ: Не будем мешать им, коллега. А то нас за это к суду привлечь могут.

В отеле шевелится одеяло на кровати. Из-под него идет дым, затем вылезает женщина. Старая, тощая, длинная, растрепанная, в джинсах, курит сигарету.

ЗЧ: Это – хозяйка отеля «Гулаг». Очаровательная женщина.

Вслед за Хозяйкой из-под одеяла вылезает человек в драной куртке и джинсах, заросший волосами, опухший, с синим носом, тоже с сигаретой.

СЧ: Это – один из наших агентов по кличке «Ванька». Джеймс Бонд по сравнению с ним жалкий дилетант. Когда-то Ванька привез на Запад советскую установку «Лучше красный, чем мертвый». По дороге выпил (кто из русских не пьет?!) и потерял установку. Дело могло кончиться плохо, так как другой установки в «Кремле» не было. Но, к счастью, установку нашли западные прогрессивные силы и взяли ее на вооружение. Вон вы видите ее в действии. Выполнив задание «Кремля», Ванька остался на Западе – он избрал свободу.

Ванька сидит на кровати. Курит. Достает из-под кровати пустые бутылки. Пытается из них выдавить в рот оставшиеся капли. Бросает бутылки обратно. Хозяйка прихорашивается.

ВАНЬКА (*оглядывая Хозяйку*): Хороша!

ХОЗЯЙКА: Отсталый ты человек, Ванька. Вы, русские, опередили нас по атомным бомбам. А по секс-бомбам вы от нас безнадежно отстали. С современной точки зрения, я выдающаяся секс-бомба. Если бы я захотела, могла бы стать «мисс-Запад». А ты кто?

ВАНЬКА: Майор КГБ!

ХОЗЯЙКА: Вчера говорил – лейтенант.

ВАНЬКА: За ночь повысили. А вот жилищные условия остались на уровне рядового.

ХОЗЯЙКА: А в России у тебя лучше было?

ВАНЬКА: Конечно! У меня квартира была с отдельным туалетом.

ХОЗЯЙКА: А где ты, Ванька, в России жил? В Москве, как и все?

ВАНЬКА: А то где же?! В самой Москве.

ХОЗЯЙКА: На «Лубянке», как все?

ВАНЬКА: На Лубянке работал, а жил в Кремле. В Царь-колоколе.

ХОЗЯЙКА: А что это такое?

ВАНЬКА: Какие вы тут темные! Мы про ваш Запад всё знаем, а вы про нас ничего.

ХОЗЯЙКА: А в Мавзолее ты случайно не жил?

ВАНЬКА: Мог бы и в Мавзолее, но там уже занято.

ХОЗЯЙКА: А почему ты тут остался, если у тебя там квартира в Кремле была и чин майора?

ВАНЬКА: Не майора, а полковника. А остался я здесь потому, что демократических свобод у нас нет. С едой плохо. И секс не на высоте.

ХОЗЯЙКА: А есть у вас там хоть какой-то секс?

ВАНЬКА: А как же! Детишек-то кто нам делает? Не Реган же. И не Штраус. И не «Железная Леди». Сами делаем.

ХОЗЯЙКА: Детишки – это не секс. Это угроза демократии. А кто твои родители?

ВАНЬКА: Отец – Феликс Дзержинский и Лаврентий Берия, а мать – Партия.

ХОЗЯЙКА: Два отца?!

ВАНЬКА: Они по очереди.

Ванька встает, выворачивает карманы. В них – лишь дыры.

**ВАНЬКА:** Пусто!.. Займи до получки!

**ХОЗЯЙКА:** Ты второй год клянчишь «до получки», а «получки» что-то все нет и нет.

**ВАНЬКА:** А я у тебя второй год не могу выпросить на бутылку пива. Какие вы все тут на Западе жмоты! Наша русская баба сама бы припасла чекушку на похмелье.

Хозяйка уходит (в дверь за сцену). Ванька включает телевизор. Из телевизора слышно следующее.

**ГОЛОС ДИКТОРА:** По данным Института гомосексуалогии к концу века девяносто девять процентов населения Запада будет гомосексуальным. Это будет самая мощная альтернатива мировому коммунизму.

**ВАНЬКА:** Вечно этот секс. С ума сойти можно!

Ванька переключает программу. Из телевизора слышно следующее.

**ДИКТОР:** Колготки «Железная Леди» скрывают дефекты кожи и фигуры. Особенно удобны для гангстеров. Они не ухудшают видимость, не препятствуют дыханию, но при этом искажают черты лица настолько, что сами гангстеры не узнают себя. Вот мы сейчас присутствуем при ограблении банка. – Скажите, господин Х, вам регулярно приходится совершать налеты на банки. Какие колготки вы надеваете на голову?

**ГАНГСТЕР:** Разумеется, «Железная Леди».

**ДИКТОР:** Покупайте колготки «Железная Леди» во всех магазинах фирмы «Мафия»!

Ванька выключает телевизор, выходит прямо на улицу. Смотрит на сцену ограбления банка.

**ВАНЬКА:** Вот она, их хваленая демократия. Говори, что хочешь. Иди, куда хочешь. А на эту свободу денежки нужны. А где их взять?

**ЗЧ:** Сейчас Ванька безработный. Советских агентов на Западе теперь так много, что Запад уже не может обеспечить всех работой по специальности. Ванька получает пособие по безработице.

**СЧ:** Но это – гроши, не хватает даже на выпивку, а о закуске и думать нечего. По советским законам Ваньку надо

бы судить как тунеядца и выслать в Сибирь. Но зачем советские шпионы в советской Сибири?! Недавно возникла идея выслать его в Сибирь как западного шпиона. Но советские шпионские дипломы на Западе пока не признаются.

ЗЧ: Чтобы получить звание западного шпиона, надо экзамены сдавать. А Ванька от беспробудного пьянства забыл даже азбуку и арифметику. Время от времени Ванька подрабатывает. Вчера, например, советский «джеймсбонд» помог нашим профсоюзным боссам прекратить забастовку гинекологов и докеров.

Ванька подошел к убитому инкассатору. Потрогал его.

ВАНЬКА: Еще тепленький. *(Обращается к грабителю.)* С какой целью грабеж – с корыстной или ради прогресса? Молчишь? Правильно делаешь. Я – советский агент. Если нужна помощь – в любое время. Может, займешь трешку до получки? Нет? Какие же вы тут все жмоты!

На сцену выходит маленькая и толстенная баба с ярко выраженными формами. Она с ведром, тряпкой и щеткой.

ЗЧ: Это уборщица Маша, местный пролетариат. Одна обслуживает все здание. Хотя сейчас на Западе пять миллионов безработных, уборщиц все равно не хватает – никто не хочет заниматься грязной работой.

СЧ: Маша могла бы гораздо больше заработать другим способом – видите, какие у нее формы?! Но Москва приказала ей осесть именно тут. Так нужно было в интересах дела.

ВАНЬКА: Привет, Машка!

МАША: Привет труженикам разведфронта. Но денег не проси, сама бедствую. Тут тебе не Москва, а Запад. Гуд бай!

Уборщица Маша заходит в кафе. Начинает уборку. Ворчит.

МАША: Ох, уж эти советские агенты! Плюют где попадо. Окурки на пол бросают. В туалете за собой не спускают. Эх; дура ты, Машка, дура! Сидела бы сейчас в Москве в своей однокомнатной квартирке, ходила бы «на работу» – поболтать с такими же бездельниками, как я сама была, получала бы в месяц свои твердые две сотни. Что еще нужно! За границу за-

хотелось! Париж поглядеть. Барахлишком обзавестись. В трусиках заграничных пощеголять захотелось. А на что они, заграничные трусики?! Мужикам наплевать, какие на тебе трусики. Лишь бы в трусиках что-то было. Это западным бабам их заграничные трусики нужны, так как без трусиков на них даже спяну ни один приличный мужик не позарится.

Из кафе Маша идет в отель. В гостиной Хозяйка.

**ХОЗЯЙКА:** Убирай чище, а то уволю!

**МАША:** Не выйдет! Я в профсоюз вступила! Вот объявлю забастовку, тогда узнаешь мощь мирового пролетариата.

Хозяйка уходит. Маша делает уборку.

**МАША:** Когда меня в Москве уговаривали сюда ехать, обещали такой успех, что Бриджит Бардо и Мерилин Монро от зависти сдохли бы. Сам шеф КГБ говорил, что я тут буду не то что секс-бомбой, а водородной секс-бомбой. «С такими формами, – говорил он, – к тебе, Маша, весь Запад от солдат до президента в очередь выстроится». Выстроится, дождешься! Тут в моде такие костлявые одры, как Хозяйка.

На сцену с Запада выходит седой, по-американски одетый, высокий, с сигарой в зубах мужчина. За ним – два других, одетых так же. Они перешагивают через труп инкассатора и через банк входят в Институт Кремниологии. За ними побрел и Ванька.

**ЗЧ:** Это – директор Института Кремниологии и начальник западной службы по борьбе с советской агентурой. За ним шагает весь штат его ведомства. Маловато?.. Ничего не поделаешь: демократия! Директор хотел получить еще одного сотрудника, мотивируя тем, что число советских агентов возросло в сто раз. Но конгресс ему отказал. Более того, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы одного сотрудника сократить, так как деньги сейчас Западу нужны на новый заем Советскому Союзу.

На сцену выбегает множество маленьких, одинаково одетых человечков. Они бегут в банк, перепрыгивая через труп инкассатора, и скрываются за сценой.

СЧ: Это, как вы догадываетесь сами, наши ребята. А это – сам начальник нашего разведывательного центра на Западе. Его тут почтительно называют боссом.

На сцене появляется толстый, розовый, маленький человек. Он идет в Институт Западологии. Как и все, перешагивает через труп инкассатора. Похлопывает по плечу грабителя.

ЗЧ: Итак, все главные действующие лица на своих местах. Можно начинать рабочий день.

В Институте Кремлинологии помощники Директора вносят в помещение нечто похожее на рентгеновский аппарат. Затем они втаскивают человечка с татаро-монгольским лицом и впихивают в аппарат. Директор начинает разглядывать через аппарат внутренности человечка.

ЗЧ: Господин Директор изучает советского человека посредством самой современной технической аппаратуры. Он хочет познать таинственную русскую душу.

ДИРЕКТОР: Таинственная русская душа – где она? Сердце вижу. Кишки вижу. А где же душа? Нет! Следующий!

Входит Ванька.

ДИРЕКТОР: А, господин полковник! Как поживаете?

ВАНЬКА: Плохо.

ДИРЕКТОР: Вы, русские, всегда на что-то жалуетесь.

ВАНЬКА: На советский режим, например? Но ты же сам пишешь и говоришь везде, что мы, русские, недовольны нашим режимом.

ДИРЕКТОР: Да, режим плохой. И его надо сбросить. А для этого надо познать русскую душу, из которой он вырастает. А у вас имеется душа?

ВАНЬКА: Душа-то есть, да за душой нет ничего!

ДИРЕКТОР: А вот мы сейчас проверим!

Помощники хватают Ваньку и суют в аппарат. На экране отчетливо видна бутылка.

СЧ: Пока господин Директор изучает Ванькину душу, посмотрим, чем занимаются наши советские товарищи.

Босс подходит к бутылке с водкой. Ищет стакан. Не находит. Пьет прямо из крана. Крякает. Садится за стол. Снимает трубку телефона.

БОСС: Алло, газета?

ГОЛОС: Газета. Какая вам нужна?

БОСС: Любая.

ГОЛОС: Я вас слушаю.

БОСС: Объявление надо дать.

ГОЛОС: О чем?

БОСС: О вербовке новых шпионов в советскую шпионскую сеть.

ГОЛОС: О, это мы с удовольствием. Причем – бесплатно.

БОСС: Бесплатно не пойдет. Платите нам десять тысяч монет.

ГОЛОС: Идет! Диктуйте!..

БОСС: Советский шпионский центр объявляет дополнительный набор в агентуру. Принимаются министры, генералы, журналисты, ученые и представители прочих важных профессий, имеющие доступ ко всякого рода секретам.

ГОЛОС: Принято! Будет на первой странице в вечернем выпуске. В какой форме вам выслать гонорар?

БОСС: В форме джинсов, кожаных пиджаков, компьютеров, дубленок, шуб, жевательных резинок и кофе.

ГОЛОС: Высылаем немедленно!

За сценой – возня, крики. Кто-то рвется к Боссу. Его не пускают.

ГОЛОС: Я президент!

ГОЛОС ОХРАНЫ: Куда прешь! Тебе сказано русским языком: Босс занят!

БОСС: Кто там?

ГОЛОС ОХРАНЫ: Какой-то президент!

БОСС: Проверь карманы и спроси, чего нужно.

ПРЕЗИДЕНТ: Выборы!..

БОСС: У всех выборы.

ПРЕЗИДЕНТ: Но меня не выбирают!

БОСС: Меня тоже!

ПРЕЗИДЕНТ: Но ведь тогда вы займ не получите!

БОСС: К-а-а-а-к????!!! Кто посмел!?

ПРЕЗИДЕНТ: Левые в блоке с правыми и при поддержке профсоюзов.

БОСС: Иванов!

Вбегает толпа ивановых.

БОСС: Предупредить руководителей всех групп, партий, фракций, профсоюзов и гангстерских шаяк: никакой отсебятины!!

Ивановы убегают.

БОСС (*кричит Президенту*): Ты можешь идти. Переизберут! Но если ты не сдержишь слово!..

ПРЕЗИДЕНТ: Как можно! Я же не советский политик! Я западный политик! Раз я обещаю, то...

БОСС (*смеясь*): ...никогда не выполняю! Ха-ха-ха!

ПРЕЗИДЕНТ: Мы, западные политики, не выполняем обещаний своему народу. Но мы всегда выполняем обещания, данные «Кремлю».

БОСС: Иди, иди! Я пошутил.

Босс снова пьет водку, ложится на стол и засыпает. Из двери справа выходит человек. У него в руках большая банка, на которой написано «Моча Генсека».

ЗЧ: А это – наш настоящий Джеймс Бонд. Он выкрал в «Кремле» мочу самого Генсека, собранную за последние двадцать лет. Теперь наши кремлинологи установят точный диагноз состояния советского общества.

Джеймс Бонд идет в Институт Кремлинологии и передает банку Директору.

ДИРЕКТОР (*восторженно*): Поздравляю с успехом, Джеймс! Миллион переведен на твой счет в банке. А это (*дает Джеймсу пачки денег*) тебе на расходы в Москве. Желаю удачи!

Директор углубляется в изучение содержимого банки. Бонд идет в банк.

**БОНД:** В Москве деньги не нужны. Интеллектуалы всё выдают даром. Военных секретов там никаких нет. Вот оставлю на водку, баб и иконы немного! А остальные положу на мой счет. Еще пара лет, и я – сверхмиллионер!! Открою ночной клуб! Займусь наркотиками! А там и в президенты податься можно будет.

Бонд из банка уходит в дверь направо.

Действие продолжается в Институте Западологии. Раздается телефонный звонок. Босс просыпается, снимает трубку. Директор крадется в Институт Западологии и прислушивается к разговору Босса.

**БОСС:** У аппарата. Это кто? Банкир, это ты? Слушай, дорогуша, что ты дурака валяешь? В Москве ты был? Был. Икру ел? Ел. Водку пил? Пил. В Мавзолее был? Был. Цветы на могилу Неизвестного Солдата возлагал? Возлагал. Так как же ты смеешь утверждать, что ты – не наш агент?!

Босс кладет трубку. Снова звонок. Босс снимает трубку.

**БОСС:** У аппарата. Это кто? Это ты, Генерал? Последний раз спрашиваю: будешь на нас работать или нет? Если не будешь, мы передадим в газеты материалы, согласно которым ты уже двадцать лет на нас работаешь!

Босс опять ложится на стол и засыпает.

На сцену выходит группа японских туристов. Все с фотоаппаратами и записными книжками.

**ЭКСКУРСОВОД:** Здесь расположен советский разведывательный центр и западная контрразведка, в задачу которой входит борьба с советской разведкой. Они мирно сосуществуют на взаимовыгодных условиях: советская разведка помогает западной контрразведке собирать секретные сведения для Советского Союза, а западная контрразведка помогает советской разведке переправлять их в Советский Союз. Такое содружество есть надежный залог мира во всем мире.

Японцы щелкают аппаратами, пишут в записные книжечки, уходят. За сценой слышатся вопли, звуки разбиваемых стекол, взрывы бомб, выстрелы. Крики: «Американцы вон с Запада!», «Свобода

терроризму!», «Долой школу!», «Долой учителей!», «Долой родителей!»

**ЗЧ:** Это – взбунтовались ученики младших классов школы и дети дошкольного возраста.

На сцену выбегает толпа детишек, но обросших волосами, бородастых, полуголых. Из двери в банке выходит советский агент.

**АГЕНТ:** Эй, сопляки! Прекратить шум! Босс работает.

Шум прекращается. Слышен храп Босса. Директор записывает храп Босса. Агент бросает детям конфеты.

**АГЕНТ:** Это вам аван! Идите к Посольству США и протестуйте там против чего угодно.

Дети хватают конфеты, кричат «Да здравствует мир во всем мире!», «Долой американских империалистов!» и исчезают. Из-за здания появляется демонстрация. Лозунги демонстрантов: «Вывести все западные войска с Запада!», «Мы требуем одностороннего разоружения Запада!», «Ни гроша на оборону!», «Наша оборона – безоговорочная капитуляция!» Слева выходит группа советских агентов, несет изображение огромной мясорубки. Подходят к СЧ и ЗЧ.

**ОДИН ИЗ АГЕНТОВ:** По-русски шпрахаете?

**СЧ:** Немного.

**АГЕНТ:** Вы случаем не в Москву направляетесь?

**СЧ:** Именно туда.

**АГЕНТ:** Захватите эту тонкую технологию с собой. Передайте прямо в КГБ. Скажете, что это – подарок от Иванова. Гудбай!

Агенты уходят. СЧ и ЗЧ, согнувшись под тяжестью мясорубки, бредут направо, в дверь на Восток. Занавес закрывается.

## Действие третье

### РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА – В ЖИЗНЬ

Слева выходит ЗЧ, справа – СЧ.

**ЗЧ:** Уважаемые зрители! Мы продолжаем показ нашей комедии о мирном сосуществовании непримиримых систем. Сейчас мы с вами перенесемся в Москву и ознакомимся с теми мерами, которые принимает советский народ для претворения в жизнь решений Первоапрельского Пленума ЦК КПСС.

**СЧ:** Прекрасно сказано, коллега! Культурный обмен с нами тебе пошел на пользу. Ты значительно повысил свой идейно-политический уровень. Еще немного, и тебя будет трудно отличить от преподавателей Высшей Партийной школы при ЦК КПСС.

Занавес раздвигается. На сцене – Москва. Слева – бетонная стена с колючей проволокой. За стеной – вид Запада. Перед стеной – ракеты, нацеленные на Запад. В стене дверь, на которой написано: «Посторонним выход запрещен». Посредине сцены – главное здание КГБ («Лубянка»). Посредине здания – памятник Дзержинскому. Две двери (вход и выход). Справа сцены – вид Москвы (с силуэтом Кремля, конечно). Дома. Между ними – промежутки (улицы). Из них выходят люди самого различного вида, идут в здание КГБ, выходят из него и уходят в дверь в стене слева – на Запад. Перед стеной что-то строят. На закрытой покрывалом стройке – щит, на котором написано «Великая стройка коммунизма». Часть людей, выходящих из улиц слева, уходит внутрь стройки. Это перемещение людей происходит все время, не мешая, однако, основному действию. В дверь на Запад люди уходят с водкой, огромными банками икры, с иконами, с картинами, с рукописями, в подвенечной одежде, как спортсмены, как танцоры, как музыканты и т. д. Люди, уходящие внутрь стройки, несут с собой изображения пушек, ракет, танков. Иногда внутрь стройки уходят солдаты. Это передвижение должно совпадать с текстом действия и комментариями.

**СЧ:** Уважаемые зрители! Мы – в Москве. Перед вами – главное здание КГБ. КГБ руководит претворением в жизнь решений Первоапрельского Пленума ЦК КПСС. Неслыханный энтузиазм охватил все слои советского населения. Вот что сообщают советские средства массовой информации.

**ГОЛОС ДИКТОРА РАДИО (гремит):** Труженики села выступили инициаторами движения за выполнение пятилет-

него плана перевоспитания Запада в два года. Они решили увеличить поставки продовольствия с Запада в текущем году вдвое. Почин хлеборобов подхватили наши ученые и инженеры. Они обязались опередить Запад в деле внедрения новейшей западной технологии в нашу промышленность. И эта задача им по плечу. Тысячи наших замечательных девушек изъявили готовность выйти замуж за иностранцев, а тысячи юношей – жениться на иностранках. Наш корреспондент обратился с вопросами к ударнице коммунистического труда Маше Ивановой.

КОРР.: Маша, ты девушка?

МАША: А то кто же?! Не веришь – проверь.

КОРР.: И давно?

МАША: Что – давно?

КОРР.: Девушка.

МАША: Пятьдесят лет.

КОРР.: Пятьдесят?! Для наших девушек это – не предел.

Была ты замужем?

МАША: Еще нет.

КОРР.: Почему?

МАША: Не берут.

КОРР.: И ты согласна выйти замуж за иностранца?

МАША: А за кого угодно. Иностранцы – они тоже люди. Могу выйти замуж хоть за лорда. Хоть за принца. Даже за самого Регана выйти могу, хотя он и реакционер. Я его мигом обломаю! Да я его в Белый Дом не впущу, пока не уберет свои першинги из нашей Европы!

КОРР.: Молодец, Маша! С такими боевыми девчатами мы западному империализму в два счета шею свернем!

Маша уходит в КГБ. На площадь выходит человек. Вся физиономия его в страшных синяках.

ЗЧ: Поглядите, коллега! Кто этот несчастный? Где его так изуродовали?

СЧ: Это наш журналист Недобитов. В прошлом году он был похищен секретными службами Запада, но вскоре был возвращен за ненадобностью.

ЗЧ: Неужели его там изуродовали так?

СЧ: Ну нет! Мы такое обращение с собой не позволяем! Это он с женой поссорился.

ЗЧ: Из-за чего?

СЧ: Делили вещички, которые он привез с Запада.

ЗЧ: Кому досталось больше?

СЧ: У нас все поровну. Ему досталось больше тумачков, а ей – больше вещичек.

На сцену выбегает свирепого вида женщина, подбегает к Недобитову, сдирает с него замшевый пиджак и убегает.

**ГОЛОС ДИКТОРА:** Десятки наших журналистов дали согласие быть похищенными западными разведывательными службами. Наш корреспондент обратился к товарищу Недобитову, который в прошлом году был похищен западной контрразведкой и в этом году возвращен обратно за ненадобностью.

**КОРР.:** Товарищ Недобитов! Вы собираетесь на Запад с целью быть вновь похищенным. Скажите, в прошлый раз вам было тяжело?

**НЕДОБИТОВ:** Очень тяжело, главным образом – морально. Палачи из западных секретных служб все время угрожали сообщить в печати о том, что они меня не похищали, и требовали, чтобы я добровольно убирался в Москву! Представляете?! Добровольно возвращаться домой?! Что может быть ужаснее??

**КОРР.:** Я вас хорошо понимаю и сочувствую. Но вы мужественно выдержали все пытки!

**НЕДОБИТОВ:** Да! Я согласился быть обратно похищенным нашей разведкой лишь после того, как мне выплатили сто тысяч в порядке компенсации за досрочное возвращение в Москву.

**КОРР.:** На какой срок вы хотите быть похищенным на этот раз?

**НЕДОБИТОВ:** Я бы хотел насовсем, но западные секретные службы к этому не готовы. Пока есть договоренность на один год.

**КОРР.:** А что по этому поводу думает ваша нелюбимая жена?

**НЕДОБИТОВ:** Это не проблема. Она выходит замуж за Джеймса Бонда в порядке культурного обмена. К сожалению, временно. Но я Джеймсу не завидую.

**КОРР.:** Почему?

**НЕДОБИТОВ:** Моя жена и за один год обдерет его, как липку. Она ему руки и ноги переломает, зубы вышибет.

**КОРР.:** Так ему и надо! Он же враг!

**НЕДОБИТОВ:** Какой он враг?! Он добрый парень. Выпить не дурак. Нашу социалистическую систему не понимает. Так кто ее на Западе понимает?!

Недобитов уходит в здание КГБ. На площадь выходит плюгавый, лысый, хромой, одноглазый человечек. Корреспондент бежит к нему.

**СЧ:** Это – шпион века, знаменитый полковник КГБ Кляузов. Специалист по соращению западных миллионерш. Красавец мужчина!

**ЗЧ:** Да, хорош! Но женщины теперь таких любят.

**СЧ:** На это мы и рассчитываем.

**ГОЛОС ДИКТОРА РАДИО:** Наш корреспондент встретился со всемирно известным советским разведчиком полковником КГБ Кляузовым.

**КОРР.:** Товарищ полковник, вы только что вернулись с Запада, где вы выполняли ответственное задание по соблазнению западной миллионерши. Как вы откликнулись на решение Первоапрельского Пленума ЦК КПСС?

**КЛЯУЗОВ:** Я готов соблазнить еще десяток западных миллионерш и даже жениться на всех сразу, временно покинув свою горячо любимую жену и детей.

Кляузов уходит в здание КГБ.

**ГОЛОС ДИКТОРА РАДИО:** По инициативе ленинского комсомола началась великая стройка коммунизма на западной границе страны. Стройка имеет исключительно мирные цели.

В этот момент как раз должно происходить перемещение людей, о котором говорилось выше, внутрь стройки.

**СЧ:** Как видите, советское руководство встретило единодушную поддержку всего советского народа.

**ЗЧ:** Насчет всего народа, коллега, вы поторопились. Видите?

На площадь выбегают два растрепанных человека. В руках у них лозунг «Мы протестуем!». Из КГБ, в свою очередь, выбегают агенты хватают этих людей, волокут в здание. Потом из здания выносят изображения этих людей в растерзанном виде и бросают их через стену на Запад. Эта сцена повторяется два-три раза, пока идет следующий диалог ЗЧ и СЧ.

ЗЧ: Это была оппозиция советскому режиму. Видите, как тут с ней расправляются. Сравните это с той подлинной свободой, какую мы имеем на Западе. У нас все разрешено!

СЧ: А разрешено ли у вас запрещать то, что разрешено?

ЗЧ: Нет, конечно!

СЧ: Значит, у вас не все разрешено. Какая же это демократия?!

ЗЧ: Зато у вас все запрещено!

СЧ: И даже запрещать запрещено?

ЗЧ: Только это и разрешено!

СЧ: Значит, не все запрещено. Какой же это тоталитаризм?!

Сотрудники КГБ волокут справа скелет. Из здания КГБ выносят ручную помпу. Скелет кладут на землю, вставляют в зад шланг и начинают накачивать, причем в помпу суют хлеб, картошку, колбасу. Скелет постепенно раздувается, принимая очертания человека.

ЗЧ: Что это такое?!

СЧ: Это – тунеядец Иванов, который пять лет голодал в знак протеста. Его кормят насильственно.

ЗЧ: Чего он хочет?

СЧ: На Запад уехать.

ЗЧ: Ну и пусть едет!..

СЧ: Если всем разрешать, кто тут останется!? Гляди, ему колбасу суют! Вот мерзавец! У нас ударникам коммунистического труда колбасы не хватает, а тут тунеядцу колбасу насильственно в зад суют!

В этот момент колбасу вытаскивают обратно, показывают ее западным журналистам, которые собрались на месте происшествия. Журналисты щелкают фотоаппаратами.

СЧ: Все в порядке! Оказывается, эта колбаса – пропагандистская.

ЗЧ: Что это значит?

СЧ: Пропагандистские продукты питания выдаются трудящимся специально для показа иностранцам. Их потом трудящиеся сдают обратно.

ЗЧ: Как это возможно?!

СЧ: О, очень просто. Эта вот колбаса, например, совершенно не переваривается в желудке. Ее можно жевать сколько угодно, измельчить на мельчайшие кусочки. Но потом эти кусочки все равно сами соединяются вместе, и колбаса приобретает первоначальный вид. Над этим изобретением наша наука работала двадцать лет.

ЗЧ: Но какой в этом смысл?!

СЧ: Иностранцы довольны, поскольку воочию убеждаются в том, что советские люди имеют все в изобилии. Советские трудящиеся довольны, поскольку все-таки получают таким путем хорошее питание.

ЗЧ: Почему этого человека кормят насильно? Это же явное нарушение прав человека. Голодание есть неотъемлемое право человека.

СЧ: У нас наоборот. У нас сытость есть священный долг гражданина. У нас голодать запрещено законом. Даже в Конституции записано: каждый гражданин обязан потреблять полноценную пищу, по крайней мере, три раза в день.

ЗЧ: Но это же варварство!! Какой в этом смысл?!

СЧ: Огромный. Во-первых, у нас голодающих и без этого хватает. Во-вторых, если каждый будет голодать, то некуда будет девать излишки продовольствия.

ЗЧ: Их можно послать в голодающие страны третьего мира.

СЧ: А сами что будем есть?! А что будет с вашими фермерами?!

ЗЧ: Как это?!

СЧ: А то, что мы перестанем покупать у вас продовольствие, ваши фермеры разорятся и превратятся в беднейшее крестьянство. И тогда они установят диктатуру пролетариата. Где тогда мы будем добывать продукты питания? Логично?

ЗЧ: Логично. А если ваши граждане нарушают статью Конституции, которая их обязывает хорошо питаться?

СЧ: Их наказывают тем, что им сокращают нормы питания.

Раздутого («накормленного») человека и помпу уносят в здание КГБ.

СЧ: Этому тунеядцу повезло: хотя его накачивали пропагандистской колбасой, все-таки колбасой, а не чем-нибудь другим. Обычно у нас накачивают сочинениями классиков марксизма, постановлениями ЦК КПСС и речами вождей. А их не могут переварить даже наши тренированные советские желудки. Одному злостному голодальщику закачали весь «Капитал» Маркса. У него начался такой понос, что его вот уже десять лет не могут остановить все антикоммунисты Запада совместными усилиями.

ЗЧ: Что теперь сделают с этим насильственно накормленным человеком?

СЧ: Посадят в тюрьму лет на десять.

ЗЧ: За что?!

СЧ: За то, что даром съел пищу, предназначенную для трудящихся. Но, коллега, лучше, покажем нашим зрителям, что сейчас происходит в здании КГБ.

Часть стены здания КГБ поднимается, открыв полотно, на котором нарисован зал заседаний КГБ (с портретами руководителей, со статуей Ленина), в нем – высшие чины КГБ, в центре – сам глава КГБ. Они все одинаковые. Шеф КГБ лишь размером больше.

СЧ: Перед вами заседание высших чинов КГБ. Это вот – сам глава КГБ. В отличие от Генсека, он деловит и немногословен. Иногда он молчит годами. Остальные чины КГБ имен не имеют. Они засекречены так, что их даже собственные жены не узнают и постоянно путают с другими.

ЗЧ: Как же работает КГБ, если высший его руководитель молчит?

СЧ: А КГБ – не западный парламент. Тут достаточно моргнуть, усмехнуться или промолчать. Молчать ведь тоже можно по-разному.

ЗЧ: Как это интересно! Покажите!

СЧ: Вот, например, помощник шефа КГБ входит к нему в кабинет и докладывает, что Папа Римский слишком много по белу свету шатается, силы мировой реакции против коммунизма сколачивает. Как, мол, быть? Шеф КГБ молчит, глаз от бумаг не подымает. «Ясно, – говорит помощник, – будет исполнено!».

ЗЧ: Что «ясно»?! Мне ничего не ясно!

СЧ: Так ведь ты – не помощник шефа КГБ. Но тихо! Сейчас шеф КГБ что-то хочет сказать.

Шеф КГБ откашливается, издает нечленораздельные звуки. Потом говорит отрывисто.

ШЕФ КГБ: Кхе, кхе!.. Пленум... Первоапрельский... кхе, кхе... Решения... Мнения...

ГОЛОС 1: Надо увеличить темпы роста засылки наших людей на Запад. Когда их число достигнет пятидесяти процентов всего населения, западные люди сами побегут от них в Сибирь. Чтобы облегчить это переселение Запада на Восток, надо через всю Европу сделать специальный коридор с односторонним движением и неограниченной скоростью...

ГОЛОС 2: Для этого нужны средства и оборудование, которых у нас сейчас нет.

ГОЛОС 3: Запад нам поможет.

ГОЛОС 4: Этот коридор нужен не нам, а Западу. Пусть он сам его и строит. Наше дело – обеспечить идейное руководство.

ГОЛОС 5: Как переправлять западных людей в Сибирь – это не проблема. Тут у нас есть опыт. Проблема – как увеличить темпы роста наших людей на Западе. Старые методы уже не удовлетворяют наши возросшие потребности. Я думаю, что настало время построить прямой шпионопровод из Москвы на Запад. Причем его надо подвести ко всем интересующим нас объектам на Западе. Тогда можно будет помещать наших людей в особый аппарат здесь, на Лубянке, и путем простого нажатия кнопки в несколько секунд внедрять их в нужные точки Запада. Но на это опять-таки нам нужна помощь самого Запада.

ГОЛОС 6: Идея замечательная. Думаю, что нам удастся убедить правительства Запада, фирмы, банки и военные штабы в том, что это сооружение будет важным вкладом в дело мира и нашей безопасности на Западе.

ГОЛОС 7: Верно! А пока можно осуществлять заброску наших агентов через газопровод.

Аплодисменты. Смех, переходящий в гомерический хохот.

ГОЛОС 8: Зачем, товарищи, мелочиться. Наша агентурная сеть на Западе способна решать задачи масштабнее. Мы уже в состоянии выкрасть на Западе все их вооруженные силы, не разбрасываясь на отдельные секреты.

ГОЛОС 9: А что с ними делать? Их же кормить надо! А у нас от своих вооруженных сил проходу нету. Лучше наоборот поступить – переместить часть наших вооруженных сил на Запад в обмен на предметы потребления.

ГОЛОС 10: Присоединяюсь к мнению маршала Иванова. Я считаю, что главная наша задача – наладить поток с Запада в Советский Союз всякого рода приятных в бытовом отношении вещичек, а не военных секретов. На Западе много полезного делают, особенно – в области секса. А военных секретов у нас своих девать некуда...

СЧ: Это говорил заместитель шефа КГБ, личный друг самого Генсека. В нашей комедии он никакой роли не играет: его скоро снимут за искажение генеральной линии партии. И за чрезмерную коррупцию заодно.

Стена закрывается.

ЗЧ: Все-таки наши кремлинологи правы: коррупция охватила ваше общество снизу доверху.

СЧ: Ничего подобного. Ваши кремлинологи жестоко ошибаются. Коррупция охватила наше общество сверху донизу.

ЗЧ: Но в чем причина?

СЧ: Тлетворное влияние Запада.

ЗЧ: Если и дальше так пойдет, то...

СЧ: ...то материальное благосостояние наших трудящихся улучшится. Такая коррупция идет нам на пользу. Сейчас у нас на высшем уровне обсуждается идея создания особого Министерства Тлетворного Влияния Запада наряду с Министерством Внешней Торговли и Иностраннных Дел.

ЗЧ: А теперь, коллега, покажите нашим зрителям рабочие будни КГБ.

Поднимается другая часть стены. Открывается полотнище, на котором нарисован один из кабинетов КГБ. На стене – портреты вождей. Стол, за ним – офицер. В дальнейшем слышен лишь голос офицера. Посетители кабинета просто выходят справа и подходят к тому месту, где нарисован стол с офицером.

СЧ: Вот перед вами один из многих тысяч рабочих кабинетов КГБ, в которых ни на минуту не прерывается самоотверженный труд наших чекистов на благо Родины и мирового коммунизма.

ЗЧ: А что такое «чикисты»?

СЧ: «Чикистами» называли сотрудников КГБ в первые годы после революции. Их называли так потому, что тогда вместо слова «расстрелять» употребляли слово «чикнуть».

ЗЧ: Ах, как это романтично!

СЧ: Очень! Чик – и нету человека. Чик – и нет другого.

В кабинет входит (подходит к столу) пожилой мужчина, лысый, с брюшком.

ОФИЦЕР: Ты кто?

МУЖЧИНА: Иванов.

ОФИЦЕР: Какие западные языки знаешь?

МУЖЧИНА: Никакие. Я же не интеллеktуал. Я – честный спортсмен.

ОФИЦЕР: Какой вид спорта?

МУЖЧИНА: Любой. Я – всеборец. Но главный вид – бег. От долгов бегаю. От алиментов. От милиции.

ОФИЦЕР: Прекрасно! Включаем тебя в балетную труппу Большого Театра. Поедешь в турне на Запад. Изберешь свободу. Потом организуешь пацифистское движение за полное и одностороннее разоружение Запада. Заодно – вот списочек вещей. Пришлешь прямо на мой адрес. Список заучи наизусть. А то попадет в руки диссидентов – засмеют.

МУЖЧИНА: Они сами не дураки.

ОФИЦЕР: Им положено. Они – борцы за права человека. Заучил?

МУЖЧИНА: Заучил. Джинсы – тысяча штук. Компьютеры – сто штук. Кожаные куртки – тысяча штук. Противозачаточные пилюли – две тонны...

ОФИЦЕР: Отлично! Присваиваю тебе чин майора КГБ!

МУЖЧИНА: Служу Советскому Союзу!

Человек уходит в дверь на Запад. Входит толстая женщина средних лет.

ОФИЦЕР: Ты кто?

ЖЕНЩИНА: Иванова.

ОФИЦЕР: Языки западные знаешь?

ЖЕНЩИНА: Без надобности. Я не фарцовщица, не интеллектуалка и не западная шпионка. Я – честная переводчица.

ОФИЦЕР: С каких языков?

ЖЕНЩИНА: Со всех.

ОФИЦЕР: На какие?

ЖЕНЩИНА: На любые. Но в основном я перевожу доллары и фунты в рубли и обратно.

ОФИЦЕР: По какому курсу?

ЖЕНЩИНА: Как все: фунт рублей за один доллар.

ОФИЦЕР: Молодец! Включаю тебя в хоккейную команду. Поедешь на Запад на Олимпийские игры. Изберешь свободу. Создашь партию фиолетовых. Выставишь свою кандидатуру на пост премьер-министра. Выборную кампанию проведешь под лозунгом: «Цыплята тоже хотят жить!». Заодно вот тебе список вещей, которые пришлешь на мой адрес. Заучи наизусть. Заучила?

ЖЕНЩИНА: Так точно. Дамские трусики – тысяча штук. Бюстгальтеры – тысяча штук. Дубленки – две тысячи штук...

ОФИЦЕР: Молодец! Присваиваю тебе звание майора КГБ.

ЖЕНЩИНА: Служу Советскому Союзу!

Женщина уходит в дверь на Запад. Входит человек с очень большим задом. Это – ученый.

ОФИЦЕР: Ты кто?

УЧЕНЬИЙ: Иванов.

ОФИЦЕР: Западные языки знаешь?

УЧЕНЬИЙ: Нет надобности. Я же не фарцовщик, не интеллектуал и не западный шпион. Я – честный ученый.

ОФИЦЕР: Каких наук?

УЧЕНЬИЙ: Всех. Но главным образом – иностранных, самых современных и модных.

ОФИЦЕР: Ясно! Вот ты-то нам и нужен.

УЧЕНЬИЙ: Моя голова всегда к услугам Партии и Правительства.

ОФИЦЕР: Нам не голова твоя нужна, а место, ей противоположное.

Ученый натягивает сзади на голову изображение зада, обнажая сзади изображение лица.

УЧЕНЫЙ: Мой зад всегда к услугам Партии и Правительства.

ОФИЦЕР: Поедешь на Запад с особым заданием, как Полномочный Агент. Присваиваю тебе звание майора КГБ.

УЧЕНЫЙ: Но я уже полковник!

ОФИЦЕР: Тогда генерал-майора.

УЧЕНЫЙ: Служу Советскому Союзу!

Стена опускается и закрывает кабинет. Ученый идет налево, к двери на Запад. Там вокруг него постепенно собирается толпа. Пока это происходит, идет беседа СЧ и ЗЧ.

ЗЧ: Как я вижу, у вас плохо обстоит дело со знанием западных языков. Тут у вас слабое звено.

СЧ: Наоборот, сильное. В общении с Западом наши люди предпочитают язык жестов как самый однозначный и выразительный язык. Преимущества этого языка – его не надо изучать, и он сразу понятен всем. Вот, например, смотри!

СЧ делает рукой жест, изображающий знак доллара, и два раза сжимает и разжимает пальцы.

СЧ: Что я сказал?

ЗЧ: Ну, это ребенку ясно. Вы сказали, что меняете рубли на доллары, причем десять рублей на один доллар.

СЧ: Видишь?! А ведь тебя этому никто не учил. А теперь что я сказал?

СЧ крестится и затем чешет зад.

ЗЧ: Есть икона восемнадцатого века. Меняю на джинсы.

СЧ: Точно!

ЗЧ (указывая на толпу вокруг Ученого): Что это за толпа?

СЧ: Это – родственники и знакомые.

ЗЧ: Откуда они узнали, что Ученый едет на Запад?

СЧ: А вот, послушай!

Мимо проходят молодые люди, похожие на западных панки. У них – транзисторные приемники. Они включены на полную мощность.

**ГОЛОС ДИКТОРА РАДИО:** Советский журналист Фуи, известный на Западе своими связями с КГБ, а в Москве – своими связями с секретными службами Запада, сообщил западным журналистам в Москве, что «Кремль» намерен послать на Запад в качестве полномочного агента генерала КГБ Иванова по кличке «Ученый». Он привезет на Запад новую установку Кремля вместо устаревшей «Лучше красный, чем мертвый». Кроме того, он имеет сверхсекретное задание от самого Генсека. Генерал Иванов – самый крупный советский руководитель из всех, кто посетил Запад за последнюю неделю.

Ученому сует свою картину Художник.

**ХУДОЖНИК:** Передай в Лувр! Пусть повесят на самом видном месте. Если мест нет, пусть снимут всяких там Рафаэлей, Пикассов и Микельанжелов! Повисели, и хватит! Теперь наше время!

Художник убегает. Его преследуют сотрудники КГБ, хватают и волокут в КГБ. К Ученому подходит другой человек, тоже комичного вида. Он принес толстенную рукопись. Это – подпольный писатель.

**ПИСАТЕЛЬ (сует рукопись):** Передай эту рукопись во все западные издательства. Это – роман века. Тут я разоблачил все язвы коммунизма. Хватит там читать всяких Дантов, Хемингуэев и Шекспиров. Теперь наше время!

Писатель уходит. Его хватают сотрудники КГБ и волокут в здание КГБ. Толпа расходится. Ученый отдает рукопись, картину и кучу каких-то вещей и писем сотрудникам КГБ. Те уносят все в здание КГБ. С Ученым остались жена, сын и дочь. Жена – толстая, с гнусной мордой. Сын – длинный, заросший волосами, в джинсах, жует резинку. Дочь одета как западные панки.

**ЖЕНА:** Без дубленки, Иван, не возвращайся!

**СЫН:** Мне привезешь старые американские джинсы. Десять штук.

**УЧЕНЫЙ:** Почему старые?

**СЫН:** Какой же ты отсталый, старик! Новые джинсы стоят полсотни, а старые – двести рублей! Теперь дырки на джинсах стоят дороже, чем сами джинсы.

УЧЕНЫЙ: А зачем так много?

СЫН: Начальнику лаборатории, секретарю партбюро, председателю месткома и заведующему сектором. Остальные – на продажу.

ДОЧЬ: Мне – десять килограмм противозачаточных пилюль и двадцать килограмм сексуальных стимуляторов.

УЧЕНЫЙ: Зачем же так много??!

ДОЧЬ: А знаешь, сколько у нас в классе девочек и сколько учительниц?

Ученый записал заказы в записную книжку и ушел в дверь на Запад. На площадь выбегает Интеллектуал с рукописью. Подбегает к ЗЧ и сует ему рукопись. Из КГБ выбегают сотрудники КГБ, хватают обоих и волокут в КГБ.

ЗЧ (кричит): Отпустите, я больше не буду! Я пацифист! Я левый! Я розовый! Я зеленый! Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего человечества!..

СЧ: Уважаемые зрители! Не беспокойтесь за моего коллегу. Только что стало известно, что в одной западной стране задержали сотню наших агентов в тот момент, когда они разбирали на части подводную лодку с целью отправки в Москву. Моего коллегу по этому спектаклю сейчас обменяют на советских агентов. И на подводную лодку впридачу, конечно.

Занавес закрывается. Слева выходит толпа советских агентов, пойманных с поличными на Западе. Все они маленькие, одинаковые. Все с чемоданами. За веревочку везут макет подводной лодки. Их сопровождают два западных солдата. Они худые, высокие, жуют резинку, без оружия. Справа выходит ЗЧ. Он в наручниках. За ним – офицеры КГБ и солдаты с автоматами. Советские агенты переходят направо. Советский офицер их считает. Подводную лодку тоже увозят направо. Западные солдаты уходят, не дожидаясь ЗЧ. Затем с ЗЧ снимают наручники, сдирают джинсы и куртку, вытаскивают изо рта жевательную резинку и выталкивают налево. Он кувыркается, встает, отряхивается. У него под глазом чернеет синяк.

ЗЧ: На сей раз со мной обошлись очень гуманно. Все-таки мирное сосуществование приносит свои плоды.

ЗЧ уходит налево, хромя на обе ноги.

## Действие четвертое

### ЗАМЫСЛЫ КРЕМЛЯ

Занавес открывается. На сцене – Запад. Как во втором действии. Только теперь за стеной справа высится сооружение, скрытое покрытием. На нем щит с надписью «Великая стройка коммунизма». Босс и Директор сидят в своих учреждениях и читают газеты. Слева выходит ЗЧ, справа – СЧ.

СЧ: Привет, коллега! Где это тебя так разукрасили?

ЗЧ: Участвовал в пацифистской демонстрации. Стички с полицией...

СЧ: Каков результат?

ЗЧ: Как говорят русские, результат на лице. А скажите, коллега, что это за грандиозная стройка у вас вблизи нашей границы? У нас на Западе очень опасаются, что эта стройка на самом деле имеет мирные, а не военные цели.

СЧ: Ваши опасения не обоснованы. Но тихо, коллега. Господин Директор что-то хочет сказать.

ДИРЕКТОР: Эй, Иван! Наши газеты сообщают, что состоялся Первоапрельский Пленум ЦК КПСС.

БОСС: Наши тоже.

ДИРЕКТОР: Пленум принял решение сменить старую установку «Кремля» в отношении Запада на новую. Пока неизвестно только, на какую именно.

БОСС: А ты выгляни в окно!

Директор смотрит на улицу. Там советские агенты отбирают лозунг «Лучше красный, чем мертвый» у группы людей, стоящей у восточной стены, и уносят в дверь на Восток. Оттуда выносят новый лозунг «Лучше слабый капитализм, чем сильный коммунизм» и водружают его на место старого.

ДИРЕКТОР (*кричит*): Кто велел сменить установку Кремля?!

АГЕНТЫ (*уходя на Восток*): Это – инициатива масс снизу!

ДИРЕКТОР: Каких это масс?!

АГЕНТЫ: Масс советских агентов!

Агенты исчезают в дверь на Восток. Директор уныло смотрит газету.

БОСС: Эй, Джон! В наших газетах сообщают, что прославленный западный шпион Джеймс Бонд схвачен за руку на месте преступления.

ДИРЕКТОР (уныло): Какого преступления?

БОСС: Чужого, конечно. Если бы своего, то у нас в газетах написали бы, что он пойман с поличными.

ДИРЕКТОР: Какая разница?

БОСС: Существенная. Если схвачен за руку, то продержат несколько дней и выбросят на Запад. За услугу, конечно. Если пойман с поличными, то продержат несколько месяцев и обменяют на наших агентов. А вот если в газетах сообщат, что разоблачен как матерый шпион, то дело плохо. Понял?

ДИРЕКТОР: Понял. Значит...

БОСС: ...значит, Бонд скоро прибудет из Москвы обратно и займет твой пост.

ДИРЕКТОР: Эй, Иван! Погоди смеяться! В наших газетах сообщают, что из Москвы на Запад отбывает Полномочный Агент генерал КГБ Иванов по кличке «Ученый» с особо важным заданием. О чем это говорит? Снимают тебя, Иван! Этот Полномочный Агент на твое место едет!

Из двери с Востока выходит заурядного вида молодой человек. Он вынимает из кармана бутылку водки, пьет из горлышка и бросает пустую бутылку через стену на Восток. Там переполох. Шум моторов. Команды: «Боевая тревога!», «Ракеты к бою!», «Танки к бою!», «Водородные бомбы к бою!», «Бактерии к бою!», «Пропаганду к бою!», «Газы к бою!». На Западе поднимаются вверх гигантские руки. На Востоке раздается команда: «Отставить! Ложная тревога!».

ЗЧ: Кто этот человек, из-за неосторожности которого чуть было не началась третья мировая война?

СЧ: Это – комсомолец Иванов, по кличке «Иван», один из тех тысяч, которые прибыли на Запад в ответ на призыв Первоапрельского Пленума ЦК усилить работу по воспитанию Запада в прокоммунистическом духе.

ЗЧ: Почему только в прокоммунистическом, а не в коммунистическом?

СЧ: Если человек воспитан в коммунистическом духе, то он первым делом начинает пьянствовать, халтурить и над своим коммунизмом издеваться. А если человек воспитан в прокоммунистическом духе, то он к коммунизму относится серьезно, без юмора.

ЗЧ: Значит, для вас лучше, если на Западе будет не коммунизм, а прокоммунизм?

СЧ: Ты, коллега, генеральную линию Кремля на данном этапе понял точно. Можно подумать, что ты в Москве окончил Университет марксизма-ленинизма или даже Высшую Партийную школу при ЦК КПСС.

ЗЧ: Я занимался самообразованием.

СЧ: Молодец! Как говорят у нас в России – ученье свет, а неученых – тьма. Но не будем, коллега, мешать развитию событий. У меня к тебе есть деловое предложение. Ты мне поможешь достать кое-какие вещички, а я в порядке культурного обмена выдам тебе самую сокровенную тайну Кремля. Идет?

ЗЧ (*возбужденно*): По рукам! А действие?

СЧ: А действие и без нас пойдет. Запад уже научился вести себя так, как нам нужно, и без указки Кремля.

ЗЧ и СЧ идут по направлению к банку.

СЧ: Почему у вас так спокойно относятся к ограблению банков?

ЗЧ: Потому что деньги все равно застрахованы. Если украдут миллион, то банк по страховке получит два. Так что банки иногда сами себя грабят. Это выгодно всем. Ускоряется оборот капитала.

СЧ: Да, капитализм тоже имеет положительные стороны.

ЗЧ: А у вас – грабят банки у вас?

СЧ: При коммунизме деньги постепенно отмирают, так что даже грабить нечего.

ЗЧ и СЧ уходят через дверь в банке за сцену. Вновь прибывший агент по кличке «Иван» подошел к Ваньке.

ИВАН: Привет, земляк.

ВАНЬКА: Привет, если не шутишь.

ИВАН: Где тут общежитие для советских агентов?

ВАНЬКА: Пойдем, провожу.

Иван и Ванька идут в отель. Их встречает Хозяйка.

ВАНЬКА: Вот, хозяйюшка, новый постоялец. Тоже Иван. Тоже агент. В каком ты чине? Майор? Для начала неплохо. Через месяц произведем тебя в полковники. Здесь не то что в Москве. Здесь свобода. Какой хочешь чин себе присвоить можешь. А это – хозяйка этого заведения. Видишь, какая красотка? Пятьдесят лет назад была первой красавицей Европы – «мисс Европа», как тут говорят. Но и сейчас еще ничего. Спяну сойдет. Между прочим – хозяйка в полном смысле слова. Здесь ведь частная собственность есть. Хозяйка – эксплуататор. А это – *(подходит Уборщица)* – местный пролетариат. В Москве было бы наоборот: эта уборщица была бы директором, а эта хозяйка – уборщицей. Причем, одна была бы плохим директором, а другая – плохой уборщицей. Здесь же они обе на своих местах.

ХОЗЯЙКА: Добро пожаловать, господин агент, в наш свободный мир. Как там у вас за «железным занавесом»?

ИВАН: Все так же. Репрессии. Очереди. Дефицит. Народ не верит в марксизм и тянется к православию. Как только представится возможность, народ сбросит тоталитарный режим и установит монархию.

ХОЗЯЙКА: Газеты пишут, что у вас там нет свободы слова.

ИВАН: Верно! Стоит выразиться матом, как на пятнадцать суток за хулиганство сажают.

ХОЗЯЙКА: Газеты пишут, что Советский Союз скоро рухнет из-за национальных конфликтов. Мусульманское население растет. Ислам вытесняет марксизм.

ИВАН: Да. Мечети строят вместо жилых домов и военных заводов. Половина партийных работников стали муллами.

ХОЗЯЙКА: А как, господин Иван, у вас в Москве насчет секса?

ИВАН: Есть серьезные сдвиги. Создан институт сексологии, который разрабатывает методы секса в трудных условиях.

ХОЗЯЙКА: Ах, как интересно! В каких?

ИВАН: Например, в шестидесятиградусный мороз за Полярным Кругом, причем – на улице. Или по взаимной переписке. Последняя форма популярна среди наших солдат, проходящих службу на Чукотке и на Сахалине. В последние годы советские сексологи разработали новые методы секса в за-

минированном поле при полном отсутствии женщин. Рекомендуются нашим солдатам в Афганистане.

ХОЗЯЙКА: Вы непременно покажете мне кое-что!

ВАНЬКА: Покажет как-нибудь потом. А сейчас человеку с дороги надо отдохнуть.

Хозяйка уходит за сцену и появляется в Институте Кремлинологии. Ванька идет в кафе. Уборщица лезет под одеяло и тянет туда Ивана.

ИВАН: А это еще зачем?

УБОРЩИЦА: Здесь на Западе, товарищ Иванов, ни одна книга, ни один фильм, ни один спектакль не обходится без постельных сцен. Привыкай! Здесь на Западе секс на первом месте, а решения нашей Партии и нашего Правительства – на втором. Здесь все главные события происходят в постели, а не на великих стройках коммунизма.

ИВАН: Ясно.

Иван лезет под одеяло. Действие продолжается в Институте Кремлинологии.

ДИРЕКТОР: Что за птица?

ХОЗЯЙКА: Полковник. Прямо из Кремля.

ДИРЕКТОР: Они там все полковники КГБ, это у них в крови. С каким заданием прибыл?

ХОЗЯЙКА: Он сам еще не знает. Похоже на то, что будет правительство свергать.

ДИРЕКТОР: Опоздал! Оно уже ушло в отставку.

ХОЗЯЙКА: Значит, новое, которое еще не назначено.

ДИРЕКТОР: Зачем?

ХОЗЯЙКА: Для порядку.

ДИРЕКТОР: Пойдем, послушаем, о чем они там в постели совещаются.

Хозяйка и Директор идут в отель. Директор прикладывает ухо к одеялу.

ДИРЕКТОР: Шепчутся, а о чем – не поймешь. Надо бы под одеяло к ним залезть. Но без решения конгресса залезать под одеяло к советским шпионам нельзя. Не демократично.

Из-под одеяла слышно следующее.

ИВАН: А я сразу догадался, что ты наша.

УБОРЩИЦА: Как? По глазам? По акценту?

ИВАН: Нет, по фигуре.

Иван и Уборщица вылезают из-под одеяла. Директор уходит за сцену. Хозяйка тоже уходит за сцену. Иван и Уборщица включают телевизор.

ГОЛОС: Уважаемые зрители! Начинаем передачу на тему «Секс в условиях невесомости в открытом космическом пространстве»...

ИВАН: Хватит секса! Переключи на другую программу.

Уборщица переключает программу. Из телевизора слышно следующее.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Что такой печальный, Джон?

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Старуху миллионершу убил.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Ну и что? Это же хороший бизнес.

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Рубашку кровью запачкал.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Это же пустяк. Снимай скорей.

Слышится шум стиральной машины.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Вот, гляди! Теперь никакая криминалистическая экспертиза не обнаружила бы никаких следов крови!

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Потрясающе, дорогая! Как это тебе удалось?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Благодаря стиральному порошку «Шерлок Холмс». Покупайте только стиральный порошок «Шерлок Холмс»!

ИВАН: Что это такое?!

УБОРЩИЦА: Реклама. Здесь без рекламы не проживешь. Здесь все покупают по рекламе.

ИВАН: А почему без рекламы нельзя?

УБОРЩИЦА: Потому что без рекламы неизвестно, что именно тебе нужно.

ИВАН: Выключи. Пойдем лучше куда-нибудь, где выпить можно. Надо же отметить мое прибытие!

Иван и Уборщица идут в кафе, где уже сидит Ванька. Садятся за столик. Подходит официант. Иван заказывает. Официант приносит водку и закуску. Пьют, чокаются.

ВАНЬКА: Расскажи, друг, как там у нас, в Москве?

ИВАН: Всё так же, только еще хуже. Укрепляют трудовую дисциплину, борются с пьянством и взятками.

ВАНЬКА: И каковы успехи?

ИВАН: Огромные. Дисциплина совсем пропала. Пьют теперь даже грудные младенцы и покойники. А без взятки даже со своей женой переспать невозможно. А как тут у вас, на Западе?

ВАНЬКА: Всё так же, только еще хуже. Положение для нашего брата – рядового агента тут не такое завидное, как думают в Москве. Тут всё есть, если есть деньги. А где их взять? Сначала я решил банк ограбить. Достал пистолет, надел на голову колготки. И в банк. – Гони, – говорю, – монету. – И что ты думаешь? Никакого эффекта. Смеются. Говорят, грабителей у них своих хватает. Ни гроша не дали.

ИВАН: Вот сволочи!

ВАНЬКА: Потом я решил жениться на миллионерше. И представь себе, нашел. Пожили с неделю – развод. Адвокат. Суд. Короче говоря, обобрали меня, как липку. Даже на автобус медяков не осталось.

ИВАН: Плохо дело!

ВАНЬКА: Плохо. А все отчего? Слишком много нас сюда запустили. Раньше, когда нас мало было, нас ценили. А теперь тут шпионская инфляция.

ИВАН: Гляди!

Из двери справа выходит целый взвод агентов и строем идет прямо в отель. Командует Старший Агент («Четче шаг!», «Выше голову!», «Иванов, не отставай!», «Раз, два! Раз, два!левой!левой!» и т. д.). Агенты лихо поют строевую шпионскую песню.

Мы, советские шпионы,  
Всюду влезем и пройдем,  
Одолеем все препоны,  
Все секреты украдем.

Припев: Выстрел в спину,  
В рюмку яд,  
Завербуем всех подряд!  
Раз-два, левой!  
Раз-два, правой!  
Веселей шагай отряд!

Не хмыри-интеллигенты,  
Не политики-дубы,  
Мы, всесущие агенты,  
Мир подыдем на дыбы.

Припев: Выстрел в спину,  
В рюмку яд,  
Завербуем всех подряд!  
Раз-два, левой!  
Раз-два, правой!  
Веселей шагай отряд!

Агенты залезают под одеяло в отеле. К Боссу и Директору одновременно вбегают их подчиненные агенты.

АГЕНТЫ (в один голос): Он прибыл!!

ДИРЕКТОР, БОСС: Кто?

АГЕНТЫ (вместе): Полномочный Агент генерал КГБ Иванов по кличке «Ученый».

Директор и Босс вскакивают.

ДИРЕКТОР, БОСС (вместе): Сообщить об этом всем президентам, королям, министрам, генералам, журналистам, правым, левым, розовым, зеленым и всем прочим!

АГЕНТЫ (хором): Уже сообщено!

Директор и Босс уходят из своих институтов и появляются из двери в банке. Из двери справа выходит Ученый. У него на месте головы – зад, а лицо – на заду. Из кафе выходят Иван, Ванька и Уборщица. Из отеля появляется Хозяйка.

УБОРЩИЦА: Он уже здесь! Наверняка капитализм будет свергать! Давно пора!

ХОЗЯЙКА: Не позволю!

УБОРЩИЦА: А тебя и не спросят. Меня директором назначат. А ты... Ты будешь уборщицей. Ха-ха-ха!

ВАНЬКА: Ну, теперь порядок будет! Теперь безработица среди агентов пойдет на спад!

ИВАН: А если нас как тунеядцев отсюда в Сибирь?!

На сцену выбегает толпа журналистов, политиков, генералов, королей, принцев, бизнесменов и т. п. Директор и Босс подбегают к Ученому.

БОСС: Разрешите доложить: начальник советской агентуры на Западе генерал Иванов!

ДИРЕКТОР: Позвольте представиться: начальник контрразведки Запада генерал Джонс!

Ученый жмет им руки.

ДИРЕКТОР: Дамы и господа! Начинаем пресс-конференцию Полномочного Агента генерала КГБ Иванова по кличке «Ученый». Прошу задавать вопросы.

ВОПРОС: Не собирается ли Кремль отменять сейчас капитализм на Западе и вводить коммунизм?

УЧЕНЫЙ: Ликвидация капитализма на Западе временно откладывается по двум причинам. Первая причина – трудности с продовольствием и тонкой технологией в Советском Союзе. Запад сначала должен помочь нам догнать и перегнать Запад в этом отношении, а уж потом Запад может попросить нас помочь ему влиться в братскую семью социалистических стран. Вторая причина – у нас еще не построены для вас концентрационные лагеря в Сибири. Старые пришли в негодность, а на новые пока средств нет. Вот получим от вас новый безвозвратный заем, тогда и займемся подготовкой к установлению диктатуры пролетариата в вашей стране.

ВОПРОС: Кому Кремль поручит отмену капитализма и установление коммунизма на Западе? Очевидно, еврокоммунистам, не так ли?

УЧЕНЫЙ: Ни в коем случае! Это мы сделаем сами. А еврокоммунистов мы ликвидируем в первую очередь, чтобы не мешали нам строить настоящий коммунизм у вас на Западе.

ВОПРОС: Кого Кремль ликвидирует во вторую очередь?

УЧЕНЫЙ: Всех остальных.

(Оживление в аудитории.)

**ВОПРОС:** Какие санкции Кремль намерен предпринять в отношении Запада в ответ на недовыполнение Западом плана поставок продовольствия и технологии в Советский Союз?

**УЧЕНЫЙ:** Глядите сами!

Ученый указывает на сооружение за стеной справа. Там с сооружения спадает покрывало и обнажается огромная рука с грозящим пальцем. Толпа замирает. Все молча расходится. Директор и Босс ведут Ученого в кафе. Усаживаются за стол. К ним подбегает официант.

**ОФИЦИАНТ:** Чего изволите, господин Полномочный Агент?

**УЧЕНЫЙ:** Что-либо типично западное.

**ОФИЦИАНТ:** Рекомендую на аперитив коктейль «Гулаг», на закуску – салат «Мирное сосуществование» или «Детант», как основное блюдо – антрекот «Лубянка». И, конечно, водочка. Рекомендую «Номенклатурную».

Пока Директор, Босс и Ученый едят и пьют, те люди, которые присутствовали на пресс-конференции, несут с Запада в дверь направо изображения коров, кур, овец, овощей, фруктов, одежды, машин, предметов быта. Из банка выходят СЧ и ЗЧ. Из кровати в отеле вылезают советские агенты. Они строятся на площади. К ним подходят СЧ и ЗЧ.

**СЧ:** Товарищи! Партия и Правительство поручили нам задание эпохального значения. Этот представитель из западной контрразведки (*кивает на ЗЧ*) поможет вам достать объекты, представляющие стратегическое значение для нашей страны. Выполняйте приказ!

Старший Агент подает команды. Агенты строем уходят налево. Они поют шпионскую песню. ЗЧ идет впереди. На сцене продолжают поставки продовольствия и технологии с Запада в Советский Союз.

**СЧ:** Уважаемые зрители! Вы видите, как усердно Запад выполняет постановление Первоапрельского Пленума ЦК КПСС. А вот и самый ответственный момент наступает.

Появляются агенты с ящиками, на которых написано «Компьютеры». Из кафе выходит Ученый и сует зад, который на месте головы, в ящики. Когда Ученый говорит: «Подходит!» – ящик уносят направо. А когда он говорит: «Мал!» – ящик уносят налево. Наконец, сцена очищена от ящиков. Агенты строятся и с песней уходят в дверь направо. Слева выходит ЗЧ с двумя гигантскими чемоданами, из которых торчат всякие вещички – джинсы, куртки, бюстгалтеры, трусики. ЗЧ передает чемоданы Ученому. Тот молча волочит их направо и скрывается в дверь в стене. Из кафе выходят Директор и Босс, идут в свои институты, садятся за свои столы и разворачивают газеты. В отеле из-под одеяла вылезают Хозяйка, Ванька и Иван. Бредет Уборщица, перешагивает через труп инкассатора. Из двери справа выбрасывают Джеймса Бонда. Занавес закрывается.

ЗЧ: Итак, коллега, я свое обещание сдержал. Кремль получил то, к чему он так страстно стремился. Очередь за вами. Открывайте самую важную тайну Кремля!

СЧ: Для этого нам надо отправиться в Кремль.

ЗЧ: А меня там не задержат опять, как в прошлый раз?

СЧ: Слушай, коллега! Пора наконец-то понять наши порядки. Задержали тебя в первый раз. Во второй раз тебя схватили за руку. В третий раз тебя поймали с поличными. Теперь же тебя разоблачат как матерого шпиона.

ЗЧ: Как же быть? Я не хочу больше сидеть в застенках КГБ!

СЧ: Ничего не поделаешь! Кто-то должен там сидеть! Итак, в Кремль! Туда, где бьется пульс мировой истории!!

## ЭПИЛОГ

Занавес открывается. Декорации, как в первом действии. «Аппаратчики» вносят изображения руководителей и вешают их на крючки. Вносят Генсека, но тот разваливается. Куски собирают в мешок. Из мешка торчит лишь голова Генсека. Мешок тоже вешают на крючок. Помощники Генсека разворачивают перед Генсеком его речь.

ГЕНСЕК: Да-ра-хы-е та-ва-ры-щы, слово для доклада об итогах выполнения решений Первоапрельского Пленума ЦК КПСС предоставляется... Кому?.. Что-то я тут не разберу, кому...

ГОЛОС ИДЕОЛОГА: Мне! Конечно, мне!..

СЧ: Это – Идеолог.

**ГОЛОС ВОЕННОГО МИНИСТРА:** Почему это тебе?!  
Мне!!...

**СЧ:** Это – Военный министр.

**ГОЛОС ШЕФА КГБ:** Слово для доклада беру я!

**СЧ:** Это – шеф КГБ. Ну, а он шутить не любит. Если уж он слово взял сам, то не отдаст никому!

**ГОЛОС ШЕФА КГБ:** Товарищи! Органы государственной безопасности с честью выполнили поручение ЦК КПСС возглавить всенародное движение по претворению в жизнь решений Первоапрельского Пленума о преодолении недостатков в работе Запада. Результаты нашей работы налицо!

«Аппаратчики» выносят на сцену ящики, на которых написано «Компьютеры», вынимают из них унитазы и расставляют на переднем плане. Ящики уносят со сцены.

**ГОЛОС ШЕФА КГБ:** Наши разведчики совместно с трудящимися Запада исправили недостатки в работе Запада и завершили выполнение этой эпохальной задачи доставкой сюда чуда современной науки и техники – самоуправляющихся унитазов. Эти унитазы автоматически лечат все болезни верхней и нижней части тела, начиная от геморроя и кончая старческим слабоумием. Эти унитазы нейтрализуют вредные атомные осадки. На них можно летать в космос. Из них можно стрелять по любой точке планеты с абсолютной точностью. Они сами сочиняют речи для высших руководителей и сами произносят их без грамматических ошибок. А главное – с такими унитазами можно спокойно сидеть на заседаниях и стоять на парадах без всякого риска потерять свой пост в руководстве.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Возгласы: «Наконец-то!», «Слава КГБ!»

**ГОЛОС ШЕФА КГБ:** Мы же со своей стороны обязались снабдить Запад природным вонючим газом. И мы свой долг выполним!!

Аплодисменты, переходящие в гомерический хохот. На сцену вбегают «аппаратчики», снимают с крючков руководителей и Генсека и запихивают их в унитазы. Из унитазов торчат лишь их головы. Занавес закрывается.

ЗЧ: А где же обещанная тайна Кремля, коллега?!

СЧ: Самая важная тайна Кремля – в Кремле вообще нет никаких тайн. Пора прощаться, коллега. Комедия окончена.

ЗЧ: Надеюсь, мы расстанемся по-дружески...

СЧ: ...но в соответствии с принципами мирного сосуществования.

СЧ кидается на ЗЧ, снимает с него куртку, джинсы, обувь, часы. ЗЧ не сопротивляется. Остается полуголый. СЧ, потрясая одеждой ЗЧ, идет направо. СЧ и ЗЧ покидают сцену. На сцену перед занавесом с левой стороны выдвигаются ракетные установки, на которых вместо ракет – изображения овощей, домашних животных и вещей, а с правой – унитазы, с торчащими из них ракетами и задами руководителей. Они упираются друг в друга в середине сцены.

К о н е ц

Мюнхен, ноябрь 1984

### «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue, New York, N. Y. 10018

**С 1 октября 1985 г. – ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА**  
**в любую часть света (кроме Канады) обычной почтой:**  
(газеты за неделю высылаются бандеролью)

	1 год	6 мес.
Ежедневные и воскресные издания:	\$ 160.00	\$ 85.00
Воскресные издания только:	\$ 65.00	\$ 40.00

В страны Европы и Латинской Америки *воздушной почтой:*

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 325.00	\$ 175.00
Воскресные издания только:	\$ 125.00	\$ 70.00

В страны Азии, Африки и Австралии *воздушной почтой:*

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 350.00	\$ 200.00
Воскресные издания только:	\$ 145.00	\$ 85.00

Подписываясь на газету, будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа в американских долларах.

При продлении подписки обязательно прикрепите компьютерную наклейку с Вашим адресом.

## НОВЫЕ СТИХИ

\* \*  
\*

Будто в небо с поворота –  
Звон, Масличная гора.  
Вот и скрипнули ворота,  
Вот и сгнула жара.

Робко мы по саду ходим,  
С куполов не сводим глаз,  
Речь о будущем заводим  
В колокольный ранний час.

Под оливами седыми,  
В их взволнованной тени,  
Ключевыми, молодыми  
Стали завтрашние дни.

Горькой сладостью сосновой  
Надышаться я хочу.  
Так ликующе, так ново,  
Так доверчиво молчу!

Мы, под старость молодея,  
Не разнимем чутких рук.  
Льется в сердце, не скудея,  
Колокольный чудный звук.

Хоть полчасика побуду  
Здесь, на празднике, с тобой.  
Может, правда – вера в чудо  
Правит мыслью и судьбой?

\*            \*  
                 \*

В непонятном смятенье природа.  
Воздух, травы, деревья больны  
Роковым переломом погоды,  
Грозovým приближеньем весны.

И трепещут, и ропщут оливы.  
Но недаром ты света просил:  
Мрачен день накануне прилива  
Молодых воскресающих сил.

Так довольствуйся данным пространством  
Для пожизненной мудрой игры –  
Расточая с былым постоянством  
Одинокого детства дары.

\*            \*  
                 \*

И вот он умолкает, шум дневной.  
И звездный свет целительно и зряче  
Прильнул прохладой, горечью степной  
К щеке, шершавой и горячей.

Овечьи шкуры, сумрачный шатер...  
Все странствия, все вехи перечисли,  
Но как охватишь запертый простор  
Свободной, одинокой мысли?

В дали вечерней блеяли стада,  
Темнела каменистая дорога.  
Один во всей вселенной, навсегда,  
Совсем один он слушал Бога.

\*            \*  
                 \*  
                 \*            \*

Слёзы детские глотая,  
Я слабею неспроста:  
Подступает налитая  
Поздней жизни полнота.

Осень в голову ударит  
Золотым своим вином  
И усталую одарит  
Благодатным крепким сном.

\*            \*  
                 \*  
                 \*            \*

Жизнь прожить достойно и спокойно, —  
Господи, о чем еще просить?  
Даже полдень, этот полдень знойный  
С каждым летом легче выносить.

Отгорают дальние березы,  
Тронутые инеем костры.  
Памяти торжественною прозой  
Сыты мы и пьяны до поры.

\*            \*  
                 \*  
                 \*            \*

Вбираю, как в начале лета,  
Легчайший холод, тонкий зной.  
Почти свободны все предметы  
От лишней тяжести земной.

Душа моя, доверься слуху,  
Остатка сил не береги,  
Меня – девчонку и старуху –  
Вечерним светом обожги.

\*            \*  
                 \*

Уж такая уродина  
Родилась я на свет.  
Вкус мой – кислой смородины,  
Цвет мой – зелени цвет.

Я тащу себя волоком  
Мимо памятных дат.  
Мне слышнее, чем колокол,  
Сердца быстрый набат.

Вёсны, осени дружные,  
Снежных зим белизна...  
Здравствуй, нежность ненужная,  
Красный день из окна!

\*            \*  
                 \*

Пусть над крышею над случайной  
Лист березовый прошумит  
В горьком ветре глухой окраины,  
От которого грудь щемит.

И без устали, к непогоде,  
Без конца тоскует струна, –  
Звук пронзительный, лишний, вроде...  
Жизнь последняя?.. Тишина?

\* \*  
\*

О как мы нехотя стареем!  
Пусть всё прошло, пусть всё давно, —  
В нас колобродит, память грея,  
Души морозное вино.

Отстаиваясь понемногу,  
Седеет зимушка моя.  
Девчонку, душу-недотрогу,  
Из снега вылепила я.

Глядит Снегуркой ясноглазой:  
Мол, крепок снег, мол, долог век,  
И не подумает ни разу  
О том, как скоро стает снег.

Снегурка, память, недотрога,  
Мне горько сны твои будить.  
Поплачь со мной, поплачь немного,  
Чтоб и меня замолодить!

## ДВЕ ПЕСНИ

### 1

Вдоволь русского простора,  
Одиночества и чая,  
И свистит об эту пору  
Скука севера, крепчая.

Что же делать, дело к свадьбе.  
Клёны в окнах пламенеют.  
Надо милую обнять бы,  
Только руки коченеют.

Дело к ночи и к морозу.  
Платье белое снимаю.  
Волю, белую березу,  
Люли, люли, заламаю.

2

Мне б узорами цветными  
Платье белое расшить,  
Мне бы тропками лесными  
В тёмный час к тебе спешить.

Я платок на косы брошу,  
Молча выйду на крыльцо.  
Глянь-ка, ласковый, хороший,  
В позабытое лицо!

Я еще не износила  
Взоров солнечных своих,  
Я еще не погасила  
Платьев, легких, молодых.

Что ж ты, память, мне подносишь  
Чашу пьяного питья?  
Жизнь моя, чего ты просишь,  
Безутешная моя?

Меж ресницами трепещет  
Свет невыплаканных слёз,  
И под гребнем тускло блещет  
Серебро кручёных кос.

\*            \*

\*

Только чутко память встрепенётся,  
Взгляд блеснет из-под руки,  
Дрогнут шторы, зимний свет прольётся  
На вчерашние листки.

Только шёпот, быстрый и тревожный,  
На мгновенье обожжёт.  
День прошедший, день пустопорожний  
Память свято сбережет.

Если б можно... знаешь, в самом деле,  
Чутьочку навеселе  
Вместе слушать долгий свист метели  
В огороженном тепле.

Мы для воли, сумрачной, бездонной,  
Слишком поздно родились.  
Помолись пред солнечной иконой,  
О продрогших помолись!

Пусть же слово просится всё чаще,  
Рвётся грусть за рубежи.  
Что прочней, что горестней, что слаще  
Нашей общности, скажи?

Зимним ветром дует ностальгия,  
Наметая немоту.  
Оглянись-ка: там теперь другие,  
На завьюженном мосту.

Как там, в старой песне? Перемелит,  
Перемелится... Дождём,  
Буйным ветром, снегом камень белит,  
Травка вырастет на нём.

Дальний голос, отзвук колокольный,  
Оклик, отсвет голубой.  
Хрустко, ярко, утренне, привольно  
В чистом поле за тобой.

Сны во что-то белое рядятся,  
Долго снятся поутру,  
И твои березы не боятся  
Раскачаться на ветру.

\* \*  
\*

*Н. Я. М.*

Где-нибудь посередине  
Повседневного пути  
По зеленой луговине  
Захотелось вдруг пройти.

Может, лечь на луговину,  
Тронуть свежую траву,  
Может, жизни сердцевину  
Вдруг увидеть наяву.

Чтобы время не бежало  
Над постелью луговой,  
Чтобы в прахе смерть лежала  
Перед вечностью живой.

## ПРАВО ЖЕ, СВЕТЕЛ ДОЛ...

(Из жизни и помышлений Коропкина)

«Всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз прийти к ней».

*Гёте.* Годы странствий  
Вильгельма Мейстера

«Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь».

*Саша Соколов.* Школа для дураков

«Писатель, ежели он только не основатель чего-нибудь, есть обычно человек самый обычный, то бишь переписчик. Другое дело, конечно, если он основал литературу – в России ли, в Колумбии или хоть на луне. Тут нужен человек основательный или, наоборот, вертикалист – словом, незаурядный. Первый в ряду, которому и в правый бок ветер дует, и в левый дует; и соратник его, может, еще и не родился, а может, где-нибудь на базаре семечками торгует.

Поэтому у продолжателя (а мы продолжатели) забот полон рот с положением, дистанцией, причинностью, – словом, со всем тем, чем полон рот забот у любого гражданина, знакомого своих знакомых».  
14. 2. 82.

Коропкин с Борисом подошли к зданию из приятного красного кирпича – В-ской городской библиотеке. Борис поднялся на второй этаж, в библиотеку, а Коропкин остался ожидать своего друга у входа. Даже оттуда была видна её крутая кровля, уложенная англичанами

век назад, когда они там жили при В-ской мануфактуре, которой – совладели.

Через минуту по лестнице спустилась незнакомая невзрачная женщина и заговорила:

– Мне сказали, что вы знаете песню «С чего начинается родина».

Коропкин почему-то странно замычал и сказал: да.

Потом сказал:

– Что же, вам всю ее... рассказать?

– Нет-нет, пожалуйста, только первый куплет. Для эпитафии сочинения о родине. Мы искали с мальчиком в читальном зале, но не нашли.

Коропкин неторопливо рассказал первый куплет. Женщина между тем заготовила ручку и развернула тетрадку.

Слова, однако, оказались несложными, и женщина, задрав глаза вверх, пробормотала за Коропкиным остаток куплета (первые две строки она знала) и спросила: не знаете ли, кто автор.

– Матусовский. Про композитора знаю, что еврей: то ли Баснер, то ли Фрадкин, то ли Френкель.

3. 4. 82.

Коропкин ходил туда и сюда по улице Куйбышева, сворачивал в переулок Владимирова, проходя сквозь узкий проход между стеной и строительным забором; он зашел в одну дверь и увидел: вестибюль, людей, кассы Аэрофлота и надпись: «Ответственные работники аппарата ЦК КПСС обслуживаются вне очереди».

Чёрт, эти здания, что стоят около гостиницы «Россия», никак не обозначены, и только написано на дверях: «Подъезд № такой-то». Они имеют прозрачные стеклянные двери, которые закрыты белыми занавесками, и если открыть такую дверь, вас встретит прапорщик и спросит – что надо?

В экспедиции Совета министров СССР была очередь: лейтенант, прапорщик, автомобильный водитель,

баба со злым лицом и еще один автомобильный водитель. Окошечко приема было отгорожено деревянным закутком, и в объявлении предписывалось плотно прикрывать дверь за собой.

Зайдя в закуток этот, Коропкин за толстенной стеной, в которой было пробито окошечко, отличил майора – приемщика служебной корреспонденции, который был виден только на полщеки и который не тотчас повернулся в сторону Коропкина, так что Коропкину так и остался неизвестным его, скажем, профиль.

Майор повернулся в фас, и Коропкин протянул ему большой пакет, куда были вложены три маленьких конверта – с индивидуальными приглашениями.

– Что это? – спросил майор.

– Юбилей художника Шишкина в Большом театре, именные приглашения, – быстро сказал майору Коропкин.

– Нет, я спрашиваю, что э т о? – сказал майор и показал Коропкину один из конвертов, на котором было отпечатано: «Тов. Смертюкову».

– То есть это значит Смертюкову, – сказал Коропкин.

– У нас такого нет – С м е р т ю к о в а. У нас есть Смиртюков, управляющий делами Совета министров. Смирть, а не смерть! А на самом приглашении – как? В приглашении в порядке.

– Я исправлю, извольте, – сказал Коропкин, и стал исправлять «смерть» на «смирть».

– А второй почему пустой? – спросил майор, показывая листок другого приглашения.

– Может, жене, детям, – сказал Коропкин.

– Может, – сказал майор. – Но жена у него умерла.

Майор подумал-подумал, кому может Смиртюков дать приглашение, и сказал, что кому-нибудь даст, найдет кому дать.

22.3.82.

Коропкин околачивался в министерстве, и говорил: «Ох, не нравится мне этот режим, при котором нет возможности давить на него».

Министерская начальница, очень милая все-таки женщина, сказала Коропкину: «Не хочешь ли поработать на овощебазе?» (Кому ж из них самих охота.)

Это была реальная возможность давления на режим, и Коропкин, конечно, согласился: после выхода на овощебазу начальство потеряет моральное право заставлять Коропкина отсиживать от и до, а главное – не обязательно будет приходиться на работу слишком рано. 28.5.82.

Во второй раз послал начальник Коропкина на овощебазу ровно через год, опять в марте и, может, даже день в день (можно легко уточнить по бумагам). Коропкин опять угодил на склад №12, точно туда же, куда и в марте 1981-го. Он увидел ту же женщину, зав. цехом №12: знакомо поблескивали четыре ее вставных зуба.

Бесшумно проносились старухи на электрокарах, перетасовывая напичканные капустными очистками контейнеры.

Сначала была сортировка яблок, и Коропкин скушал четыре яблока. Потом, когда перебрали все ящики с дарами венгерской земли и женщины замахали туда-сюда метлами, а Коропкин собирал лист за листом бумажные прокладки для яблок, – потом сказали:

– На апельсины.

И Коропкин скушал четыре апельсина. Работа была самая обычная: перекладывать апельсины, выбрасывать гнилые в деревянную бочку, а те, которые только со ржавчинкой, ложить в деревянные ящики, а ящики потом оттаскивать к стене: отходы. Сохранные апельсины укладывали опять в картонные коробки с изображением царицы Нефертити, а коробки ставили на поддонки – такие деревянные горбылевые сколотки

с пустотою внутри, чтобы удобнее было цеплять снизу весь штабель электрокаровыми лыжинами-ухватками.

Руки Коропкина были липкими от того месива, в которое были превращены некоторые плоды. Ближе к ребру же ладонь покрылась налетом мышины – даже почти бархатной – плесени.

4. 3. 82.

«Мое искусство должно подражать моей природе. У нас подражание в разговорном смысле понимается как подражание чужой (твоей, его, их) природе; но так как это понимание есть скорее *подразумевание* – то и неясность с этим понятием стала эпидемической.

От невыговоренности. Разговорным коррелятом «подражанию» может стать «совесть»; но никак не «подражание» разговорное, тыкательное.

В русском языке еще много неоткрытых словесных сопоставлений на уровне простого высказывания, причем таких, что не обязательно, чтобы словосочетания были особенно диковинными и, высказанные отдельно, потеряли бы во смысле и прибавили бы в диковинности. Нельзя этого сказать. Мы не книжники, и за словом не обязательно скрывается понятие; ничто не резервируется, ничто не укутано нестирающейся мешковиной исторического табуирования.

Смысл для нашего слова есть легкая накидка, которая непременно шьется так, чтобы под ней трепетала словесная плоть, просвечивала бы и не обременялась бы ею...»

1. 12. 81.

## В КОТЕЛЬНОЙ

Борис сидел на своем рабочем месте в котельной дома культуры термометрового завода. К нему спустился по лестнице человек в белом костюме и сказал: мы принесем сюда пьяного, и если ты согласишься его оставить, мы тебе дадим три рубля.

- Т р и р у б л я? – удивился Борис.
- Да, 3 рубля.
- Ладно, несите, – ответил Боря.

Вскоре три молодых человека наполнили котельную своими веселыми голосами и внесли тело своего пьяного товарища, который безвольно развалился на полу котельной подобно куче говна.

Борис в это время читал книгу Натана Злота «Едодом», и он делал вид, что продолжает читать, а сам косился на молодых людей, которые были заняты устройством своего товарища.

Молодой человек в белом костюме приблизился к Борису, склонившемуся над книгой Едодом, и вложил между страниц свежееотпечатанную рублевку.

– Ну что вы, – смущенно пробормотал Борис.

– Ничего, ничего, – уверенно сказал молодой человек, – ведь я работаю в личной охране Ю. В. Андропова.

– Значит, карате знаешь? – спросил Боря.

– А как же. Как же я не знаю, я знаю карате, как не знать.

– Покажи! – попросил Боря.

Парень стремительно изогнулся и ударил ногой по стене. Она рухнула и погребла котельную, молодого человека в белом костюме с его друзьями, их пьяного товарища, а также котел и все механизмы – всех, кроме Бориса, оставшегося целым и невредимым и рассказавшего всю эту историю.

Бывают же чудеса!

Открыв же сызнова книгу Едодом, Борис обнаружил, что это три рубля так тесно слиплись, что были похожи на один рубль. И номера у них шли по порядку. 8. 5. 83.

Дом освобождали под музей; и из всего флигеля осталась только Нина Борисовна, еще не старая женщина, к которой Коропкин время от времени заходит потолковать да чаю попить. У нее есть фото ее отца в ссылке, в Усть-Каменогорске, на природе, с группой какой-то: мужчина (видать, не ссыльный? сидит, словно опасается), женщина годов 30-ти, пара ребятшек. Сня-

то в июле 1937 года. У него лицо, как у графа Оливареса. Есть и еще одна фотография, с тем же составом. Интересно, много ль отыщется подобных фотографий? Думаю, не много.

«Его ни за что сослали, – поясняет Н. Б. – Это все немцы сделали, хотели развалить наше государство».

31. 5. 81.

Предшественник Бориса по котельной ДК термометрового завода рассказал ему одну историю, которая доподлинно произошла с ним на рабочем месте.

Он дежурил, и вошли двое с девицею и сказали кочегару: цыц, пошел вон, будем здесь сношаться. И тут же немедля приступили.

Тогда находчивый кочегар отошел в сторону, подобрал лом и сунул его в топку. Нагрев лом порядочно, но не докрасна, он вернулся к хамам, слегка покачивая орудием.

Один из любителей чужих помещений – тот, что поздоровее, – нагло подошел и, думая обратить орудие против кочегара, взялся рукою за окончание лома, которое было, между прочим, жарче сковороды.

Так и не получив сатисфакции, похотливая троица скрылась.

11. 5. 81.

Мексиканская троцкистка Лаура сказала, что мы, русские, видно, и хотим-то всего, чтобы установилась свобода слова и напечатали несколько сотен наименований запрещенных книг. Но мы в один голос сказали, что, кроме этого, нужна бы и аграрная реформа, восстановление частной инициативы в сельском хозяйстве.

Мы сказали, что, в общем, больше ничего и не надо, по совести. Остальное само приложится. У вас не приложится в Мексике, а у нас приложится.

30. 3. 81.

Из-за поворота вышел Женька; друзья детства протянули друг другу руки.

Женька был рабочим человеком, с пухлым бледным лицом, зауженными глазами, смотрящими из-под странных глазных наплывов; по притушенности взора и особой осанистости фигуры было видно, что он порядочно женат и имеет кое-какое хозяйство.

В середине груди Коропкин ощутил прилив особенной теплоты; такая теплота поднималась редко, потому что друзья детства, хотя б и эпизодические, как Женька, встречались редко, зато встречи были неторопливыми, основательными, поскольку приходилось вместе ожидать автобуса или электрички.

– Что за книжка? – спросил Женька, указывая на брошюру «Солидарность», которую Коропкин держал в руке. Коропкин показал.

– Да, прижал их Ярузельский, – сказал Женька. – А что вообще там происходит. Я наших не слушаю, а западное радио некогда – хозяйство, семья.

Коропкин пустился в недолгое объяснение чаяний польского народа. «Поди, плохо?»

– Неплохо, – сказал Женька. – У нас бы так. Получить бы землю, деревней купить трактор, часть продуктов себе, часть хошь государству, хошь на рынок.

– Наши пердуны на это не пойдут, – сказал Коропкин.

– Не пойдут, конечно, – сказал Женька.

– Принцип, – сказал Коропкин.

– Ага, – сказал Женька.

Снова прилилась блаженная теплота к сердцу Коропкина. «Нет, что за прелесть, – подумал он. – Иные мучились, решались, страдали выбором, а вот десять миллионов таких мужиков ничем не страдали и хоть сегодня к вечеру готовы отряхнуться и сказать: – «Сами

проживем, прочих прокормим, лишь бы никто не мешал жить».

– Говорят, Суслóвы дом сломали? – спросил Коропкин.

– Сломали. В сельсовете сказали: ломайте, а то у вас и дом, и кооператив.

– Жалко. Памятный дом.

– Да, облазили весь. Помнишь, чего на чердаке находили.

На чердаке у Сусловых находили и керенки, и царские бумажки – ни разу в жизни только Коропкин не встречал советских дореформенных рублей и видел их только в музее; по бедности народ, видать, обменял все до последнего рубля.

18. VI. 82.

#### МОНОЛОГ ШАРИ

– У меня иногда то приступы любви к живописи, то нет. После Будапешта особенно. Я на выставке Александра Иванова была два раза. Там есть совершенно неизвестные эскизы, которые нигде не печатались, чудные эскизы.

Я ходила по выставке и на все глядела своими глазами. Я всегда гляжу своими глазами, на всякий эпизод гляжу. Перед Третьяковской галереей есть памятник основателю, который я бы и не заметила, если бы меня Коропкин не научил такие вещи замечать.

...Да я и не стремлюсь к последовательности, у меня нет принципов, как я однажды заявила Коропкину. На что он, кажется, заметил, что мой принцип – он, Коропкин, ха-ха. Какой же Коропкин мой принцип? Он не был моим принципом никогда. Ну, было время, когда я чуть не увлеклась Коропкиным, но он сам все испортил. Год после этого я не помню. Я болела. А потом все опять началось, так же подозрительно.

Я вообще всегда подозрительно относилась к Коропкину, и к мужчинам другим. Я думала, что Коропкин вообще не приспособлен к жизни, и думала, что он чересчур молод и вообще не подходит мне. Не подходит, не подходит, и нечего об этом говорить.

Я давно-давно сказала ему, что пусть бы он нашел себе другую, лучшую девушку, которая его полюбит, и пусть он ее полюбит. Но это было невозможно, чтобы нашлась другая девушка; и как же поступит Коропкин, думала я. То есть не думала, а так просто: чем он ответит?

Он цитировал Цветаеву, эту пошлячку, и говорил: мы с тобой, Ленка, равн о с у щ и е, а равносущим никогда не встретиться, говорит Марина Ивановна, но потом все-таки говорит, что встретиться.

Я, конечно, не собиралась философствовать, и говорила, что данная поэзия – пошлость. Коропкин сказал, что да, но, по крайней мере, дескать, Цветаева ее и не скрывала, а моя любимая поэтесса Ахматова только и занята иногда тем, чтобы это скрыть, хотя чего там говорить?

Он так трогательно верил в наше обоюдное предназначение один для другого, что я даже засомневалась: может, так оно и есть? Правда, в решающий момент, когда надо было говорить «да» или «нет», я сказала «нет», не выду замуж, вообще не собираюсь выходить замуж, не хочу, хотя и сказала, что я его...

Ну и стала ожидать, кого же он себе отыщет. Интересно; ведь он не сойдется с женщиной, которая уступала бы мне и гораздо передо мной выглядела бы жалко. А про себя он так и говорил, что лучше его мне никого не найти, напрасно стараюсь. Ну уж!..

В конце концов, пошел было уже пятый год приверженности ко мне Коропкина. Пятилетку свою он, можно сказать, не выполнил: я не позволила.

...Собственно, вопрос теперь за мной, потому что Коропкин сумел показать, что меня он действительно

глубоко любил и что при наших условиях игры он мне не изменил и правил не нарушил. Он поступил просто: просто нашел женщину, которая вообще не способна морочить мозги, – женился на мексиканке. Так он вышел в другой круг, если считать нашим кругом отечественную действительность. Я сказала ему: «Это для тебя идеальный вариант»; и Коропкин, конечно, согласился.

Я же так и останусь. Останусь, потому что я, конечно, не любила так Коропкина, как он меня, и вообще, как он говорит, я не способна к единственной вещи – диалогу хемингуэевского типа...

12. 2. 82.

«Популярны, говорят, были среди разных теоретиков разговоры о «смерти искусства». Тот говорил: искусство умерло; этот: искусство умрет; оный: искусство умирает. Я один могу сказать любое, и даже больше: искусство и не родилось; искусство рождается; искусство будет рождаться.

Изо всех понятий, долженствующих выражать это веселое одинокое препарирование материала, «и с к у с т в о» – самый наидряннейший.

Нынче плодотворно искусство отношения к «искусству», культура взаимоотношений с «культурой»; «эклектика», «подражательство» утратили свое значение нарекания, а нового не приобрели. Дело в том, что эти термины были связаны со словами «надо – не надо».

Искусство – это привычка европейца садиться за пишущую машинку к листу бумаги, привычка братья за кисть – и все, связанное с этим; а привычки не так легко умирают, тем более хорошие привычки».

8. 2. 82.

К Нине Борисовне Коропкин заглянул после того, как она увидела его выходящим из подъезда; и махнула рукой: заходи чай пить.

Она рассказала, что в годы Большого террора был священник. Его арестовали и отправили в лагерь. Там он сошел с ума.

Его сыну разрешили повидаться с ним, и там сын увидел своего отца, которого вместе с другими нарядили

в трусы и майки. Им положили играть в футбол. И отец-священник взахлеб рассказывал на краю футбольного поля своему сыну (тоже, впрочем, священнику), как вот сейчас он забил гол, что нужно стараться забивать много голов.

Сын впоследствии умер, кажется, от разрыва сердца – во время службы, открывая Царские Врата.  
28. 1. 82.

О ТОМ, ЧТО НОШЕНИЕ БОРОДЫ РЕДКО ПОЗВОЛЯЕТ  
СТАТЬ ПОЭТОМ

*(Из стихотворных опытов Коропкина)*

Однако, мало, видно, шансов  
Поэтом стать, и стать в ряды  
Поэтов русских. Почему?  
Тому всего одна причина:  
Не можешь быть ты с бородой,  
А будь с босым лицом мужчина.

И должен голую скулу  
Иметь. Как будто для удара  
Ее имея про запас.  
А те, кто бороду имел,  
Смешны и как-то непочтенны.  
(А мною – даже не прочтенны.)

Вот Бальмонт чопорно-нелеп,  
Вот у Волошина лопата.  
Пожалуй, будет всем расплата,  
Тем, кто решился в самый раз  
Взойти с брадою на Парнас.

Ах, я имел лицо босое.  
Но мне к нему возврата нет.  
Чего же хочешь? Ты поэт?  
Ты хочешь бороду, бездельник?

Но посмотри, сколь мало их,  
Поэтов, бороды не стригших.  
Смотри: вот Сологуб и Фет,  
Еще Полонский и Иванов.  
Пожалуй, Анненский, Григорьев.  
И напоследок на, возьми:  
(Уж больше некого) Кузмин.

И этих семерых достало б  
На целу школу, на страну.  
Но здесь, в России, будет мало.  
Тут уйма их, мешок, гора.  
И значит, каждому пора  
Приходит думать – как же быть:  
С босым лицом и дале жить,  
Или, напротив, величаво  
Таскать браду, как будто ты  
Сатир какой или козел.

Склониться надо откровенно  
К тому, что, коли дерзновенно  
Желаешь петь и разуместь, –  
Брады тебе нельзя иметь.  
10. 6. 83.

С. налили почти целый стакан, и он выпил. За два оборота по часовой стрелке бутылка была опорожнена, и решили сходить еще за одной.

– У меня тут в кармане должен быть червонец, – сказал Серега.

Стали рыться в его кармане, и нашли его сложенным вчетверо.

– С., ты самый трезвый среди нас. Сходи за водкой.

Между тем футбол на площадке закончился, и подошел Боря. «Борь, давай с нами выпей».

Скоро бутылка была принесена, и С. снова налили первому.

Коропкин доставал один за другим кружочки маринованных огурцов и раскладывал их на пакете. Бутылку прислонили к банке с огурцами. В это время Серега почему-то свалился с поперечной доски, на которой все сидели под баскетбольной конструкцией. Серегу подняли, и он стал блевать, расставив ноги.

Вовик взял его под руку и увел прогуляться. Очередь пить была Вовика, и решили его подождать. Коропкин полез на конструкцию, перелез на дерево и стал раскачивать высохший сук.

– Не надо! Не надо ломать! – закричал Борис. – Я помню этот сук уже семь лет. Это памятный сук.

Сучок легко отвалился, и Коропкин принялся за другой. Он забрался повыше и стал раскачивать его ногой. Темнело.

Второй сук был очень длинным, так что пришлось его подталкивать, чтобы он прошел сквозь крону соседнего дерева. Скоро и этот сук отвалился, качнулся маятником и упал под конструкцией, ИЗДАВ ЗВОН.

– И что там? – с беспокойством спросил Коропкин, присевши на ветке на фоне закатного неба, и уже понял, что водка по меньшей мере – пролилась!

– Разбилась! – крикнул С.

Все немного помолчали, а Коропкин сказал с дерева:

– Надо же, так точно, что разбилась только бутылка, а банка рядом; а ее не тронуло.

– Банка стоит, – подтвердил С.

– А ведь вплотную стояли, – сказал Коропкин. – Иногда палкой сколько хочешь можно колотить по бутылке, и хоть бы что. А сейчас странно. Нет, это неспроста.

Вернулись Вовик с Серегой и молча встретили известие о гибели бутылки, едва початой.

Они тотчас пошли домой. Борис, Коропкин и С. тоже пошли. Стемнело уже по-ночному.

Коропкин выбил у Бориса из рук мяч и пустился с ним по дороге. Он споткнулся, упал, перевернувшись через себя и прокатился по асфальту. На свету стало видно, что штаны на коленке прорвались.

– Однако сегодня я перебрал, – сказал Коропкин Борису.

– Я это почувствовал, когда ты д о с т а л меня с бутылками.

– Весь город знает, что ты их собираешь, а мать сдает. А другую бутылку жалко.

– Жалко, – ответил Борис. – Все-таки 20 копеек.

– И никто не виноват. Стихийное бедствие. Судьба у ней, видать, такая.

18. 9. 82.

«Отчего так? – думал Коропкин. – Монтень написал о том, что индейцы кушают крокодилов, о том, как надо вести себя на приемах, а между этим вставил кое-какие замечания о себе – и какой резонанс по Европе! Мало ли других писало – ан-нет, не срезонировало, не отозвалось.

Наш Ярослав Мудрый в специальном выступлении резюмировал свои жизненные наблюдения: очи держи низко, душу высоко, нелепых женщин не знай и так далее. И помнят Ярослава на Руси, а в Европе – никто. А ведь его слова смотри какие важные, не приклеишься.

Скажет человек что-нибудь важное, а говорят: «дурак». А то дурак скажет что-нибудь, а все говорят: «важное», и нельзя вслед за другими не согласиться: действительно важное».

20. 10. 82.

– Коропкин, скажи мне, если бы в России началась революция, кем бы ты стал? – спросил Леша, лысый, трогательный, суетливый полиглот, старый коропкинский друг.

– Спекулянт, разумеется, – сказал Коропкин.

– Тебя бы привели в исполнение, – сказал Леша скороговоркой.

– Дураков, их, наверно, приводят. А также тех, кто не знает меры.

– Но ты ведь и так спекулянт.

– Какой же я спекулянт? – удивился Коропкин. – Я же не хлебом торгую, не последнее беру у человека. Он обойдется вполне без моей продукции, тем более, без той дряни, которую я ему предлагаю. Но – берет.  
23. 12. 82.

Леша ехал в вагоне метро и увидел, что некая девушка в джинсовом сарафане очень активно разговаривает с молодым человеком, притом тихо.

Молодой человек широким жестом достал из кармана удостоверение ГБ и показал его девушке. Он сказал:

– Отдай книжку.

Девушка помотала головой и положила книжку в расписную индийскую сумку, модную ныне в Москве.

– Дай сумку, – сказал башибузук.

Он вырвал сумку у нее из рук и прошел к вагонной двери, где стоял Леша. Леша сложил руки на груди и уперся глазами в нахала. Гебист заерзал.

«Я подумал: может, вырвать сумку и убежать? Но как потом тогда найти девицу?» – Она пошла за ним? – спросил Коропкин. – «Да». – А убежать в метро все-таки легко. – «Да; но не на последней станции. Между прочим, у меня тоже был портфель, и там тоже было кое-что». – И все-таки. – «Да, да...»

20. 6. 82.

«Жан-Поль определяет рассудительность как равновесие между действием и терпением. Она в любом случае происходит от равновесия между миром внешним и миром внутренним. Далее немецкий романтик составил оппозицию из «божественной» и «обыденной» рассудительности, что вообще маловнятно.

Прибавлю «ангельскую» рассудительность, которая лучше, безусловно, таких двух видов, которые привел Жан-Поль; и заменит их обоих. «Ангельское начало есть начало посредствующее между Богом и человеком» (Бердяев. Спасение и творчество).

Рассудительность, очевидно, примеряет себя к правдивому отображению того, что происходит кругом; и надо сказать, что изложению правды более пристала неторопливость, нежели поспешность. Ложь не может быть высказана неторопливо. Рассудительная неторопливость способствует последовательному уяснению каждой детали всякого дела и не терпит натяжек.

Итак, ангельская рассудительность при выяснении сути дела позволит нам быть неназойливыми по отношению к своему собеседнику, и по степени того, насколько он уделяет внимание деталям, легко определить, сколько именно фактов и в какой полноте желает представить нам наш собеседник».

7. 3. 83.

В субботу отец сказал:

– Васька Шестаков вернул первую часть «Доктора Живаго».

(Это бульдозерист, работающий в одной организации с отцом.)

– И как он ему пришелся? – осторожно поинтересовался Коропкин.

– Сначала, говорит, скучновато, а потом – рассчитался. Я дал ему другую часть.

Коропкин улыбнулся, сентиментально и блаженно. Даже потеплел несколько к нелюбимой книге.

30. 10. 82.

– Это очень распространенный взгляд, – сказал Веселовский, – что русские национальные особенности складываются из двух вещей – византизма и татарщины, и я думаю, это правильно.

– Но разве пристойно тыкать это русским? – спросил Коропкин. – Ведь это говорит об отсутствии смышленности, это только разжигать ненависть и злобу. Так может написать «Правда», так может сказать Синявский. Прок один. Будем точны, сударь. И скажем об этом так, как об этом надлежит говорить словами, русская лексика это позволяет вполне. Византийский и татарский архетипы действительно отложились в кол-

лективной психологии русского народа, в его менталитете, и, как всякий народ, сознающий свое достоинство, он относится к ним с долей юмора и всегда без досады. Византийский миропорядок унаследовала наша государственная структура (обожествление василевса хоть). Но это всё одни заклинания, номинации, возле которых некоторых желают остановить, чтобы воспитать в них подлость, презрение к смерти, жизни и другим. Русским воинам внушают презрение к смерти. Значит – презрение к жизни, это и есть татарщина. Но разве это только отличительная черта русских, не отыщешь у других?  
*13. 11. 82.*

Вечером, кажется, в среду, Коропкин зашел в церковь Всех скорбящих на Ордынке, купил свечу и поставил ее перед Николой. Посредине, между двух столбов, и справа, толклись старухи, а слева и впереди внимали, крестясь, молодые люди: девицы с пакетами «березка», парни в щиблетах «адидас», а также бородатые основательные мужики.

Хор чередовал речитатив с жалобной протяжной мелодией, и Коропкину было сначала, как всегда, неуютно. Бесшумно сенили старухи в черных халатах, бесцеремонно (верно, как и полагалось) переставляли свечи, крестились на ходу, и сколько было в целом этой проворной прислуги, было неясно – кажется, много.

Коропкину уже захотелось уйти, но тут вышел священник и внес мужеское, волевое начало, и Коропкину, наконец, стало радостно.

– Господу Богу помолимся, – тянул батюшка.

Бабочкой запорхало по церкви кадило, и бородатый молодой поп будто едва попевал за ним, торопясь обойти все углы и пропитать ладаном возможно скорей церковное пространство. Пробегая мимо старухи в черном халате, что скулачилась над чем-то в углу, батюшка раза два колыхнул над ней кадилом и радостно улыбнулся.  
*24. 12. 82.*

«Постижение своей судьбы есть как бы постижение природы будней. Моя вера тоже вполне буднична, не празднична. Усердные конкретные размышления, требующие регулярных усилий, а особенно времени, обычно в конце концов вознаграждаются желаемым. Наступают желанные будни, дни и ночи, с разумными проблемами и разумными решениями.

Мы же, делая, конечно, все от нас зависящее, отношения к руслу судьбы все-таки не имеем. Стало быть, имея в виду общее ее направление, от нас зависит только испортить ее или сделать такой, как нужно. И без помощи Божьей, без благодати Господней как это уяснишь? – никак.

Однако в середине моих рассуждений, точнее, моего экзистенциального чувства расположена как раз судьба, не Бог; а Бог – в сердце; рассуждать о Боге – занятие странное, тем паче, скажем, с другими людьми.

Ближний может лишь перенять это, как такой-то сам перенял у одного.

Издержки культурологии состоят в привитии гражданам той мысли, что богов много и, по крайней мере, все они равноправны; этот верит в одну мировую религию, тот разумеет о другой, оный – в третью, сей – в четвертую и т. д.

Интересно, что один знаменитейший и крупнейший культуролог, наш соотечественник Н. в практической жизни придерживается одной веры, какой положено, отчего и делает себе из культурологии – занятие, а не веру».

12. VI. 83.

Мать Коропкина прикрепил на кухне к отопительной трубе портрет генсека Брежнева в черной рамке.

– Что за изодацзыбао? – поинтересовался Коропкин.

– Не твое дело! – возразила мать.

– У твоей матери, моей бабушки Анны Кузьминичны на стене в избе был приклеен маршал советского союза родион яковлевич малиновский. Но я одобряю твой аналогичный поступок. Какой Ленька был добрый и пассивный. И умный. Предпочитал смешную славу серьезному щевелению плечами и не так активно толкал ближних и давил нижних, как мог бы.

Сказав похвальное слово о прошлогоднем снеге, Коропкин удалился в свою комнату, а когда вернулся, чтобы попить чайку, увидел над портретом покойного портрет Валентины Терешковой.

– А эту сучку пошто прикрепил?

– Не твое дело! – сурово возразила мать.

– Мое, – сказал Коропкин, – дело. У ней пачка как у утопленницы. Сыми.

9. VII. 83.

Солнце, выходявшее из-за туч в промежутки между дождями, заладившими с начала июня, сильно припекало. Коропкин вышел на улицу и сел на лавочку возле подъезда. Черная рубаша Коропкина и куртка поверх ее тотчас нагрелись на солнце, и Коропкин собрался уже уйти домой, как увидел идущего по улице В. (когда-то дружка, совыпивателя, теперь гаишника), который шел из своего гаража и нес две сумки с пустыми банками.

– Заруливай, – сказал ему Коропкин издали.

Сели.

– Мне один парень рассказывал. А ему его друг. Так что сам понимаешь, очевидец не будет врать, – начал В. – Он из Афганистана недавно возвратился и рассказывал. Афганцы хорошо относятся к нашим. Улыбаются.

Коропкин заметил, что лучшие доказательства приветливого отношения – караваном идущие из этой страны цинковые гробы, идущие по разным адресам не дома и не улицы, по адресу советский союз. И сердце заботится и волнуется, и почтовый пакуется груз. И что в В-ск (в 20 тыщ населения) уже три пришло, и что он со многими здесь знаком, но такой точки зрения что-то не видывал. Видел только, что отношение обывателей к этим посылкам самое угрюмое, и это, как известно из исторического опыта, есть необратимая аккумуляция энергии, которая обращена только в одном направлении – против виновников, приказ отдавших. Но что ему,

Коропкину, очень интересно слушать его, В., поскольку ничего подобного он не слышал и вообразить не мог, а теперь довелось. Но товарищ не заметил коропкинских уточнений, потому что торопился высказать умному человеку, чего сам он слышал о.

– Да, хорошо относятся. Если помочь надо – помогают. А они сами, наши, почти не воевали. Он говорит, что только деревню одну и сожгли и убили трех крестьян за все время службы. Но зато уничтожили банду, которая засела в деревне.

– Конечно, ничего особенного, – сказал Коропкин.

– Ему один афганец говорит: «Теперь я за вас не буду, потому что вы убили мою сестру. Но и против вас я тоже не буду воевать». Вот. Так очевидец рассказывал. Против очевидца не попрешь.

– Не попрешь, – согласился Коропкин.

– Нет.

Потолковав еще часа полтора, сильно утомившись, Коропкин еще выяснил, что:

– французам, возможно, понадобятся природные богатства Сибири, поэтому ракеты СС-20 – вещь не лишняя;

– что деятельность радиостанции «Свобода», государственной радиостанции «Голос Америки», британской национальной радиостанции Би-Би-Си, радио Швеции и других, скорее всего, оперативно координируется из одного центра, скорее всего ЦРУ;

– что если все будут хорошо работать в сельском хозяйстве и проявят сознательность, то с продуктами станет заметно лучше; и

– что если бы США пригрозили СССР заблаговременно (?) насчет ввода войск в Афганистан, то СССР бы воздержался. Пригрозил же американцам СССР насчет невмешательства в Иране, и они послушались! Так и они нам.

10. VII. 83.

ИЗ СТИХОВ КОРОПКИНА

Небо, темнея, сомкнулось;  
Глазу подобно,  
Смотрит оно в себя.  
*11. 10. 81.*

Нет мира без Рима,  
Цветка без завязи,  
Трудяг без калыма  
И – мя без боязни.  
*10. 10. 81.*

*Г. Я., давшему в долг*

Еще я помню о твоём рубле.  
Как о Суде о Страшном,  
Как о тьме  
Кромешной  
Моих квартир в ночи.  
Silentium! Silentium!  
Молчи!.. конечно.  
*7. 10. 81.*

Слово, слово, ты свободно.  
Словно грех, ты первородно.  
Как изгнание, казуально,  
Как покаяние – тривиально.

Ты, как утро, рассвело  
И взялось за дело.  
Будто уж добро и зло  
Развело умело.  
*11. 10. 81.*

Как по медному подносу таракашечка бежит. А подносик дребезжит. Добежал до кромки и пропал в потемки.  
*12. 10. 81.*

## СКАЗ О МИХАИЛЕ ЕДЕЛЕ

Михаил Еделя существовал, еще не родившись. Он родился как месяц, показался как месяц, и засиял.

Миня в университете пять лет протолкался, и ничего, как он сказал Коропкину у пельменной на Кропоткинской, в памяти не осталось.

Миня признавался: в детстве его учительница провозгласила *пустоцветом*. При этом Миня брызгал слюной в Коропкина особенно много.

У Михаила Едели была целое лето временная жена.

– Эх, Минька! Большевик: все-то у тебя временки, шатуны, косяки, даешь, истерика, морда в грязь.

– ...А она мне так и говорила: не дергайся! Ух, Ленка.

– У тебя Ленка, у меня Ленка.

И смех его непосебешный.

– И понял я, ребята, какой м а л е н ь к и й музей – Эрмитаж.

– Минь, а Минь. Тебя Ленка никогда не простит, что ты ей за дубленку зацепился.

– Да я ж от чистого сер-р-р-ца! Ленка, говорю, говорят, ты дубленкой обзавелась. Ну, теперь я тебя, Ленка, уважал. Уваж-ж-ал!

– А что, Минь, девственность – бич нашего общества?

– Б-и-и-и-ч!

Слышалось: б-и-и-и-ть!

Были в Чернигове. Уж если где есть архитектура, так там. Наделали. Недалеко Коропкин пошел в музей с двумя малыми голландцами, Тербрюггеном, визитной карточкой советских музеев; и И. Я. Вишняковым: «Портрет Дарагана». От музея пришли к спуску к реке. И Минька куда-то с Танькой пропали. И ноги экскурсантов тукали по деревянным ступеням.

В автобусе на последнем сиденьи сидела Ташка и плакала. 77-й год, так они переживали самих себя.

Ташка сказала Ленке: «Я желаю тебе, чтобы и тебя кто-нибудь когда-нибудь ударил. Это счастье».

Минька сидел сычом. Где-то, трудно вспомнить, то ли во Львове, то ли в Киеве потом Минька вынес с рынка охапку цветов и ссыпал перед Ташкою. Ух!

Так они и отличились: Коропкин потянулся к деревянным спускам к реке; Миньке же Ташка спуску не давала. Девственность – бич.

Ташка плакала полдороги. Минька – не пел.  
28. 10. 81.

– Знаете, на партийном жаргоне это называется «ошибочной линией». Я ведь еще и художник, меня тоже учили, что бывают ошибочные линии; дескать, угольную стереть можно, а коли рисуешь тушью, то рисунок ответственный – не ошибись. Проводя линию, тут же и спрашивал себя: ошибочная ли? И отвечал, и видел: ошибочная. А как провести безошибочную, неизвестно. Так и бросил заниматься художествами – много ошибочных линий было. Только уж когда много времени прошло, дошло до меня, что ошибочных линий не бывает; одни души. В которой душе благодати нет, та и ошибочная. Я потом глядел на то, как у Сомова, Пикассо, Пуссена линии проведены – бред один, а не линии. Чувство цвета – оно, может быть, не дадено тебе. А линия – это душа; она у каждого.

– Что же, линию надо проводить, как Бог на душу положит?

– А тебе не ясно это?  
13. 12. 81.

#### ПИСЬМО БОЙЦАМ

Коропкин начертил на конверте парижский адрес своей жены и отнес его к почтовому ящику, куда и опустил. Придя домой, взял копию письма и снова прочел:

«Дорогие бойцы невидимого фронта, сотрудники цензурного отдела международного почтамта! К вам обращаюсь я, друзья мои.

В этом году ни одно из моих писем не было доставлено по тому адресу, который указан на конверте, хотя вслед каждому письму я высылал по 3 копии, а может и больше.

Моя жена может подтвердить, что таких писем по вашей блядской почте в этом году она не получала. В конце концов она их получила другими путями и смогла насладиться слогом своего супруга, правда, с большим опозданием.

Я вот и хотел бы у вас спросить: для чего вы это делаете, задерживаете письма. Ведь в них содержится кусочек жизни некоего корреспондента, рассказывающего о своем житье-бытье. Я вам решительно хочу сказать, что больше вы навряд ли станете читать мои корреспонденции, так как я не хотел бы зря переводить бумагу. Возможно, вам нравились мои письма, и вы оставляли их себе на память. Возможно, вы их передавали своим сподвижникам, другим бойцам невидимого фронта, а те – следующим. Я даже могу предположить, что, хоть у вас картотека запущена, вы могли определить, кто я такой, где проживаю и чем занимаюсь.

Я же лишен такой возможности – исследовать своих читателей; и передо мной вырисовывается обобщенный образ читателя по профессии, которого я приветствую как своего коллегу, так как и мое основное занятие – тоже чтение.

Дорогие коллеги, я представляю вас молодыми, полными здоровья и юмора людьми, а не старыми пердунами-ветеранами. Но иногда мне мерещится: а вдруг – ветераны, вдруг вы не розовощекие крепыши, дети разрядки, а закоснелые маразматики с искривленными ртами и искалеченной психикой?

Но нет; вас же нет, вас не существует в природе, вас не может быть как таковых, вы – призраки, плоды из-

мышлений, и я пишу письмо – никому. Ведь у нас свобода..., то есть тайна переписки, то есть переписка тайны, запутался совсем, пересыпка, перемочка, тайные чернила, цру против. Продолжите без меня сами.

Неужели же нельзя было пропустить хотя бы одно письмо к моей жене, хотя бы одну копию, – и вы бы продолжили коллекционирование моего эпистолярного жанра и имели бы, смею вас заверить, довольно большую коллекцию моих писем, так что можно было бы при случае даже издать мою переписку с женой, живущей в Париже.

Это безусловно упущение в вашей работе, и кое-кому из вас следует объявить выговор с занесением в учетную карточку или порицание – за то, что прекратился поток писем в город Париж от меня (только ли?) и у вас стало меньше материалов для размышлений. Согласитесь, ведь подконтрольная переписка гораздо лучше неподконтрольной, то есть для ваших целей желательнее, я полагаю.

Может, вы просто хотели, чтобы я перестал пользоваться почтой? Вы добились этого. Вы, может, хотели, чтобы я перестал общаться с женой посредством эпистол? Вы этого не добились пока. Выговор! Я решительно настаиваю на вынесении выговора и лишении прогрессивки тех головотяпов, которые изъяли все мои письма последнего времени и заставили меня обходить почтовые ящики стороной.

Будучи объектом вашего кропотливого труда, я высказываю такое вот мнение и считаю, что я – как трудящийся – имею право высказывать справедливые нарекания.

Дорогие бойцы. Больше мне сказать вам нечего. Поздравляю вас с праздником международной солидарности трудящихся, желаю успехов в работе и долгой молодости.

Пришлите это письмо куда надо, прочтите его еще раз и сделайте выводы.

Не завидуйте мне, товарищи. Ведь там совершенно то же самое, что здесь, только немного иначе и лучше. Но вообще – так же, уверяю вас. Разве только нет таких должностей, как у вас. Но ведь и здесь их нет, ведь это заведомо ложные, клеветнические измышления, что здесь существует почтовая цензура и служба перлюстрации, не правда ли?

Всего доброго, мои молчаливые читатели.

24. 4. 83».

(Письмо это, заметим, до жены Коропкина не дошло-таки.)

«Творчество, по Бердяеву, есть оправдание человека перед Богом. Оправдывать же его перед собой, другими просто противостоит естеству. Так же, как противостоит естеству оправдывать любовь, которая тоже.

Коллективное бессознательное представление о смерти. Родовое представление. Коммуникативное, на поверхности. Последнее есть немое представление, тогда как прочие мыслимы, варианты.

Самоопределение по отношению к смерти: ощущение времени. Студент живет семестрами, крестьянин – сезонами, рабочий – сменами, бюрократ – месяцами и полумесяцами, философ – днями и годами.

Несмотря на все надстройки, родовое ощущение смерти преобладает. Оно понимается как прекращение жизни в четырех стенах.

Чувство смерти может служить оппозицией чувству жизни, чувству деятельности, чувству здравомыслия, чувству смерти не-явному, не-моему, чужому, как правило, коллективному, а также чувству памяти.

Обыденность яви и творчество.

Бог вечен, человек обыденен; можно верстать путь к Богу (романтизм) или к человеку (реализм). Первый исключает паритет психологий, другой заслоняет указания на вечность.

Однако рассмотрим, как лучше понимать «оправдание». Допустимо – как стремление к снятию вины; такой взгляд сеет подозрение к особи как изначально виноватой, пришедшей в мир, чтобы отработать свою вину...

Оправдание себя творчеством исключает тень всякой исключительности. Некто имеет обыкновение творить, обыкновение любить,

страдать, улыбаться и т. п. Тут он у з н а в а е м. Неопознаваемым делает его либо вышеупомянутое, либо ж а л о б а. (Ни один акмеист не жаловался. В сердце его логос, а не эрос.)»

22. 10. 81.

Речи Коропкина были совершенно фарисейские. «А я и есть фарисей, – говорил Коропкин. – Что испытывал фарисей, который с мытарем молился, про то мне ведомо, и перебороть этого не могу да и не считаю нужным. Фарисей молился: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты так поставил хорошо меня в обществе, и хорошо мне оттого, что доход ко мне идет, и 1/10 часть поступающих средств даю церкви, и во храм хожу, подобно другим честным и порядочным людям, регулярно, и пускай дальше будет так». И сказано было: «Возвышающий себя унижится, а унижающий себя возвысится». Но грех пародировать мытаря, а фарисея пародировать – удовольствие».

26. 2. 83.

Я поклоняюсь пока что свободе и яблокам спелым.

Я приклоняюсь главою к озерам, низинам и топям.

Этот хиазм у ольхи мало сказать – многостопен.

Короток, короток ток между словом и делом...

11. 10. 81.

Редакция и редколлегия «Континента»  
выражают глубокое соболезнование  
представителю «Континента» в Италии

**Серджио Рапетти**

в связи со смертью матери.

## ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Элизабет УИЛЬЯМС

### НА ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКЕ

Нам пора бы отсюда скорей до искомого места.  
Здесь, как дохлые овцы, сугробы лежат на дровах,  
дымоход поперхнулся клубимою песней.  
Мы, в овчинах, к ногам прицепив деревянные крылья,  
отженили все лжи от себя.  
Так обнимем же небо, как синие цапли,  
и меж сосен скользнем по раздавленным снежным цветам.

Грудь сквозит, как у ангелов, холодным дыханьем.  
Древокрылые, мы улизнули с домашних лежанок  
в перехлестную пасму, в сплошной перепут,  
в лабиринт белизны.  
По недвижному озеру – к инобережному срезу,  
снова в лес.  
Нет здесь места раздорам, раздраям, –  
только спячка да явственный сверк от лыжни.

Ветви сеют снежинки, и лица горят от студеных касаний.  
Вот – шахтерская хижина.  
Тут бы точно нашлась капля теплого виски.  
Но – дальше. На холм.  
Отдохнем наверху, опираясь на тонкие палки.

Слышишь, облако облаку шепчет, –  
а что, не понять, –  
их туманные рты пухло, бережно полуприкрыты.  
В сером свете, здесь, в темно-еловых тенях  
мы не больше, чем тихие совы.

\* \*  
\*

Сидючи неразгоревшимся днем  
на углу Кирквуд и Данн  
в кафе Уайетт,  
превращаемся в слухи о нас.  
Завтрак вместе –  
ватрушка и кофе  
с выпуском «Луизвилльской Газеты».

Почему – как у нас началось –  
продолжается дүриком,  
и при чем тут кафе Уайетт?  
Мы, позевывая, вспоминаем  
русские зимы.

Чашка кофе еще –  
и мы видим друг друга  
ото сна пробужденными –  
в жизнь.

\* \*  
\*

Лунная гора Эль Пасо  
известью младых костей  
каменится лежа,  
кактусами укрывшись.

Лежа под открытым небом,  
жду завтрашнего горизонта,  
а юкки  
изображают стражу песков.

Туй потягивает из пустыни,  
да накрапывает понемногу дождь;  
подкатывает  
перекати-поле по дюнам.

Лоренс ГАСТИН

СНЕГ

валит,  
универмаги белит. Вот – вид:  
Из толпы покупателей некто один  
опасается, топчется, трогает лед;  
где другим хоть бы что, сей господин ждет.  
И прекрасною палкой (из дерева красного)  
бьет  
на осколки соленый лёд.

Двинулся, наконец, вперед...  
Скользит и наш взгляд:  
под белыми ношами легковушки  
на убеленном асфальте стоят.  
Размышляют они за конторских своих седоков.  
Ход мыслей таков:  
под каким бы предлогом смыться  
с работы до срока. (Некто один  
говорит, что жена его спятила).  
И скрежещут автобусы, брызжут на нас  
плосконосо и долгобоко.  
Плексигласом блеснул и растаял овал.  
но, покуда час пик не настал,  
оправданья и улицы пухнут от мякоти  
в слякоти.

ЛИБЕРТИВИЛЛЬ

Деревом, птицей и цветком штата Иллиной  
считаются дуб, кардинал и фиалка.

В глухонемом лесу родник  
глаголет светлый бред.  
И тут же зелено-велик  
ответ рокочет дуб.  
И, в зелень вкраплен, кардинал  
всей красной грудкой свист издал...  
В корнях – сиренево-голуб  
звучит фиалки цвет.  
Но это – часть. А полный глас –  
в груди у нас.

В лесной тени звенит поток  
небесной синевой  
с полночным солнцем в такт; и в лад  
с полуденной луной.  
И звуки путнику на взгляд  
как радуга; а он и рад  
и пить, и к музыке припасть.  
Но это – часть.

На берегу – лесной цветок.  
Под ним – голубизна. Над ним  
в ветвях садятся на насест  
то солнечный, то лунный нимб.  
И птица – порх – на тот шесток,  
а в клюве держит лист...  
Какая толщ, какой потоп  
и смерти и зари! Такой,  
что чую в высях надо мной

ковчега днище. Правит Ной  
на Африку и Эверест.  
Вот – радуга. А пересказ  
мой фрагментарен. Полный глас  
у нас...

Конрад ЭЙКЕН

С ТОБОЮ – ПЕСНЯ

С тобою – песня более, чем песня,  
хлеб преломленный – более, чем хлеб;  
а без тебя краса из них исчезла,  
стол омертвел, бездушен и нелеп.

Охват твоих перстов навек наполнит,  
казалось мне, бокал и серебро.  
Любимая, они тебя не помнят,  
и пустота – отныне их добро.

Лишь сердцем я храню святые меты  
прикосновений, и наперебой  
лишь в нем одушевляются предметы,  
красавица и умница, – тобой.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Кроме признанного классика Конрада Эйка, все в этой подборке – ныне здравствующие поэты, известные или не очень.

Они помогали мне во время чтений в колледжах и университетах Соединенных Штатов пробиться к читателям через языковые препоны, переводя мои стихи на английский, участвуя вместе в двуязычной программе. В ответ я переводил их стихи на русский.

Эта подборка – дань благодарности отзывчивым и сердечным, вопреки их «себе на уме» репутации, американцам.

*Дмитрий Бобышев*

# **Г Р А Н И № 138**

под редакцией

**Г. Н. Владимова**

В номере: глава из нового романа Владимира Максимова «Звезда Адмирала», статья Бориса Парамонова «Канал Грибоедова», литературно-критические статьи Елены Гессен, Игоря Ефимова, Елены Тудоровской, Александра Жолковского, П. Вайля и А. Гениса, исторический очерк Виталия Рапопорта «Меч и скрипка», стихи Вероники Долиной и Нины Бодровой, библиография...

---

«Грани» выходят 4 раза в год. В каждом номере 320 стр. Большой отдел прозы, поэзия, литературная критика, философия, история, публицистика, полемика, воспоминания, документы...

Подписывайтесь на журнал «Грани» непосредственно в издательстве «Посев» (Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M., -80) – 56 н. м. или 25 ам. долл. в год, в представительствах издательства (70 н. м. или 28 ам. долл. в год) или покупайте его в любых русских книжных магазинах (17,50 н. м. или 7 ам. долл. за номер).

# Россия и действительность

Михаил Заборов

## СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИКА

### 1. АПОРИИ ЗИНОВЬЕВА

Я с интересом читаю статью Александра Зиновьева про Ленина и Сталина и не впервые отмечаю про себя: стиль Зиновьева – парадоксален. Ленин был недостаточно злодеем, чтобы стать народным вождем, Сталин был достаточно злодеем, чтобы заслужить всенародную любовь, – типичные пассажи зиновьевского стиля. В своих книгах Зиновьев выявляет как бы самую логику человеческого поведения в соцобществе, но логика эта шаг за шагом складывается в некий сюрреалистический алогизм.

Меня интересует природа этой парадоксальности, и видится она вот в чем: Зиновьев ищет и находит те интересные грани, где логика индивида – я бы сказал, микрологика – сталкивается с макрологикой социальной психологии, а эта последняя – с космической, галактической мегалогикой истории. Понятно, что меж тремя этими логиками есть не только единство, но и противоречия, иногда даже, как в случае с «Ибанском», зияющие. И вот под влиянием логики исторической бытовая логика деформируется, в нее входит алогизм. Тогда и оказывается, что масса любит своего экзекутора тем истеричней, чем больше плеть в его руке, и так же люто она ненавидит тех, кто пытается ее защищать, так что «естественный» враг диссидента – КГБ, по Зиновьеву, оказывается вдруг защитником этого диссидента от абсурдированной толпы, а штатные философы, что сочиняют толстые тома во славу режима, думают прямо противоположно тому, что сочиняют, и т. д. Причины этого абсурда в глубинах социального, их можно выявить, и парадоксы разрешатся. Но Зиновьев к этому не стремится, он не предлагает какой-нибудь объясняющей социологической концепции и парадоксы старается не

разрешить, а обострить. А дело просто в том, что, при намеренной научности стиля, Зиновьев в своем анализе общества следует принципам не науки, а искусства, поэтому социальное у Зиновьева предстает как стихия зла и антилогики.

Но мне интересна социальная логика сама по себе. Хочу увидеть ее непосредственно, в упор, в «голом» виде. Хочу рационального объяснения сталинизма, социализма, сионизма, хочу *социальной физики*.

## 2. ПЕРВЫЙ ЗАКОН СОЦИОФИЗИКИ

Первый закон «социальной физики» сформулируем сразу: существует *социальная гравитация*, и она усиливается – вернее, усиливает свою над нами власть, – когда ломаются социальные структуры, ее сдерживающие.

Поясним это утверждение. Когда под нами ломается стул, гравитация овладевает нами всецело, увлекая к земле, до тех пор, пока не достигаем мы некоей достаточно жесткой структуры – пола, что не очень приятно, но спасительно.

В социологии мы можем наблюдать по существу ту же картину. Только социальная гравитация направлена не к центру земли, а к центру сообщества, коллектива. И в ней, только в ней, я вижу объяснение сталинизма, хомейнизма, маоизма, гитлеризма... Закон социогравитации объясняет достаточно очевидный и вместе с тем парадоксальный факт: любая революция, какие бы свободолюбивые лозунги ни писала она на знаменах, приводит отнюдь не к рыхлому либерализму или анархизму, но резко активизирует силы, централизующие общество, приводит к диктатуре, деспотизму, тоталитаризму.

В собственно социальном смысле гравитация – это стремление человека занять центральное место в группе, коллективе – обществе. Это достаточно короткое утверждение нам придется еще пояснить.

В космосе самые массивные тела занимают центральные места в космических системах, и это значит, что другие тела вращаются вокруг главного. Главное же тело доминирует, подчиняет себе окружающее пространство, организует систему. Тут и ответ на неизбежный вопрос, почему человек стремится к центрам социальных систем. Продвигаться к центру

системы значит подчинять, значит *организовывать* ее по-своему и тем создавать благоприятную для себя среду.

«Позвольте! – воскликнет человек скромный, – что за блажь, я совсем не стремлюсь занять центральное место в своем коллективе».

Я знаю, дорогой и скромный читатель, знаю, что, сидя в своей конторе, мечтаете вы не о том, чтобы сесть на место вашего начальника, а о том, как бы поскорей уйти домой, погрузиться в свою среду, предаться любимым делам. Была б ваша воля, вы устроили б свою жизнь совсем иначе. Правда, для этого пришлось бы перестроить мир, но разве он того не стоит?

Хомейни ушел «из конторы» – из страны – и в конце концов стал ее диктатором. Грубый пример. То ли дело российский отшельник; шел он движимый чистым помыслом в глухую тайгу, рубил себе крест и избу да так и жил один... пока не приходил к нему другой подвижник. Постепенно выросла монастырь со своими землями и крепостными – маленькая благочестивая империя. Опять грубо. Барух Спиноза ушел из гетто ради чистой мысли, не стал властителем, разве что только «властителем дум», как коллега Вольтер, тоже беженец и изгнанник. И какой скромный мыслитель не мечтает быть Спинозой, художник Рафаэлем, а солдат генералом! Но обязательно – организующим центром группы, мирка, мира.

### 3. СОЦИОФИЗИКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЕКСОЛОГИИ И НАОБОРОТ

По-видимому, в отношениях центра системы с периферией обнаруживаются начала того, что на каком-то этапе предстает как отношения полов. При этом «центральное тело» – ядро олицетворяет начало мужское, а периферия, среда – начало женское. Сперматозоид стремится проникнуть внутрь яйцеклетки, чтобы стать ее организующим центром. Удача сулит ему великую жизнь через слияние с жизненной средой, неудача – гибель. Лоно матери – среда оплодотворенной клетки. Но и психологически мужчина стремится к женщине, которая в некотором смысле является для него жизненной средой. Здесь очевидно, что системообразующее взаимодействие само является следствием структуры, последняя

оказывается первичной по отношению к первой. Аналогичную картину, например, представляет собой взаимодействие атомов: на внешней оболочке одного имеется «лишний» электрон, на оболочке второго – «дыра», совокупление происходит переменным движением внешнего электрона «от него к ней» и обратно. При этом рождается новый организм – молекула. Он, правда, не находится в родительском лоне, а сам включает в себя обоих родителей, но ведь это точь-в-точь как зигота, рожденная слиянием половых клеток. И в биологии, и за ее пределами разделение полов относительно и переменное, и там, где оно не четко, взаимодействие утрачивает принцип полярности, а заодно и свою силу.

Тут, видимо, и нащупывается *гравитация в общем смысле*, отличная от полярных взаимодействий (типа электрических), понимаемых также общесистемно, «сверхсубстратно». Нужно обратить внимание на очень важное обстоятельство: именно в полярных взаимодействиях мы наблюдаем как притяжение разноименных зарядов, так и отталкивание одноименных в качестве специфической силы. Гравитация же не знает отрицательного аналога, антигравитации нет. *Гравитация неизбежна*, неустранима, действует всегда и на всё, она относительно слаба – таковы отличительные черты гравитации вообще.

Уже в малой человеческой группе, как правило, существует ситуация лидерства, т. е. некая иерархия. Все социоструктуры более или менее централизованы. И всегда наблюдается в этих структурах вертикальное, центростремительное тяготение. И надо сказать, что как физическая, так и социальная гравитация действует тем грубее и мощнее, чем с большей массой мы имеем дело. Вот эти грубые проявления социальной гравитации объясняют диктатуры, и любая попытка понять эти явления без социогравитации равносильна попытке рассчитать движение спутника, не учитывая земного тяготения. Именно такие «расчеты» в бесконечном количестве мы встречаем сегодня в социологической мысли.

Чтобы продвинуться дальше, нужно подробнее разобраться в том, что прямо противоположно гравитации, вообще притяжению. Тут мы сталкиваемся с совершенно каверзной проблемой. Даже в полярных взаимодействиях отталкивание проявляется менее четко, чем притяжение, – гравитация, как было сказано, вообще не имеет антипода.

При такой ситуации Вселенной давно бы сжаться в комок, а она вместо этого стремительно разбегается. Притяжение «в себе» таинственно и необъяснимо, но в каком-то смысле оно просто и понятно. Притяжение космических тел происходит по четким законам, источник гравитации как бы заключен в самой тяготеющей массе, с ней соизмерим. А отталкивание? Космические тела притягиваются, но что мешает им сблизиться? Создающее центробежную силу движение (источник его не введом и никакому наблюдению не подлежит) заставляет думать о божественном первотолчке.

Итак, система, чтобы существовать, создает в себе некую центробежную силу, противостоящую силе центростремительной, обретая таким образом устойчивость.

В социологии отталкивание тоже не существует в качестве особой силы, столь же определенной, как социогравитация или притяжение полов. Это опять-таки псевдо-, квазиотталкивание, оно производно от социоструктуры и исчезает с ее разрушением. Так тяготение человека или массы к данному социоцентру оказывается их «отталкиванием» от другого центра, но это именно «отталкивание» или «антигравитация» в кавычках.

Центробежные силы в космосе ведут нашу мысль к божественному первотолчку, половые запреты тоже восходят к Богу. Но, как бы ни были они сложны по происхождению, функция запретов вполне ясна – плохо ли, хорошо ли, они регулируют важнейший и, я сказал бы, опаснейший процесс творчества жизни.

И прежде чем закончить общее рассмотрение системобразующих взаимодействий, отметим еще одну их черту. Почему в микромире – социальном и физическом – господствуют взаимодействия полярные, а в мегамире царит неполярная гравитация. По меньшей мере, в одном это необходимо: полярные взаимодействия очень сильны, в то время как гравитация относительно слаба, она становится мощной лишь тогда, когда мы имеем дело со значительной массой. Такое соотношение сил позволяет микроструктурам противостоять титаническому давлению мегапроцессов, хотя это противостояние оказывается возможным не всегда.

#### 4. ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

История начинается с географии. Первобытное общество произрастало на земле, как лес и трава, полностью подчиненное экологическим законам взрастившей его земли. И в дальнейшем географический фактор остается мощнейшим и наиболее постоянным определителем всего уклада, существующего в данном обществе. География – вещь постоянная, но история подвижна, и основной ее движущей силой я признал бы не накопление опыта и развитие разума, хотя это важно, а опять же природный фактор – естественный прирост населения. Именно это не дает человечеству сохранить раз и навсегда некий «статус-кво», заставляет перестраиваться. Говоря иначе, путь из географии в историю лежит через демографию. Подчиняясь вулканической силе плодоношения, человечество проходит два этапа: расселение и уплотнение.

На принятом здесь социофизическом языке, расселение – это преобладание отталкивания, уплотнение – господство гравитации.

Почему сначала доминирует отталкивание, потом – притяжение. Первобытные общества невелики – род, и это уже «парализует» гравитацию, как бы заранее оставляя нас в социальном микромире. Размножение родов, при условии их расселения, не требует в принципе изменения внутренней структуры сообществ, и эту стадию еще можно считать доисторической. Когда доступные территории заселены, дальнейшей прирост населения требует постоянной внутренней перестройки обществ – это начало истории. Вынужденное уплотнение населения должно лишь усилить психологическое взаимоотталкивание людей, но теперь вступают во взаимодействие большие человеческие массы, пробуждая к жизни могучие силы социогравитации, которая в дальнейшем и определит исторический процесс.

Хотя естественные границы человеческих обществ легко и радикально перестраиваются, все же в большой исторической ретроспективе видна удивительная устойчивость именно этнических границ. Римляне взорвали все границы, объединили в одну империю Европу, часть Азии и Африки. Но вот империя распалась, и на ее обломках новые или видоизмененные этносы распределяются примерно по тем же географическим ареалам, что и прежде.

С ростом населения в данном районе усиливается и социогравитация, в какой-то момент становясь доминирующей силой. Но соблазн вычислить социогравитацию, исходя только из числа данного сообщества, приходится оставить. Дело в том, что люди взаимодействуют не только между собой, но еще и с природой, и с предметным миром. Эти взаимодействия сложнейшим образом пересекаются с человеческими отношениями, где-то усиливая, а где-то блокируя таковые. Относительное равновесие всех этих взаимодействий и создает относительно устойчивую социоструктуру.

## 5. ПРИВЕТ КАРЛУ МАРКСУ

Мы говорим об иерархии социосистем как о следствии социальной гравитации, но так ли это?

Социальные отношения, в узком смысле слова – межчеловеческие, мы подразделили на полярные и неполярные. Но есть ведь еще, как только что отмечалось, отношение человек и мир вещей, наконец, отношения самих вещей, скажем, в сфере производства, которые входят, однако, в социальную жизнь, властно диктуя свои условия. Назовем два последних типа отношений «квазисоциальными отношениями». Как можно отвлечься от всего этого и говорить о социогравитации как о чем-то определяющем? Не лучше ли погрузиться добросовестно в изучение других сил – производственно-экономических отношений, как давно на истинно научном уровне сделал это Карл Маркс.

Тут я напомним, что уже первое наше упоминание о социальной гравитации ставит ее в оппозицию к социальной структуре. Так вот, эта структура и включает в себя всю квазисоциальную сферу, так что речь у нас по существу идет о соотношении «человеческого» (гуманитарного, субъективного) и «нечеловеческого» (материального).

Важно отметить, что в целом предметный мир, весь используемый человеком «нечеловеческий» материал, хоть и не побеждает социальные силы, но все же их сдерживает и сублимирует. Неживая материя, благодаря своей инертности, входя в жизнь людей, сообщает социоструктурам ту меру кристаллизации, которая необходима для их устойчивости.

Отсюда теснейшая связь между уровнем материальной культуры и социальным состоянием общества.

Это соприкасается с главной темой Маркса; взаимозависимостью производительных сил и производственных отношений и Марксовым анализом этой сферы мы совсем не хотели бы пренебрегать. Но интересует нас социальная гравитация. И то, что Маркс называет классовой борьбой в социофизическом понимании, есть гравитационное тяготение низов и сопротивление верховных структур этому давлению. Разница пониманий печально существенна. Неведение относительно социальной гравитации позволило Марксу умереть со сладкой иллюзией о возможности бесклассового коммунистического общества. О том, как жизнь опровергла Марксовы иллюзии, читателю рассказывать излишне, но социофизический анализ проблемы входит в наши замыслы.

## 6. ПАССИОНАРИИ И СТРУКТУРЫ

Стремлениям человека постоянно противостоит среда, и весь вопрос в том, как эта среда организована. Социальная структура не только сопротивляется социальным тяготениям, но и дает им некий путь – организует и сублимирует. Все это при условии, что данный субъект в данную систему «включен». Человек, «включенный» в конкретную систему, ведет себя совершенно иначе, чем «включенный» в другую социосистему. И оба они отличаются от того, кто не «включен». Но невключенность, как и включенность, человека в социосистему – относительны. Уволенный с работы не участвует в системе «фабрика», но участвует в системе «город», «страна»... С другой стороны, раб, насильственно включенный в непосильную работу, тоже во многом оказывается «невключенным», ибо большая часть его творческих потенций остается без применения. Вот эта невключенная или недостаточно включенная в социосистемы фигура будет интересовать нас более, чем индивид нормальный, последовательно включенный в микросистемы семьи, круга друзей, производства и через это – в государство. Будучи прочно завязан в этих малых системах, нормальный индивид обретает некие устойчивые орбиты движения, определенную инертность по отношению к внешним влияниям: психологическим, идеологическим, политическим.

Человек, в малые системы не включенный, весьма подобен свободному электрону: он легко вовлекаем даже в слабые поля тяготения, и масса таких «перекати-элементов» становится добычей сил социогравитации. И если эти силы в нарастающей мере определяют исторический процесс, то это вопрос не только абсолютного роста населения, но и вопрос социоструктуры, ее способности или неспособности органично включать в себя людей.

Однако главными исполнителями исторической драмы оказываются «невключенные».

В совершенно ином социологическом исследовании (концепция этногенеза ленинградского историка Льва Гумилева), где нет ни слова о социальной гравитации, встречается, однако, фигура весьма подобная нашему «невключенному» субъекту. По мнению Л. Гумилева, этнос, как организм, усваивает энергию солнца и, постепенно ее накапливая, выплескивает однажды вовне, захватывая окружающие пространства и перекраивая тем этническую карту. Главным действующим лицом этого процесса оказываются «пассионарии» («странные») – люди повышенной социальной активности. Это как бы носители избыточной энергии солнца, число их растет пропорционально энергии этноса.

Я думаю, что эта гумилевская социальная биология в принципе вполне соединима с социальной физикой, но «пассионарии» – это, скорее, не те, кто получил большую порцию солнечной энергии. Это, наоборот, именно «невключенные» в вышеописанном смысле, причем массовое их накопление зависит не столько от индивидуальности каждого, сколько от неспособности социальных организаций освоить человеческий материал.

## 7. ДЕРЕВНЯ

В аспекте самогравитации особый интерес представляет эпоха феодализма. Социальная гравитация с определенного момента доминирует в истории, превращаясь постепенно в стихию апокалипсическую. Уже в эпоху рабовладения мы видим катаклизмные движения огромных «пассионарных» масс. Тем важнее отметить, что маленькое крестьянское хозяйство оказалось достаточным противовесом космической

энергии. Феодализм был неким возвратом к естеству. На земле и плодами земли живет человек. Но теперь, в отличие от дорабовладельческой эпохи, он не просто собирает готовые плоды, а возделывает землю, и, главное, возделывает землю не организуемый палкой раб, а самостоятельный хозяин. Такого работника не нужно огнем и мечом добывать в соседних странах. Обзаведясь семьей, он сам воспроизводит рабочую силу. Так появляются предпосылки прикрепления людей к участку земли, предпосылки самодовлеющего натурального хозяйства, которое сообщило включенной в него массе «инерцию покоя», остановившую гравитационные бури древнего мира.

По сравнению с рабством феодализм оказался системой более органичной. Первобытные род, племя представляются системами тоже в принципе органичными: они органично «вписаны» в природную среду, а это, заметим, обычно совпадает с органичностью внутренних связей общества; человек здесь еще не рассечен специализацией труда и представляет собой «органическое целое». Наконец, структурные отношения этого общества еще совмещены с отношениями личными и родственными, а таковые по природе своей и многогранны и подвижны, и это создает возможность органического соединения членов коллектива.

А вот общество рабовладельческое если и может быть органичным, то лишь в своей свободной «верхушечной» части.

Почему мы связываем органичность со свободой? Только в условиях свободы человек может выбрать себе деятельность по духу, по вкусу, то есть не частично, а полностью «включается» в эту деятельность, а значит, в общество и жизнь.

Феодальное общество возвращается к еще более органичному состоянию. Крестьянское хозяйство весьма многообразно и гибко «включает» в себя труд хозяина и членов его семьи и является, таким образом, универсальным средством структурирования человеческой массы. Благодаря глубокому этому структурированию массы и тому, что низовой член общественной иерархии обрел человеческий статус, феодализм стал эпохой зрелости того, что мы именуем высокими словами «народ», «культура народа».

В период феодальной раздробленности могучим объединяющим фактором оказалась Христианская Церковь, но централизующее ее действие является отпечатком государствен-

ного централизма, существовавшего в рамках Римской Империи. Меж тем, уже включились и усиливаются новые центры тяготения. Медленно, но упорно они объединяют территории, этнически единые еще в доримскую эпоху. «Органичное» натуральное хозяйство со всей его организующей способностью в конце концов взрывается все тем же естественным приростом населения, в результате которого в деревне накапливаются «невключенные» – безземельные.

## 8. ГОРОД

Центром тяготения оказывается в это время замок феодала, вокруг которого селятся ремесленники и торговцы; так вырастают средневековые города. В городе развиваются ремесленное мануфактурное, а затем и промышленное производства, торговые предприятия, государственные учреждения. Все они структурируют «человеческую массу», что необходимо и для производства материальных благ, и для решения проблем общежития. Во многих отношениях городские структуры эффективны, в некоторых же, я бы сказал, дефективны. Взаимодействие людей происходит теперь в условиях гораздо большей уплотненности, скученности. И это резко приближает население города к состоянию толпы, которая есть для нас воплощение неструктурированной массы.

## 9. «В САМУЮ ТОЛЩУ МАСС...»

В нашем контексте важен один аспект: не заданное структурой и, в конечном счете, ее разрушающее соединение «пассионарных» элементов рождает *человеческую массу в собственном смысле слова* со всеми ее специфическими чертами поведения. До сих пор мы по необходимости употребляли слово «масса» не совсем верно, так, как будто она предшествует социоструктуре, последняя же накладывается сверху и массу «структурирует». В действительности, все обстоит наоборот: человек рожден как элемент бесконечно сложных систем природы, потом – общества; масса же рождается при

разложении социосистем. Масса, будучи продуктом частичного или полного распада социосистемы, остается низкоорганизованной и заключает в себе самые зловещие и опасные гравитационные потенциалы. Масса – это не народ; народ превращается в массу, когда традиционные социоструктуры разлагаются.

Интересна в этой связи эволюция революционного словаря в России: во времена Чернышевского революционная интеллигенция обращалась к крестьянству и в ее словаре доминировало слово «народ»: «народничество», «хождение в народ» и пр. Пролетарские революционеры вздохнули произносят именно слово «масса»: «трудящиеся массы», «в самую толщу масс» и т. д. Данное словоупотребление не случайно. В описываемое время разлагается крестьянское хозяйство, а промышленное создается; скапливаясь в городах, несмотря даже на частичную включенность в промышленное производство, оторвавшиеся от земли «пассионарии» соединяются в массы. Это означает постепенное и тотальное превращение «народа» в «массу» – «массовое общество». Но тут важны частности: как именно происходит урбанизация-индустриализация в той или иной стране? Так, промышленный капитализм оказался достаточно устойчив на своей родине, в Европе, где он существует до сих пор. Сегодня предсказать его гибель так же рискованно, как и во времена Маркса. А вот в таких гигантских сверхдержавках Евразии, как Россия или Китай, капитализм погиб, не успев родиться. В этом видится мне победа мощной социогравитации, отвечающей при всех оговорках размерам государств.

## 10. ОРДА

Географическое положение России, а именно евроазиатская двойственность, составляют определяющую черту ее истории. Домонгольская Русь развивается в русле истории европейской, русское Евангелие у престола французских королей – выразительный тому символ. Феодальные княжества домонгольской Руси по культуре и структуре мало чем отличаются от своих европейских соседей и резко отличаются от ведущих кочевой образ жизни соседей азиатских. Но именно в недрах Азии и именно среди кочевых племен возни-

кает в это время чудовищный по своей силе тектонический процесс, вовлекший в себя население огромных территорий.

Появление Чингиз-Хана я объяснил бы чисто физически. В начале нынешнего тысячелетия в степях центральной Азии накапливаются огромные массы кочевого народа. И если земледелие, закрепляя людей в пространстве, действительно их рассредотачивает, то кочевое хозяйство этого не делает. Благодаря своей специфике кочевое скотоводство не создает обычной инертности – устойчивых «орбит» движения.

Кочевая масса не привязана к месту недвижимостью, не отягчена таким количеством инертной материи, как оседлая, она остается подвижной и импульсивной. По всем этим причинам кочевая масса легко вовлекаема в процесс стихийного социального взаимодействия – гравитации. Реально этот процесс начинается, видимо, тогда, когда указанная масса, вырастая, уплотняется до некоторого критического предела, так что непосредственные межчеловеческие контакты становятся сильнейшей квазисоциальными. В этот момент постепенно возрастающая до толе масса быстро централизуется. Так возникает огромное деспотическое государство.

Государственные структуры древнерусских княжеств были сломаны. И результатом, как всегда в таких случаях, – была централизация! Но осуществлялась она не так, как хотелось бы завоевателям. Во-первых, потому, что вслед за захватом чужих земель племена татаро-монголов перешли к оседлости, постепенно теряя при этом свою гравитационную энергию. Империя распадалась, но начавшийся процесс централизации Руси продолжался. С теми лишь изменениями, что единственным становится внутриэтнический центр притяжения, так как он отражает собой глубокие, древние и устойчивые *взаимодействия* людей. С течением времени Москва подчиняет себе огромные территории, прежде входившие в империю татаро-монголов, так что, может быть, и правомерен взгляд на Российскую Империю как на продолжение империи Чингиз-Хана. Орда способствовала превращению раздробленной Руси в сильное и сильно централизованное государство, которое уже во времена Ивана IV или Павла I обнаруживало многие черты грядущего «сталинизма».

Важно подчеркнуть, что такое сокрушительное воздействие, как монгольское нашествие, ускорило процессы, потенциально заложенные в самом этносе, – так же, как вторжение

варваров в Рим ускорило уже наметившийся процесс феодализации составляющих империю этносов.

Имманентность реакций на внешнее воздействие выступает еще отчетливее, если обратить внимание на то, что следующий и, может быть, еще более мощный толчок к тоталитаризму Россия получила от демократического Запада. В Европе капитализм развивался медленно, постепенно и потому сумел охватить высвобождающуюся из феодального хозяйства массу достаточно органичной и прочной структурой, которая просуществовала до сих пор. Иное дело на Руси: здесь азиатский, частично от монгол унаследованный деспотизм царской власти эффективнее консервировал собственную военно-феодальную структуру. Громоотводом «пассионарной» энергии служили неосвоенные или постоянно захватываемые территории. Тем временем созревший западный капитал активно внедряется в Россию, бурно развивая промышленные центры, в конечном итоге Россию взорвавшие. Неспособность вовремя расстаться с крепостным правом приводит к тому, что в деревне искусственно задерживается масса неустроенного народа. Запоздалая отмена крепостничества позволила всей этой массе устремиться к магнитным центрам – городам. Капитализм не мог органично структурировать катастрофически растущую массу, она оставалась массой в самом тяжком смысле слова. Мировая война довершила ломку разрываемой противоречиями системы. «Массификация» народа стала безудержной, страна должна была прийти – и пришла – к состоянию, которое хочется назвать «социогравитационный коллапс».

## 11. СОЦИОГРАВИТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС

Распад социоструктур и порождаемый им броуновский хаос уместно сравнить с повышением социальной температуры. Судя по тому, что все большие космические тела раскалены, а малые холодны, температура космических тел находится в закономерной связи с их массой. Предполагается, что в некоторых космических телах гравитация столь высока, что ни одна структура уже не в состоянии ей противостоять. Тогда и возникает гравитационный коллапс – коллапсар сжимается со скоростью, близкой к скорости света (правда, время при этом замедляется настолько, что «воз не двигается с места»).

Трудно сказать, как далеко простирается сходство социальных систем с космическими, но ситуация, когда социальная гравитация превышает прочность и потому ломает социоструктуры, — дело, как говорилось, реальное и даже «будничное». Это «обыкновенная революция», характер гравитационного коллапса она принимает, когда учиняемая ею ломка начавшись уже не может остановиться. Понятно, что чем сильнее породившее революцию тяготение, тем жестче должна быть новая, революцией несомая соцструктура, способная данное тяготение уравновесить. И такая структура в революционном процессе немедленно возникает — это революционное государство, примитивно центричное, жесткое, повторяемое в каждой ячейке общества. Но дело в том, что и это удесятеренной силы государство «революционного типа» не может и не хочет остановить коллапсоидный процесс, который вступает в замкнутый круг самоподдержания.

Под давлением тяготеющих масс рушатся те из социоструктур, какие послабее, но, как правило, революции развиваются однотипно: сначала лавина устремляется вверх, ломая все, в том числе центральную структуру — государство, заменяя его новым. Революционное же государство порой оказывается настолько прочным, что в дальнейшем рушится все, кроме него самого. Примечательнее же всего то, что революционная власть сознательно или бессознательно поддерживает состояние дезорганизации и разрухи, активизируя тем самым центростремление, на котором оно зиждется.

Именно по этому рецепту власти построен монголо-российский тоталитаризм. У его истоков стоит Иван Грозный. Если Ивану Третьему еще приходилось бороться за власть с истинными соперниками, то Грозный щедро казнит невиновных. При этом убийство теряет свою обычную логику — уничтожение врага; с позиций этой логики оно становится алогичным. Это и есть начало парадоксов, что гнусным цветом расцвели уже в наш прогрессивный век. Чем алогичней уничтожение подряд врагов и друзей, тем более явна «неявная» его логика — возбуждение, высвобождение социогравитации, подпирающей власть.

Сталин, разыгрывая ту же трагедию на той же сцене, резал уже почти исключительно не врагов коммунистической власти, а творцов этой власти — коммунистов, в том числе и слепо преданных тирану. Раба казнят только для того, чтобы

внушить раболепие десяти другим, десять пускают в расход ради ста, так что в конце концов злодейство становится достойным «всенародной» любви.

Мао Цзэдун благозвучно формулирует этот принцип – «критика и сплочение». Культурная революция – ярчайший пример намеренной ломки начинающих обретать какую-то устойчивость социальных структур с целью возбудить останавливаемые ими гравитацию-централизацию. Разрушение централизованное и централизующее – таков порочный круг коллапсирующего общества.

Режим Пол Пота – видимо, пример тому, что порочный круг этот может быть достаточно прочным для того, чтобы привести к самоуничтожению общества. В данном случае самоуничтожение было прервано извне вторжением тоже тоталитарного, но менее коллапсирующего государства. Примерно то же произошло с машиной Гитлера. Внутри тиранических режимов, видимо, нет сил, способных данный режим сломать.

После Сталина массовое уничтожение людей в Советском Союзе прекратилось. Зато Хрущев в революционном пылу нещадно ломал структуры управления. Цель была не та, что у культурной революции, цель была вполне позитивная: как-то организовать дезорганизованное хозяйство. Результат получился обратный, а в усилившейся борьбе за власть грузное тело руководителя оказалось-таки недостаточно увесистым и было вытеснено. Наследники Хрущева пытались ввести реформу явно капиталистического толка, сориентировать экономику на рынок. Но встал вопрос: кто правит, правители или рынок? Правители выбрали себя, а реформу пришлось замять. Так вот, хотя сегодня адское топливо централизма, состоящее в переламывании социальных образований и людей, уже опасаются применять, все же коллапсоидное состояние советского общества продолжается. Недопущение самоорганизации – это и есть скрытая дезорганизация, питающая централизм.

Нелепость, когда разруха несет власти не поражение, а победы, поражает многих мыслителей. Солженицын видит в этом некую метафизическую силу коммунистической идеологии, мы же видим в этом физический закон социальной гравитации.

В самом деле, разрушение и смерть, несомыые тоталитаризмом, логически должны породить всеобщий протест, предопределить смену власти, строя. И протест есть, и он достаточно всеобщий, как, впрочем, и идолопоклонство коммунистическим богам. Однако тоталитарная власть почему-то страдает от протеста так же мало, как от собственной бесхозяйственности. Напротив, с видимой пользой проглатывает она очередную стаю «карасей-идеалистов», довольная тем, что «отступников» не надо придумывать (как то приходилось все время делать Сталину).

Население земного шара все время растет и все время концентрируется в городах. Эта сквозная победа социальной гравитации, увенчанная апокалипсической реальностью современного тоталитаризма, дает достаточно оснований услужливой нашей фантазии, чтобы нарисовать гибель человечества в пучине гравитационного коллапса. И еще: поскольку жизненной и смертельной энергией социального коллапсара становится разрушение, то напрашивается сравнение с процессом старения-умирания живого организма, когда диссимиляция начинает преобладать над ассимиляцией.

И все же не будем, «мрачному предавшись пессимизму», сгущать краски. Надо сказать, что роковое нарастание социогравитации отнюдь не всегда приносило одни только беды. Собирая людей в сообщества-этнoсы, концентрируя их в городах, гравитация вершит саму историю и культуру, прежде чем приводит к стадии антикультуры.

Важно и другое: возрастание и концентрация человеческих масс не ведет автоматически к пропорциональному росту тирании. Трудно мерить свободу, но, даже будучи скептиком, нельзя утверждать, что сегодня человек менее свободен, чем в прошлом. Это говорит о том, что силы гравитации достаточно эффективно сублимируются в структурах современного общества.

Так, если феодализм умел рассосредоточить людей в замкнутых пространствах, то капиталистические империи чудесно умецаются в одном и том же пространстве, как бы на разных его уровнях. Свободно контактируя и разделяясь друг с другом, они умеют организовать гораздо бoльшие человеческие массы.

## 12. ОТ ФИЗИКИ В ЛИРИКУ

Мы вынуждены были сосредоточиться на отношениях социофизических сил с социальной структурой, лишь вскользь касаясь их связей с культурой. Между тем, эти связи быть может наиболее интересны, ибо духовное – главная ценность и высший объект познания. Связь социофизики со сферой духа более опосредована. Об общем принципе такой связи говорилось: социосилы формируют социоструктуры (и борются с ними), структура формирует культуру.

Первое централизованное государство – Египет. Сравнительно плотная заселенность малого пространства обусловила раннее проявление сил гравитации, а отделенность – пустыней и горами – от соседей позволила безраздельно господствовать этим силам. Искусство стилевой структуры повторяет структуру общественную. Пирамиды с их замкнутостью, центричностью, жесткостью прямо-таки повторяют пирамиду общественную и могут быть символом данной культуры. Но всегда ли можно говорить о подобии социальной и художественной структур? Можно сказать, что всегда, но нужно учесть, что внутреннее сходство (изоморфизм) чаще всего предстает внешней несхожестью и даже противоположностью. И если бы нам удалось наметить самые общие и приблизительные направления обсуждаемой связи, мы считали бы свою задачу выполненной.

В противоположность замкнутой древнеегипетской, античная цивилизация произрастает посреди Средиземного моря, которое и связывало греков с многочисленными и разными соседями. И разделяло, предохраняя от слишком тесных объятий. Видимо, именно это позволило эллинам и полноценно общаться, и сохранять свою самостоятельность – мощный фактор культурного расцвета.

Небольшая территория очагов античной культуры – небольшая масса людей – умеренная гравитация. В этом, как мы предполагаем, вообще причина противостояния европейской демократии азиатской (и отчасти африканской) деспотии.

В конце XVIII века разразилась Французская революция. Много крови – мало искусства. Робеспьер, потом Наполеон олицетворяют собой весь комплекс стремления к власти и тиранического ее осуществления.

Но революции предшествует век просвещения, век подлинного духовного взлета. И если революция в социофизике понимается как высвобождение сил гравитации из оков государственной структуры, то культурную, идеологическую ее подготовку логично рассматривать как начальную активизацию тех же сил. Зафиксируем: гравитация, нарастая, рождает этап созидания и культуры, а затем разрушения – антикультуры. Касательно первого этапа можно не только сказать, что это количественный рост духовной активности, но и в общих чертах определить характер возникающей здесь культуры. Она ориентирована в настоящее, будущее, и потому в ней сильны элементы делового, реалистического, атеистического толка.

Римская Империя клонилась к упадку, когда приняла в качестве официальной религии прежде гонимое ею христианство. Акция эта, конечно, не была безотносительна к политике. Единобожие, если не по сущности, то по политической своей функции, явилось утверждением государственного централизма. (Интересно, что религиозный централизм усиливается именно тогда, когда политический неустойчиво слабеет.)

Христианство не помогло Риму выжить, но с ним не погибло. Напротив, восстав из пепла, на развалинах империи оно построило новую «Священную Римскую Империю», на несколько веков стало самой влиятельной политической и идеологической силой Европы. Правил империей теперь не император, а Папа, но несомненно, что власть, вся система Римской Церкви хранят в себе связи, силы прежней империи и являют собой ее идеализированное бытие. Тут достаточно очевидно, что межэтнические силы, видимо, создавшие некогда саму империю, будучи оттеснены затем внутриэтническими, остались активными и перешли в более высокий – религиозный регистр. Хотя бы в качестве мысленного эксперимента позволительно экстраполировать данный пример на менее или совсем «неочевидные» пласты истории.

Родилось единобожие не в Риме и никак не сводится к какому бы то ни было его отображению. Зигмунд Фрейд предположил, что родина монотеизма – Древний Египет, а Моисей – египетский жрец времен Эхнатона. Египет – древнейшее централизованное государство; логично предположить, что централизация религии произошла именно здесь. Мало на-

дежд на то, что археология прольет свет на биографию Моисея, поэтому в поисках ответа на вопрос приходится полагаться на логические схемы. Кем бы ни был Моисей – египтянином или евреем, – с позиций социофизики следует акцентировать обстоятельство, которое в Библии и в еврейской истории также оказывается на первом плане. Я имею в виду географическую сориентированность монотеистических религий.

Библия выделяет евреев как особый народ в момент, когда группа людей непонятно почему покидает Ур халдейский, дабы отправиться в землю Ханаанскую. Лишь позже говорит Бог с Авраамом и заключает с ним союз, по которому род Авраама получает клочок ничем не примечательной земли и берет на себя миссию хранить Завет Божий.

В дальнейшем связь единого Бога с означенным кусочком земли оказывается непропорционально сильной.

Авраам, авар (перешел – ивр.), еврей... похоже, что в самом слове «еврей» скрыт корень «переходить»; во всяком случае, получив непосредственно от Бога землю, и Авраам, и его потомки не укрепились на ней достаточно прочно. Авраам сколько живет, столько переходит с места на место. Потом, едва обжившись в своей земле, евреи оказываются в египетском плену. Второе рождение народа похоже на первое, сотворено тем же устремлением к той же земле. Через века, материки, муки пронесли евреи верность Завету, и всегда мысль о Боге неотделима от мысли о клочке земли, клочке свободной независимой истории. «Если я забуду тебя, Иерусалим!..» Разве не очевидно здесь, что религиозный экстаз питается теми же силами, которые мы понимаем как социофизические?

История не уничтожила эти силы, но вытеснила в сферу религии, она же показала, что сублимированные таким образом силы могут снова реализоваться, неизменно теряя при этом религиозный накал. Политический сионизм атеистичен, а самая религиозная партия Израиля – антиссионистична. Также и во времена Моисея: близкий Богу, сам он в Израиль не вошел.

Если остаться при мысли, что религия есть некая ретроспектива, которая конвергируется с фокусом этническо-социальных сил, то следует предположить такой фокус и там, где он непосредственно не просматривается. И за первым исходом евреев из Халдеи следует предположить забытый пласт этнической истории в земле еще тогда, видимо, не

Ханаанской. Библия прямо не говорит об этом; листаемая назад, она раскрывает перед нами страницы самой ранней истории. То история нееврейская, но характерно, что в ней Бог говорит с людьми так, как впоследствии говорит только с евреями. Это связывает еврейскую историю с допотопной, а евреев – с Богом в эпоху всеобщего язычества. Универсальность еврейского Бога не допускает его изображения. Единобожие сегодня обняло весь мир не потому ли, что оно – коллективная память об истинно судьбоносном, что свершилось и не умерло в нас? Встреча с пришельцами из космоса, как предположила группа советских ученых? Встреча с Богом, о которой говорит Бубер? Или то память о сотворении мира и людей, о чем говорит Библия? Тогда евреи – те, кто почему-то стали носителями памяти, – исходят отовсюду, чтобы вернуться в страну наипервейшего исхода людей. Именно грех первородный должен был изгнать людей из колыбели в новые и уже потому тяжкие условия, и разбросал Бог по земле, и смешал языки, но так, что язык далекой России чуть ли не наполовину состоит из общих с ивритом корней... Может быть, точка схода гравитационной ретроспективы окажется также фокусом такой же перспективы? Некоторые признаки тому имеются.

ЗАБОРОВ Михаил – родился в 1937 г. в Минске в семье художника. В мастерской отца рано начал заниматься рисунком, живописью, лепкой. В 1968 году закончил искусствоведческий факультет Минского художественного института. В Советском Союзе публиковался в журналах и сборниках по искусству, с 1975 года – член Союза художников СССР. В 1978 году организовал в Минске теоретическую конференцию по проблемам искусства, в связи с чем был подвергнут разносу, при котором был обвинен в «проповеди антисоветских идей и сионизма».

В 1979 году эмигрировал с семьей в Израиль, где преподает скульптуру и рисунок в Художественном институте Тель-Авива и в специальной художественной школе. Печатается в русскоязычной прессе.

Несколько лет тому назад Михаил Заборов организовал домашний системологический семинар. В основу публикуемой статьи положен один из докладов, прочитанный Михаилом Заборовым на этом семинаре.

# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

## «КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг  
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.  
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis · Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

# Восточноевропейский диалог

Милован Д ж и л а с

## АЛБАНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Коммунистические государства всё еще во многом похожи, а то и тождественны. Но они уже и сами, каждое для себя и довольно давно, сознают неизбежность различного внутреннего развития – да и различной их роли в мире. Югославия, нет сомнения, первой осознала эту неизбежность, после разрыва с Советским Союзом в 1948 году.

Албания же исключительна и на фоне остальных коммунистических государств. Ее внутреннее устройство и ее внешнеполитическое положение не просто своеобразны: албанское устройство ближе всего к тому, что сегодня определяется как «сталинизм», а ее закрытость (закрытость, а не просто изолированность) – такая полная, какую только можно вообразить. Албания – во всяком случае, пока был жив Энвер Ходжа, – единственная коммунистическая страна, которая претендует не только на строжайшую идеологическую последовательность, но и на роль самого последовательного стража и пропагандиста идеологии. При этом она, естественно, демонстрирует свое устройство как самое совершенное, а свое население – как самое счастливое. Такой «последовательности» и таких претензий уже не проявляет – по крайней мере, в столь оголенной, безапелляционной форме – даже Советский Союз. В этом Албанию больше всего напоминает Северная Корея – конечно, в своем варианте, подчеркнуто национальным, а не всемирным.

Именно эта албанская идеологическая «последовательность» – последовательная, разумеется, и в истреблении унаследованных и нововозникших «уклонов» – дала плоды, которых никто не предвидел, а меньше всего – албанские идеологические власти предрежащие: формируется своеобразный албанский национализм.

Албанский интернационализм не избежал своей, национальной судьбы. Более того, албанский интернационализм –

конечно, благодаря тоталитарной закрытости албанского режима – стал скрытым вариантом албанского национализма. Национализма нового как идеологически, так и социально. Иначе и быть не могло: в стране слабо развитой, а притом оказавшейся в одной компании с развитыми и сильными коммунистическими государствами, монополизм коммунистической партии (Албанской партии труда) можно было сохранить только с помощью своеобразной, «албанской» ортодоксальности и албанских форм «социализма».

На этом пути албанское руководство – подобно всякому тоталитарному режиму – впадало в безграничную жестокость и бессмысленные ограничения. Каждую фазу «албанской идеологии» – а этих фаз было немало – отмечали кровавые чистки, концлагеря и постоянное расширение монополии партийной бюрократии. Албания превращена в самую идеологическую и «самую социалистическую» страну – самую неплюралистическую, самую бюрократическую.

Отсталость и слабость страны, с одной стороны, и идеологический фанатизм – с другой, заставили албанское руководство предпринять в духовной области такие меры, на которые не решилась ни одна другая страна: полностью запретить религию и религиозные культы. Церкви и вероисповедания страдали от многих революционных войн. Но такой абсолютный запрет был невообразим – пока не осуществился в Албании.

Но следует понять, что запрет религии и культов – в большей степени проявление албанского националистического «коммунизма», чем исходного отношения Маркса или Ленина к религии как к заблуждению и орудию правящих классов.

Резюмируем: под водительством и при культе Энвера Ходжи в Албании с помощью словесного и схематизированного ленинизма и иллюзорного интернационализма развился своеобразный национализм. В этом Албания отличается от других коммунистических стран лишь тем, что ее национализм нетерпимее и агрессивнее. Ровно настолько, насколько албанский коммунизм вернее доктрине – «интернациональнее», «последовательнее», тоталитарнее.

Именно настолько и в этом смысле албанское устройство и «албанская идеология» есть явление новое. Терминологически ближе всего было бы назвать это «сталинистским фашизмом», «сталинистским расизмом» – это особенно видно

в нетерпимости албанских властей по отношению к своим меньшинствам и к соседям, куда распространяется их влияние (например, они используют расистские методы для подстрекательства албанского меньшинства в югославской автономной области Косово).

Но постараемся и албанскому руководству, или албанскому «коммунизму» воздать по правде и по справедливости! Для меня это еще и особый долг – как для гражданина страны, у которой запутанные проблемы с Албанией и албанцами. Тем более – как для личности, которая, будучи в коммунизме бунтовщиком, легко может впасть в злобную необъективность. Я хочу сказать, что, возможно, термины «сталинистский фашизм» и «сталинистский расизм» – как и большинство терминов – упрощенно изображают идеологию албанского руководства. Но любой объективный анализ, несомненно, подтвердит, что эта идеология – более того, практика, вдохновленная этой идеологией, – охраняется и сохраняется с помощью национализма, исключительного настолько, насколько он в этой стране тотальнее гнетет.

В Албании воистину укрепился один новый правящий класс, или новый общественный строй, отличающийся от аналогичных в других коммунистических тоталитарных странах еще более тоталитарным догматизмом и гнетом.

Нет сомнения, что условия, в которых албанские коммунисты должны были отстаивать свою власть, играли огромную, хоть и не исключительную роль в формировании албанского, сталинистско-фашистского варианта «социализма». С большим трудом и меньшей достоверностью можно определить, каковы корни этого, именно такого устройства в истории и образе мыслей самого албанского народа. На мой взгляд, албанский коммунизм – который явился последствием революции, а не советской или другой интервенции – имеет и национальные корни. Это замечание я считаю весьма важным: покуда не осознаны национальные корни коммунистических революций – нелегко, а то и совсем невозможно выстроить новое, освободительное сознание «коммунистических» наций.

Для размышлений над этим Албания является поучительным и плодотворным примером.

Не только албанский коммунизм – явление обособленное, но и сами албанцы – народ исключительный: и происхожде-

нием своим, и жизнеспособностью, и историей, и почти полной этнической замкнутостью.

Наука до сих пор не установила, когда и откуда пришли албанцы на свою нынешнюю родину: твердо известно, что они обитали на Балканах до прибытия туда древнегреческих племен. Хотя албанский язык тоже обособлен, лингвисты установили, что он относится к индоевропейской семье. У историков преобладает взгляд, что албанцы происходят от иллирийцев, этнически родственных между собой племен, распространившихся на значительную часть Балканского полуострова. В эпоху переселения народов Балканский полуостров много раз подвергался нашествиям. Иллирийцы постепенно исчезают, уступая место славянам (кроме румын, приобретших романский язык под влиянием римской колонизации). Иллирийский язык до наших дней остается неизвестным, так что албанский мог быть связан с ним.

В доказательствах иллирийского происхождения албанцев особенно ревностными были «ученые» и ученые сегодняшней Албании: хотя их доказательства выглядят правдоподобными, за их непримиримой и злой категоричностью обнаруживается идеологически-националистический экспансионистский дух хозяев Албании.

В XV веке, во время нашествия турок, албанцы под водительством Кастриота проявили исключительное упорство и храбрость. Даже сумев наконец их покорить, турки существенно не изменили их социальную феодально-племенную структуру – им лишь удалось обратить большую часть албанцев в ислам. Албанские племена защищали свою автономию и свое уникальное устройство (законы Леки Дукаджина), временами и с помощью вооруженного сопротивления.

До нового времени и национальных восстаний балканских народов (сербы, греки, болгары) албанцы дожили в рамках своей патриархальной структуры. Развитие албанцев настолько отставало по сравнению с другими балканскими народами, что феодалы и племенные вожди в поисках защиты от национальных революций соседних народов часто находили свои «национальные» интересы в укреплении связи с Турцией. Помехой албанскому единению и самоопределению были и значительные различия между северными племенами (Гега) и развитым югом (Тоска). Так тысячелетняя структура, в рамках которой сохранилась этническая обособленность ал-

банцев, со второй половины XIX века стала на пути национального единства албанцев.

Разрушение турецкой империи на Балканах в результате Балканской войны 1912 года создало и албанцам условия для общенационального движения и создания своего государства. Движение это было наиболее сильным и зрелым на юге, где был больше развит слой национальной интеллигенции, – югу достанется главная роль и в революции 1941-45 гг. В создании албанского государства (1912-13) были заинтересованы и сыграли свою роль также и великие державы, в особенности Австро-Венгрия.

Окончательно албанцы слились в современную нацию – нацию с единым национальным сознанием и единственной государственной властью – только во время революции 1941-45 гг. В Албании, как и в Югославии, революция совершилась в ходе борьбы против оккупанта. Но это очевидное сходство скрывает существенную разницу: в Югославии революция происходила среди наций, уже более оформленных, в то время как в Албании революция одновременно была завершающим шагом национального единения. Эти страны, хоть и обе – коммунистические, главным образом из-за этого позднее и пошли разными путями: Югославия – к рыночной экономике и расслоенному обществу, Албания – к бюрократической экономике и закрытому обществу.

Коммунистическая идеология и стабилизация партийной бюрократии как правящего слоя столкнулись в Албании с объективным, стихийным процессом национального единения. Многие албанцы в этом процессе были жертвами идеологических безумств, многие традиционные албанские ценности были уничтожены. Но этот и именно такой процесс дал фанатическое упорство и самоуверенность албанскому правящему слою. Марксизм-ленинизм и коммунисты канализировали к себе и в себя процесс национального единения: коммунисты всё больше сознавали, что от этого зависит сохранение их власти и их монополистического положения.

Одновременно происходило и внутреннее социально-экономическое преобразование Албании: старые классы были уничтожены, общество унифицировано, личности в обществе обращены в рассеянные атомы, собственность «коллективизирована», произведена кое-какая индустриализация. Иностранные наблюдатели обычно замечают, что в Албании нет

ни голодных, ни богатых. Надо проявить сдержанность по отношению к этому тоталитарному раю, ибо его действительность может показаться такой же, если не хуже, чем в Китае времен «культурной революции». Албания, несомненно, остается, несмотря на свои достижения в индустриализации, самой отсталой европейской страной.

Мы не должны упускать из вида, что экономический прогресс в Албании развивается неотрывно от национального единения. «Социализм» (т. е. технические преобразования) создается не одной только партийной бюрократией, но и слоями, затронутыми индустриализацией, как национальное становление и укрепление.

Аналогичное положение и в культуре и просвещении: албанский националистический коммунизм в этих областях совершил преобразования, которые привели и к подлинным достижениям (например, сочинения писателя Исмаила Кадаре).

Вопрос в том, прекратилась ли связь партии и нации со смертью Энвера Ходжи.

На этот вопрос не дашь однозначного ответа.

Так называемый культ личности в коммунистических странах не угасает одним и тем же способом: только догматики антикоммунизма, для которых коммунизм в разных странах совершенно одинаков, предсказывают, что культ повсюду угаснет так, как угас культ Сталина в Советском Союзе. Это не подтвердилось ни в случае Мао Цзэдуна в Китае, ни в случае Тито в Югославии. Отмирание культа, конечно, происходит и в Китае, и в Югославии, но по-своему: эти страны не тождественны Советскому Союзу, как Мао и Тито не были идентичны Сталину – ни как личности, ни по своей роли.

И отмирание культа Энвера Ходжи будет происходить на свой, албанский манер: безумная жестокость его времен постепенно смягчится, притом это произойдет по причинам национального развития и национального самоутверждения, но заслуги и роль Ходжи в национальном единении и становлении нации будут признаны. Иными словами: ослабеет, обесмыслится марксизм-ленинизм Ходжи и монополизм партийной бюрократии, а укрепится национальный компонент, на который Ходжа и бюрократия опирались. И албанское руководство увидит, как смехотворны его претензии играть роль всемирного очага революции. Ослабнет и албанский нацио-

нальный экспансионизм, приобрета, в ходе внутреннего развития, более изощренные формы и более рациональные мотивировки.

Но эти перемены – это отделение жизни общества от монополистической бюрократии – не произойдут, ввиду жестокости и закрытости системы, ни быстро, ни без потрясений.

Внутренняя закрытость защищает и будет защищать албанскую систему и албанскую политическую бюрократию от влияний с Запада в большей степени, чем от влияния коммунистических систем с Востока. Поэтому на первой стадии Албания будет скорее открываться на Запад, чем на Восток. Но и в этом – в национальном и экономическом укреплении – Албания сумеет создать равновесие. Албанское государство и албанский национализм скорее окрепнут, чем ослабнут, в процессе ослабления созданной при Ходже системы власти и идеологии.

Если существуют – а они существуют – иллюзорные надежды на быстрое и фундаментальное преобразование албанской системы, еще более иллюзорно ожидать, что албанский национализм угаснет и албанцы вернуться к своему дореволюционному, племенному, полукOLONIALьному существованию.

*Август 1985*

## **«ЧТОБЫ ПОЛЬША БЫЛА ПОЛЬШЕЙ»**

– первая антология стихов русских поэтов о Польше. Составители – *Эм. и О. ШТЕЙН*, США, 1985 г.

Цена – 8,5 доллара.

Заказы и чеки направлять по адресу:  
*E. Sztein, 594 Chestnut Ridge Road, Orange,  
Conn. 06477, U. S. A.*

# СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

## Председателю Вилли Брандту

Уважаемый товарищ Вилли Брандт!

К Вам обращается Ваш ровесник – семидесятилетний человек и старый русский социалист.

Я, верующий христианин, сын Русской православной церкви, ко всеобщему удивлению стал под знамя социализма еще когда мне было 18 лет. Я присоединился тогда к остаткам Русской Партии Социалистов-революционеров. Я сотрудничал также и со сторонниками социал-демократии.

Все мои товарищи давно погибли в лагерях и в советских тюрьмах, но про себя я могу сказать словами Герцена (русского правдолюбца и первого русского социалиста): «Я стою под тем же знаменем, которому не изменил ни разу».

И вот теперь, к концу жизни я дожил до великих дней. В России пробуждается молодежь. Они с презрением отворачиваются от деспотического режима, лживого и преступного, и выступают против него открыто, идут за это в тюрьмы и сумасшедшие дома. Верующие христиане, убежденные демократы, пламенные социалисты.

Телеграф приносит все новые и новые вести, вести печальные и радостные, незабываемые и трагические. Последняя весть: осужден Александр Чукаев – член социал-демократической группы в Москве. Приговорен к 12 годам заключения доктор Евгений Анцупов, который безрезультатно обращался к Вам из лагеря. Осуждены еще многие русские социалисты.

К Вам не раз обращались с просьбой за них заступиться. Но Вы молчите. Впрочем, нет, Вы не молчите: Вы бегаєте на поклон к Горбачеву. Лижете у него руки и ноги (можно бы выразиться по-рабочему еще более резко).

Неужели Вы не понимаете, что если он придет в Германию, то его приверженцы Вас первым повесят или сгноят в сибирских лагерях? Но, видимо, лавры гитлеровских прислужников Лебе и Вельса Вам не дают спать. И вот, Вы выслуживаетесь перед Кремлем, танцуете перед Горбачевым, создавая при помощи продажных журналистов ореол этому заурядному провинциальному парторботнику, случайно выплывшему на поверхность. Но русские рабочие и интеллигенты Вас осудят. Осудят Вас и рабочие массы и в Европе и в Германии.

И я, русский социалист, вместе с ними требую:

1. Прекратите позорные заигрывания с деспотами, угнетающими и закабляющими рабочий класс СССР.
2. Требуйте немедленного освобождения Ваших товарищей Александра Чукаева и Евгения Анцупова, талантливейшего рабочего-самоучку, писателя и художника Михаила Зотова, замечательного деятеля – вечного узника Владимира Гершуни (племянника великого русского революционера Григория Гершуни), литератора – благороднейшего человека, христианского демократа Валерия Абрамкина, другого талантливого писателя Юрия Грима.
3. Мучеников за Христа: православного священника Глеба Якунина, томящегося в Заполярье, в ссылке, и верующих христиан, молодых ученых: Владимира Пореша и Александра Огородникова.

Требуйте их освобождения. Или уйдите от политической деятельности, чтобы не позорить социалистическое рабочее движение, знаменем которого всегда являлись борьба с тиранией, демократия и социалистический гуманизм.

С товарищеским приветом и товарищеским возмущением,

*Анатолий Левитин (Краснов).*

Русский писатель-эмигрант. Христианин и социалист. Узник советских лагерей, проведший 10 лет в заключении.

47, Maihofstrasse, 6006 Luzern, Schweiz.

# Запад – Восток

Лючио Л а м и

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР БОЛЕН

Вот уже шесть лет, как я путешествую вдоль границ, определенных в моей книге как «пределы империи», т. е. в зонах, где сталкиваются Восток и Запад. Я имею в виду Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Иран, Афганистан, Ирак, Эритрею, Аравийский полуостров, Сирию, Ливан, Красное море, Чад, Персидский залив и страны Магриба.

На мой взгляд, нет в мире иной зоны, где Большая дезинформационная машина работала бы более напряженно. Признаем сразу, что питает эту машину не один лишь Советский Союз, но и Запад, который относится к вопросу с каждым днем легкомысленнее.

Дезинформация осуществляется различными путями: срывается работа журналистов там, где существуют факты, которые желают скрыть; газетам преподносится ложная или искаженная информация; журналисты отбираются по признаку политической настроенности, и въездные визы выдаются лишь тем, кто признан «податливым».

Кроме того, лавина дезинформации распространяется самими журналистами. Иногда это происходит в силу недостаточной профессиональной подготовки, чаще – из стремления соответствовать «модным» политическим взглядам; иногда – для того, чтобы избежать самокритики по поводу бывшего непрофессионализма; и почти всегда – от сознания, что отчитываться ни перед каким судом не придется.

Философ Эрик Хоффер писал: «Одна из удивительнейших привилегий интеллектуалов состоит в том, что они могут вести себя скандально глупо, несколько не портя тем самым своей репутации. Те, кто воспевал Сталина в то время, когда он истреблял миллионы невинных соотечественников и уничтожал самое понятие свободы, никак себя не дискредитировали. Они до сих пор выносят на публику свои рассуждения».

Я могу добавить то, что знаю по личному опыту: те, кто писал в свое время, что Вьетконг освободил и сделал счастливым вьетнамский народ, нынче что-то не спешат туда возвращаться. Я их так же тщетно ждал в Сонг-Кхле, на юге Таиланда. Туда все еще прибывают беженцы из Вьетнама, несмотря на возмутительную дезинформационную кампанию, развернутую тайландцами при пособничестве Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. На совести этого комиссариата, насквозь инфильтрированного коммунистами Западной Европы и Третьего мира, лежит тяжелейшая часть ответственности за насильственную репатриацию камбоджийцев и лаосцев, бежавших от коммунистического строя в Таиланд. Приняв в этой репатриации свмое деятельное участие, комиссариат запятнал невинной кровью Нобелевскую премию мира, недавно им полученную. Нам неизвестно в точности, сколько репатриированных погибло в кровавой резне, устроенной сторонниками Вьетнама в Лаосе и Камбодже, как неизвестно и то, скольким детям удалось избежать репатриации в страны Восточной Европы для промывки мозгов. Я понял, что ООН вкупе со Вьетнамом и Москвой и при молчаливом сообщничестве Запада окружила этот вопрос завесой молчания.

Комиссия ООН, посланная в 1981 году в Юго-Восточную Азию для расследования вопроса об использовании вьетнамцами ядовитых газов, была соответственно подготовлена советским генералом и дальше своего носа не заглядывала. Однако представители международной прессы, последовавшие за комиссией ООН, также пронизательностью не блистали и, похоже, поверили тем, кто приписывал смерть лаосцев ядовитым выделениям неких бабочек. Когда в 1982 и 1983 годах я тайно отправлялся в зоны, где использовались ядовитые газы, я с сожалением отметил, что мои коллеги и попутчики отказывались проникать в эти пределы.

В местности Панат Никон, куда я проник нелегально, я проинтервьюировал вьетнамского капитана Нгуэн Куана, принадлежавшего к вьетнамской химической службе (интервью это было заснято на пленку). Нгуэн Куан рассказал мне с большими подробностями о том, где он проходил военную подготовку, где воевал, какие применял газы. Он сказал мне, что 75% химического оружия поставляется Вьетнаму Советским Союзом, но используется также и то, которое во время

своего бегства бросила на месте американская армия. Эти заявления Нгуэн Куана американцы давно уже имели в своем распоряжении, однако их не публиковали: не хотели вновь поднимать вопрос о резервах американского химического оружия, оставшихся во Вьетнаме. Таким образом, американцы активно содействовали возникновению сомнений относительно употребления вьетнамцами ядовитых газов; а я в это время своими глазами видел в Лаосе и Камбодже, в барачного типа лазаретах, отравленных газами людей. Возможно ли, чтобы широкая пресса действительно ни разу ничего не учуяла? А что сказать о лагерях беженцев в Таиланде, куда невозможно войти без провожатого и где ночью беженцев предоставляют самим себе? В этих лагерях герилья силой вербует молодежь, устраивая над непокорным показательные расправы, вплоть до распятия ( у меня есть фотографии). Из этих лагерей выкрали и заставили заниматься проституцией десятки тысяч девочек, а организации при ООН не в состоянии дать объяснение их исчезновению.

Почему молчит широкая пресса, почему Юго-Восточная Азия не становится целью массового паломничества представителей международной прессы?

Что можно сказать о том директоре лагеря беженцев, которого я открыто обвинил в том, что он игнорировал доказательства проведения вьетнамцами химических опытов на детях, как на подопытных кроликах, – и который теперь работает на одну из крупнейших ежедневных газет в Америке? Могут ли эти газеты пролить свет на то, что происходит сегодня в Юго-Восточной Азии?

Отвратительнее всего, когда распространения дезинформации добиваются угрозами. Мне угрожали, когда я описал советское проникновение в Иран, и визы в Тегеран мне больше не дают. За то, что я пешком прошел 750 км с афганскими повстанцами, я скорее всего не смогу больше туда отправиться, не рискуя разделить судьбу моего французского коллеги Абушара. Но даже эти факты не кажутся мне столь невыносимыми, как некоторые другие. Например, мне представляется гораздо более печальным следующий случай. Французский фотограф Жак Шарлас работает для крупных американских еженедельников. Он был вместе со мной в Афганистане. Вернувшись, он не смог пристроить привезенных оттуда фотографий, хоть по их поводу и выражались шумные

академические восторги. Афганистан «неинтересен» американской прессе. В прошлом месяце Жак хотел ехать со мной в Эритрею, куда я собирался на две недели. На этот раз он навел предварительные справки, и его газеты ответили, что «эта тема никого не интересует». Значит, пока весь мир плачет в жилетку Менгисту и отправляет тонны продовольствия в Эфиопию, Аддис-Абеба может спокойно морить голодом эритрейцев и совершать на них военные нападения, хотя ООН вот уже двадцать лет как признала за ними право на самоопределение. Эритрейцы умирают от голода: помощь, посылаемая Эфиопии, в самом лучшем случае достигнет нескольких контролируемых эфиопскими властями городов. А что происходит в глубине страны, в зонах, занятых патриотами? Об этом – никаких вестей. Так кто же настоящий виновник дезинформации? Менгисту? Его кубинские наемники? Его восточногерманская секретная служба? Марксисты-йеменцы его «гвардии»? Московские кумовья? Или – вульгарное, рабское и псевдопацифистское пособничество Запада?

Западу страшно, он отворачивается. Армия журналистов, за двадцать лет приученных возмущаться лишь американцами во Вьетнаме или Пиночетом в Чили, не знает, как отнестись к печальной реальности, воплощенной в этой человеческой бойне, большую часть которой составляют страны Третьего мира, где эксперименты уже провалившегося марксизма стоят потоков крови. Пережив провал «своей» идеологии, слишком многие журналисты обращаются к другим темам. Слишком многие в том, что касается, например, Вьетнама, отказываются смотреть в глаза собственной совести и отвечают, как ответил мне Стивен Розенфельд, один из руководителей «Вашингтон пост»: «Не хотите же вы, чтобы мы сыпали соль на собственные раны». Как животные, подчиненные стадному инстинкту, представители органов информации почти всегда присутствуют или отсутствуют при определенных событиях, словно следуя какому-то тайному зову, который ничего общего не имеет с их долгом информировать население. Так, мы видим, что это стадо присутствует в Сабре и Шатиле, но зато несколько месяцев спустя отсутствует в Шуфе, где над христианами была учинена резня намного страшнее той, жертвами которой были палестинцы.

Почему это происходит? Идеология портит зрение. Информационный мир болен. И, по трагической иронии судь-

бы, болезнь эта достигает наивысшей своей точки именно в тот момент, когда развитие технологии вот-вот должно смести все преграды на пути информации.

Два года назад, летом, я имел случай посетить Стэнфордский университет в Калифорнии. Это было время каникул, но большой конференц-зал был до отказа переполнен именитыми гостями: более ста издателей, владельцы периодических изданий и телевизионных программ собрались в стенах, где когда-то учились, на конгресс, посвященный свободе прессы. В качестве председателей были избраны два человека большой личной и профессиональной честности: эссеист Норман Адаиса, 68-ми лет, и миссис Роз Бирд, верховный судья Калифорнии. Последняя открыла конференцию заявлением, которое звучало, как обвинительный акт: «Работникам американской прессы, – сказала она, – пора уже перестать водить общественность за нос».

Как мне объяснил Гарри Пресс, руководитель журналистского факультета университета, издатели были весьма обеспокоены новым массовым феноменом: средний американец относится с одинаковым недоверием как к политическому, так и к журналистскому миру. Специалисты утверждают, что такое положение вещей является результатом борьбы между властью государственной и властью прессы после вьетнамской войны и дела Уотергейт. «Пресса, – сказал он, – ведет себя сегодня как оппозиционное правительство, как власть, чей смысл существования заключается в противостоянии конституционной власти, избранной народом. Современный журнализм – так называемый «ниспровергающий» журнализм, который пережил свой расцвет после вьетнамской войны и падения Никсона, – доказал, что пресса является ныне не средством информации, а самостоятельным ядром политической власти. «Вашингтон пост» – это не либеральная газета, как считается; это антиправительственная газета. Она расстреливала обоих Кеннеди так же, как и Никсона, но его она расстреляла в упор, потому что он не сдавался. К этой борьбе издатели почти не причастны: власть прочно захватила та интеллигенция, что создала мафиозоподобную монополию на информацию – от университетов до издательств, от телевидения до радио. Тот факт, что мафия эта принадлежит к левым, – чистая случайность».

Самое прелестное в этом «захвате власти» – то, что американские органы информации никак не располагают к прямой лжи. Великая подтасовка фактов возникает благодаря определенному отбору новостей, а также благодаря определенным техническим приемам подачи информации. Действительно, на сегодняшний день доказано, что чем дальше развиваются технологические средства распространения информации, тем больше возрастают возможности контроля общественного мнения.

Подбор новостей, время, уделяемое тому или иному событию, выбор заголовка – все это позволяет «обработку» читателя гораздо более тонкую, чем откровенная подделка или ложь. Методы эти распространены не только в Америке, но и во всем мире – в Италии, например, где они весьма эффективны, ибо в применении их достигнута виртуозная ловкость. Например, итальянское общественное мнение было буквально загипнотизировано проблемами Чили и Сальвадора, которые были непомерно раздуты прессой. При этом события в Лаосе и Камбодже были попросту замолчаны. В результате, молодежь выходит на демонстрации в защиту народов Южной Америки, а о массовых убийствах, происходящих в Лаосе и Камбодже, не имеет и тени представления.

Принципы, на которых строится работа средств массовой информации, многочисленны и разнообразны, но все они так или иначе связаны с влиятельностью органов информации: забота об интересах корпорации, защита интересов определенного печатного органа, поддержка политических покровителей, обожествление «моды», которую сама же корпорация создает для поддержки собственного авторитета. мода на сенсации есть плод системы свободной конкуренции, но она служит и средством давления. «Любому журналисту или политику, – сказал Гарри Пресс, – известно, что был и другой американский президент, точно так же, как и Никсон, прибегавший к телефонным подслушиваниям. Просто пресса почему-то не сочла еще нужным поднять скандал по этому поводу».

Подобное отношение к делу одинаково широко распространено как в Америке, так и в Европе. Положение усугубляется напряженными отношениями между политическими блоками, а также советской инфильтрацией культурного мира Запада. Все чаще используются сообщения агентств печати, репортажи делаются все более сжатыми, объем их мельчает

(якобы отвечая «спешке» читателя), везде чувствуется стремление к обобщениям, к некоему панибратству с читателем, стремление подать информацию в «привлекательном» виде. За всем этим кроется разложение нравственных устоев журналистики, протекающее параллельно развитию технологических средств распространения информации. Телевидение, в частности, в смысле методов и техники манипуляции превосходит всякую меру. Любопытно, что эти методы одинаково используются и в тех странах, где они направлены против внутренней власти – с целью создания как бы власти оппозиционной (как в США), и в тех (как Италия), где корпоративные интересы журналистского и культурного мира тесно связаны с миром политической власти. Результатом является все растущий объем дезинформации, вернее, подтасовки информации, достигший своего апогея по случаю афганского конфликта. Такого упорного молчания не было даже по поводу конфликта на Фольклендских островах, несмотря на то, что английское правительство наложило запрет на эту тему. Тогда британское телевидение, выразив бурные протесты против этого замалчивания, в конце концов в отместку закупило репортажи, сделанные Аргентиной. Однако в случае Кабула даже этот обходной прием невозможен: афганское правительство даже в пропагандистских целях не дает ни клочка документальной пленки, а советское телевидение вполне, видимо, полагается на исключительное безволие своих операторов.

Афганские события с весьма неприглядной стороны осветили качество информации в странах свободного мира, показав, что, в то время как использование спутников разрушает технические преграды, политическая цензура воздвигает другие, куда более непреодолимые. Уже давно, в частности в США, теплится возмущение против нового, якобы непреложного правила: «Для телевидения событие является событием только в том случае, когда сообщение о нем сопровождается соответствующим документальным фильмом». Из этого следует, что тот, кто препятствует свободному перемещению журналистов, может не только влиять на события, но и прямо их направлять.

Если вьетнамская война была не понята, несмотря на постоянное присутствие кинокамер, то война афганская, из-за отсутствия тех же кинокамер, может длиться годами среди всеобщего безразличия. А поскольку на настроения публики

наибольшее влияние оказывает телевидение, то событие, им игнорированное или небрежно проболтанное «за неимением кадров», в конце концов и газетами освещается весьма бледно. Список случаев, подтверждающих этот феномен, на сегодняшний день весьма богат: телевизионные репортажи из Сабры и Шатилы, обилие кадров, на которых с мрачной зрелищностью были запечатлены изуродованные трупы, – все это заставило большую часть общественности изменить свое отношение к Израилю. Но сколько происходило в то же самое время избиений еще более кровавых на полях афганской войны или в тюрьмах Хомейни в Иране? Сколько тысяч людей погибло в Афганистане с начала оккупации при бомбардировках деревень, от ядовитых газов, под дождем мин-«игрушек», под ракетами «воздух-земля»? Нет кадров. Время от времени группы бесстрашных людей пробираются к повстанцам, но много ли можно сделать, когда действуешь нелегально, торопливо, лишь в тех местах, куда можно подвезти телевизионную аппаратуру на мулах. Однако и эти клочки пленки не всегда доходят до зрителя, и последний привыкает видеть на экране одни и те же кадры, уже вписанные в репертуар. Он привыкает к ним, как к телефильмам, и подсознательно выводит уравнение: событие незаснятое – равно событию несуществующему.

Бывает и хуже. Как заметили социологи Миссика и Вольтон в знаменитом диспуте на эту тему с Раймоном Ароном, Запад морально безоружен в столкновениях с мошенничеством дезинформации: он обманут не столько ложными сообщениями, сколько замалчиваниями. Общественное мнение легко теряет интерес к событиям, по поводу которых оно было дезинформировано. Этим, вероятно, можно объяснить апатию и молчание, которыми окружены сегодня темы, прежде бывшие у всех на слуху: Вьетнам, Камбоджа, Аравийский полуостров (перечисляю лишь самые известные).

1983 год принес новые причины для опасений относительно возможностей очередного метода заражения информации. Одному сотруднику итальянского телевидения, Мино Дамато, удалось установить из Афганистана прямую телевизионную связь с Римом через Пакистан. Так вот, ему удалось передать кадры, но комментарий так и не дошел. До сих пор неизвестно, что было тому виной – саботаж или советская система глушения. Известно, во всяком случае, что аппара-

тура радиоглушения, весьма, кстати, дорогостоящая, – не только существует, но и работает 24 часа в сутки вдоль восточноевропейских границ, препятствуя населению принимать западные радиопередачи. По словам специалистов, установки эти стоят диких денег. Похоже, что теперь и мы вступаем на эту скользкую почву, где с налогоплательщиков могут потребовать жертвовать лишние деньги ради удовольствия лишить себя технической возможности свободно принимать и распространять информацию.

Многие, кстати, начинают задаваться вопросом, не разовьется ли технология информации в стерильно-компьютерном будущем до такой степени, что достигнет полного контроля над общественным мнением и приведет к обществу типа орвелловского. По этому вопросу, который еще несколько лет назад казался абсурдной выдумкой научной фантастики, специалисты придерживаются разных мнений. Один предлагает предотвратить опасность развитием плюрализма в журналистике, другой ожидает, что журналистская корпорация будет вести себя более добросовестно.

Несомненно, простейший вывод напрашивается следующий: чтобы бороться с дезинформацией, надо начать с борьбы с самоцензурой, будь она скрытая или откровенная, ибо это она разъедает общественное мнение свободного мира во имя устаревших идеологий и мертвых пророков.

ЛАМИ Лючио – журналист и писатель, родился в Милане в 1936 году. Сотрудничал в крупнейших итальянских изданиях. Последние 10 лет работает в газете «Иль Джорнале» в качестве политического комментатора и ведущего журналиста. Его сфера – страны Восточной Европы, Африка и Ближний Восток. В частности, перу Лами принадлежат репортажи и статьи об Афганистане, Эритрее, Лаосе и Камбодже. Он изъездил практически все страны, в которых происходит схватка двух миров – двух великих держав, причем, наблюдал он эту схватку со стороны движений Сопротивления тоталитарному режиму. Провел несколько месяцев и в Ливане, в самых различных местах военных действий. Лами – автор множества книг, в частности – «Умереть за Кабул», где он рассказывает о своей поездке по Афганистану вместе с отрядами афганских партизан, и «Границами империи (письма американцам)», в которой он перечисляет ошибки, совершенные США во внешней политике, как это представилось ему в ходе посещений «горячих точек» планеты.

## ПАМЯТИ М. С. ФРЕНКИНА

20 февраля 1986 г. на 76-м году жизни в Иерусалиме скончался историк Михаил Самойлович Френкин.

Михаил Самойлович родился в Баку в 1910 г. Он окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена и работал сначала учителем, а затем ассистентом Педагогического института в Киеве (украинский и польский сектор). Отрицательно относясь к коммунистической системе, он не вступал ни в комсомол, ни в партию. Уже в начале 1930-х годов он был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации и провел год в тюрьмах Киева и Харькова.

После неожиданного освобождения Михаил Самойлович уехал в Москву, где окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Московском университете. В 1938 году он начал работать в качестве доцента кафедры истории и источниковедения в Московском историко-архивном институте (МГИАИ) и опубликовал монографию «Дон во второй половине XVIII века». Но почти весь тираж этой книги был уничтожен НКВД, так как уже в начале 1939 г. Михаил Самойлович был арестован по старому обвинению, теперь уже надолго.

Он прошел через Лубянку и Лефортово, через лагерь Краслага и Коми. Он был освобожден в 1956 году, а в 58-м — восстановлен на работе в МГИАИ. Еще через несколько лет М. С. Френкин защитил докторскую диссертацию и был назначен профессором МГИАИ по кафедре истории СССР.

В 1965 г. в Москве вышла вторая книга М. С. Френкина «Революционное движение на румынском фронте (1917 — 1918)». Эта книга была, вероятно, лучшей из советских книг о революционном движении в армии. После эмиграции в 1974 году в Израиль М. С. Френкин опубликовал еще две книги: 800-страничное фундаментальное исследование «Русская армия и революция. 1917 — 1918» (Мюнхен, 1978), являющееся, безусловно, самым серьезным историческим трудом о русской армии, когда-либо опубликованным в СССР или на Западе; и книгу «Захват власти большевиками в России и роль тыловых гарнизонов армии. Подготовка и проведение октябрьского мятежа. 1917 — 1918» (Иерусалим, 1982).

Свою последнюю книгу — о крестьянах в советской России — М. Френкин закончить не успел. Статья по материалам будущей книги была опубликована им в журнале «Континент» № 43. Закончить работу Михаил Самойлович планировал весной. Но до весны он не дожил.

В памяти людей историк, даже после своей смерти, остается жить своими книгами. Чем честнее и серьезнее эти книги, тем больше будет жить память об их авторе. Вклад Михаила Самойловича Френкина в дело изучения истории нашей родины огромен.

Вечная ему память.

*Юрий Фельштинский*  
Бостон

# ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Валерий С о й ф е р

## ЛЫСЕНКОИСТЫ И ИХ СУДЬБЫ

*Главы из книги*

«Читатель! подивись! я совершенно без всякой иронии утверждаю, что нигде жизнь не представляет так много интересного, как в нашем бедном, захудалом отечестве.

Конечно, это интерес своеобразный, как говорится, на охотника, но все-таки интерес».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.  
За рубежом*

«ВСЕ МОИ УЧЕНИКИ – ЛИБО ПРОХОДИМЦЫ, ЛИБО ДУРАКИ»

Слова эти принадлежат человеку, имя которого надолго останется в памяти людей как имя человека, нанесшего огромный вред своей стране монополизмом, небывалыми агрономическими аферами, предательством тех, кто ему же помогал выйти в люди. Имя Трофима Денисовича Лысенко стало нарицательным и известным во всем мире.

Не случайно я вспомнил эти фразу Т. Д. Лысенко, сказанную им во время одного из наших разговоров с ним в 1956–1957 годах. Мы беседовали в небольшом кабинете академика на I этаже селекционного корпуса Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, после очередной его лекции для студентов-селекционеров агрономического факультета, которые посещал и я – из любопытства.

Лысенко был предельно откровенен. Да и чего ему было стесняться студента, хотя бы и не верящего в его теории, что было доподлинно известно Лысенко и отчего он всегда на

---

© В. Н. Сойфер.

меня косился и никогда не задавал мне никаких вопросов. Остальных слушателей, из его группы селекционеров зерновых культур, он постоянно допекал вопросами: а правильно ли, и дословно ли они запомнили ЕГО формулировки? а что и когда он написал по такому-то вопросу? Формулировки надо было знать наизусть и отвечать без запинок. В противном случае академик гневался и покрикивал с хрипотцой в голосе.

После одной из наиболее шумных лекций, когда из уст Лысенко летели злобные выкрики о «морганистах и всех прочих», стоящих поперек дороги им, «ортодоксальным мичуринцам», как он себя тогда отрекомендовал, я подошел к Трофиму Денисовичу и с невинным видом спросил:

– Правильно ли я понял, что вы считаете наследственность свойством, а морганисты и все прочие, как вы их называете, считают, что есть особые наследственные структуры?

Лысенко повернулся ко мне (до этого он стоял как-то боком), побуравил меня своими маленькими глазками и коротко отрубил:

– Правильно!

– Но ведь вы только что говорили, что свойство нельзя оторвать от тела? – продолжил я.

– Конечно, – согласился Лысенко.

– Так раз свойство нельзя оторвать от тела, то, может быть, вы, мичуринцы, и генетики-морганисты говорите об одном и том же, только вы называете наследственность свойством, а генетики называют ее телом?

– Ах вот оно что, – прохрипел академик своим особым надтреснутым голосом, и, схватив меня костлявой и сильной рукой повыше локтя, буквально поволок с третьего этажа, где была лекционная аудитория, на первый этаж, где располагался его кабинет.

Так начались наши с ним беседы, первая из которых продолжалась часа четыре или пять.

Прежде всего Лысенко сообщил мне, что Белла Давидовна Файнброн, его секретарь по кафедре, давно ему доложила, что я морганист, что я якшаюсь с Н. П. Дубининым и В. В. Сахаровым, и потому, прежде чем о чем бы то ни было говорить, я должен ответить ему, верю ли я в вегетативную гибридизацию.

– Но это не вопрос веры, – возразил я, – возможность осуществления вегетативной гибридизации давным-давно доказана.

Этой репликой я его очень порадовал и даже удивил. Однако мои последующие слова, что еще в первой четверти XX века немецкий биолог Винклер наблюдал слияние ядер вегетативных клеток, не менее сильно раздосадовали.

– Опять ядра, – взорвался он.

– Но если стоять на материалистических позициях, то нельзя допускать мысль, что такое сложное свойство жизни, как передача наследственных задатков от родителей потомкам, возможна без структурированности материальных факторов, обеспечивающих такую передачу.

Затем я начал рассказывать ему о новых успехах биохимической генетики, об открытом не так давно строении молекул ДНК, о гипотезе матричного синтеза белков и других новинках. Он прерывал меня, яростно спорил, в начале беседы часто кричал. В тех случаях, когда я был не согласен, я также повышал голос, стараясь заставить его слушать не только себя, но и меня. Со стороны это, наверное, выглядело чудно – известнейший академик и зеленый студент, с криками отстаивающие свои взгляды.

Но странно, чем дольше я выдерживал его напор, тем мягче и даже воспитаннее он становился. Он уже дослушивал мои фразы до конца, а не перебивал с первых же слов, а иногда, прерывая меня, говорил: «Простите, тут я не согласен».

Нельзя сказать, что дискутировать с ним было легко. У него была своя, я бы назвал ее извращенной, логика. К тому же он прекрасно помнил свои высказывания, целые абзацы из своих работ, и когда я пытался что-то оспорить, ссылаясь на прочитанные мною его работы, он с гневом восклицал:

– Да где это я такое говорил? –

и повторял ту же мысль, но в своем, дословном виде, и обвинял меня в том, что, смещая нюансы в его высказываниях, я нарочито извращал мысли, не забывая, впрочем, неизменно добавлять при этом:

– Это вы не сами придумали. Это вас ваши учителя-морганисты подучили, а я такого никогда не утверждал и утверждать не собираюсь.

Но он буквально замирал, когда я рассказывал что-либо для него неизвестное, когда я ссылался на данные только что зарождавшейся молекулярной генетики. И искал – быстро и

радостно искал – аргументы против этих нововведений, чтобы только отмести их от себя, не поверить в новое, противоречащее привычному ходу его мыслей.

После одной из таких бесед, он вдруг предложил мне после окончания Тимирязевской академии пойти к нему в аспирантуру.

Именно тогда он и сказал эту хорошо запомнившуюся мне фразу об учениках – проходимцах и дураках. С присущей мне несдержанностью я пробормотал что-то о том, что разбавлять их ряды не собираюсь. Лысенко встрепенулся, сухо со мной распрощался, сославшись на занятость. Потом меня еще два раза приглашали к нему на беседы. Но они проходили уже как-то вяло. Он терял ко мне интерес, и, наконец, сказал, обращаясь уже на «ты»:

– Да, знаешь, если мы с тобой где-нибудь встретимся и я тебя не узнаю в лицо, ты не сердись. У меня память на лица плохая.

Позже я узнал, что это была привычная для него манера давать понять своим собеседникам, а подчас даже ближайшим сотрудникам, что они ему больше не нужны. Если человек становился ему не интересным или начинал его раздражать, он уже больше никогда с ним не здоровался, хотя бы даже столкнувшись носом к носу.

Я так и не знаю, что послужило причиной внезапного его охлаждения к моей персоне. То ли ему надоели длинные споры, то ли он увидел, что сделать меня своим ему не удастся, то ли еще что-то, но уж, во всяком случае, это не было связано с неудобством от нечаянно вылетевшей из его уст оскорбительной характеристики своих ближайших последователей.

Но, переходя к описанию галереи его сподвижников, – тех, кто «ковал» славу мичуринской биологии и «прибавлял» чести советской науке, я не могу забыть этой характеристики, сказанной Лысенко в присутствии двух доцентов и секретаря его кафедры, лишь осторожно смыкнувших после очередной выходки их великого патрона. Видно, он хорошо знал им цену.

«Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, напротив того, выползло на свет Божий таких, которые и не надеялись когда-либо покинуть те темные норы, в которых они бессильно замышляли».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
Литературное положение

Среди тех, кто занимал особое положение в кругах лысенкоистов, выделялась фигура Ольги Борисовны Лепешинской – автора широко пропагандированных в советской печати антинаучных идей о порождении клеток из нечеточного вещества, старения из-за утоньшения и уплотнения оболочек клеток: рецептов того, как легко укрепить подрастающее поколение страны Советов путем окунания в содовые ванны, и других не менее невероятных предложений, подававшихся под видом последнего слова марксистско-ленинской науки эпохи сталинизма.

Фигура Лепешинской вызывала изумление у многих, кто пытался анализировать советскую биологическую литературу. Она нанесла огромный вред развитию науки в СССР своей неумной, злобной энергией.

Кичась своим близким знакомством с В. И. Лениным, издавая одну за другой книжки о вожде пролетариата и годах, проведенных ею вместе с Владимиром Ильичом в ссылке в Женеве, и прикрываясь этим как щитом\*, Лепешинская не забывала постоянно напоминать в каждом из своих «трудов», издававшихся после окончания Второй Мировой войны, и о своем личном знакомстве с И. В. Сталиным. Из книги в книгу перекочевывал, например, один и тот же абзац, как правило,

---

\* Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений на этот счет, Лепешинская держала на самом видном месте у себя на квартире увеличенную до огромных размеров фотокопию записки Ленина, написанную его характерным почерком на бланке «Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР». В записке, датированной 5 мая 1921 г., он обращался к «т. Фрумкину или т. Орджоникидзе» с просьбой помочь устроить в санаторий дочь Лепешинских и заодно позаботиться о них самих.

без каких-либо даже минимальных изменений, в котором Лепешинская уведомяла:

«Моя работа создана в стране, где заботы нашей родной партии, правительства и нашего горячо любимого, родного товарища Сталина о науке не имеют границ. Я хочу здесь привести конкретный пример сталинской заботы о науке. В самый разгар войны, целиком поглощенный решением важнейших государственных вопросов, Иосиф Виссарионович нашел время познакомиться с моими работами еще в рукописи и поговорить со мной о них»<sup>1</sup>.

Сейчас уже трудно сказать, что привлекло Сталина к работам Лепешинской. Но факт остается фактом: после этого знакомства и последовавшей затем поддержке Лепешинской Трофимом Лысенко протесты ученых были отменены, приказ снял все сомнения, и Лепешинской была открыта дорога к вершинам академической власти в биологической науке СССР.

## ПУТЬ В УЧЕНЫЕ

«Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
История одного города

Лепешинская родилась в 1871 году в Перми и была на четверть века старше Лысенко. В отличие от него, она вышла из интеллигентной семьи. Ее отец, Протопопов, был по профессии математиком. Умер он, когда Ольге шел всего четвертый год (она была шестым ребенком в семье). По отзывам ее старших сестер и братьев, он был «очень добрым, хорошим, но горячим и вспыльчивым человеком».

Иную оценку давала О. Б. Лепешинская воспитавшей ее матери. В своих многочисленных мемуарных книжках Лепешинская любила повторять, что ее мать

«...владела шахтами в Губахе, и в Кизеле, и в Челябинске, веревочной фабрикой, да спичечным заводом в Казани, да большим имением в Кашурине, под Москвою, да пароходами на Каме»<sup>2</sup>.

При этом, пылая революционной непримиримостью к эксплуататорам, она отзывалась о своей матери странно, если не сказать злобно:

«В ней сочетались природная энергия и сравнительная образованность. Она была женщиной начитанной, постоянно выписывала несколько газет и журналов, в том числе «Отечественные записки», «Русское богатство», «Русскую мысль». Не в пример многим другим женщинам своего круга, курила, хорошо играла в шахматы. Но при всем том моя мать – Елизавета Федоровна Драммер – дочь военного, служившего комендантом одного из уральских городков – оставалась человеком совершенно буржуазной психологии, воспитанным в духе приверженности к монархизму и религии. Всегда занятая делами, всегда погруженная в расчеты, она обращала на нас, детей, очень мало внимания. Скупая на ласку, чаще сухая и желчная, она лишь иногда делала кому-нибудь из нас замечания»<sup>3</sup>.

Вспоминая образ Вассы Железновой из пьесы М. Горького, Лепешинская продолжала:

«Изобразив в своей пьесе энергичную, широкого размаха, но чертовой души женщину, Горький несомненно создал яркий и очень типичный образ капиталистки. Именно такой была Елизавета Драммер. Разве не характерной была ее экономность в тех случаях, когда она давала нам деньги на завтрак? Перед уходом в гимназию мы получали не более трех-пяти копеек\*. И это при её-то богатстве»<sup>4</sup>.

Видно, сильны были чувства меркантильности и жадности у Оленьки Протопоповой, если до старости она пронесла через жизнь память о недополученных с матери копейках на завтраки в гимназии. Можно только дивиться человеческой «добропорядочности» Лепешинской, так описавшей свою мать, воспитавшую ее и еще пятерых детей без отца.

Окончив гимназию, Лепешинская быстро распрощалась с родительским домом и переехала учиться в Петербург. Здесь в 1894 году она примкнула к марксистским нелегальным кружкам, вышла замуж за сына священника Пантелеймона Николаевича Лепешинского, участвовавшего в них, и выехала вместе с ним в ссылку в Енисейскую губернию в 1897 году. За-

---

\* Мизерность суммы, выдававшейся детям на завтрак в гимназии, конечно, сильно преувеличена Ольгой Борисовной для «красного словца», что она отлично понимала. Она сама вспоминала, насколько была высока покупательная стоимость пяти копеек, когда писала<sup>5</sup>, что на каменно-угольных коях, где директором был ее старший брат Борис, «при получке один из рабочих получил четыре рубля тридцать копеек за месячную работу». Следовательно, вся семья рабочего имела в день на жительство 14,3 копейки, а маленькой Ольге, накормленной и ухоженной, казались верхом жадности 5 копеек, выдаваемых матерью на завтрак.

тем они жили в 1903 – 1906 годах в эмиграции. В Женеве Ольга Борисовна содержала столовую для эмигрантов-партийцев, эксплуатируя своих же собратьев по революционной борьбе\*.

Этот же предпринимательский эксперимент она повторила и позже, возвратившись в Россию. Когда в 1910 году ее

\* В книге воспоминаний о В. И. Ленине одного из близких к нему большевиков периода женевской эмиграции – Н. Валентинова есть рассказ об Ольге Борисовне и ее муже Лепешинском:

«Перейдя нелегально границу в Польше, моей жене тоже удалось добраться до Женевы... Деньги, привезенные женою, быстро разошлись, нужно было поскорее найти заработок и, не находя ничего лучшего (жена была начинающей артисткой), она стала мыть посуду в столовой для эмигрантов, организованной Лепешинской...

О Пантелеймоне Николаевиче – его эмигрантской кличкой была Олин, жена звала его «Пантейчик» – Ленин всегда говорил с добродушной усмешкой. Он очень скептически относился к литературным способностям и желанию Лепешинского писать... Может быть, поэтому Лепешинский при всей его верности «Ильичу» не сделал большой карьеры после Октябрьской революции. Его назначали на места, не требующие инициативы и большой ответственности...

Иной оказалась карьера его супруги. Она лауреат Сталинской премии, профессор, «выдающийся биолог», действительный член Академии Медицинских наук СССР...

Я хорошо знал Ольгу Борисовну Лепешинскую в Женеве, где в течение многих месяцев мог ежедневно видеть ее, прихода завтракать в весьма умело ею организованную столовую. «Пантейчика» она посылала с корзинками для покупки провизии, сама изготовляла из нее – обычно одно и то же меню – борщ и рубленные котлеты, а помощниками у нее были Аня Чумаковская и моя жена: они чистили овощи, подавали к столу... Моя жена за работу, минимум 6 часов, получала вознаграждение натурой: завтрак для себя и другой для меня, причем для поедания причитающейся мне порции я, по указанию Ольги Борисовны, должен был приходиться лишь поздно, после того как уже удовлетворены товарищи – за еду платящие...

В 1904 г. Ольге Борисовне – (не представляю ее себе иначе как только вооруженной большой зубочисткой) было 33 года... Лет десять перед тем она была на фельдшерских курсах и этим ее медицинское образование ограничивалось. Повышенным уровнем общего развития она никак не могла похвалиться и никаких позывов к наукам, в частности, к биологии – тогда не обнаруживала. Она была из категории женщин, называемых «бой-бабой», очень практичной, с большим апломбом изрекающей самые простецкие суждения по всем решительно вопросам. Ленин, узнав, что она хорошо зарабатывает в организованной ею столовой, заметил: «С нею (Ольгой Борисовной) Пантейчик не пропадет»<sup>6</sup>.

мужа, работавшего в Коммерческом училище (среднее учебное заведение с техническим уклоном в отличие от гимназии) в Щелково под Москвой, уволили с работы, они, по словам Ольги Борисовны:

«...решили открыть столовую для студенток курсов\*, где училась я. На человек 50, не больше. Опыт после Женевы у меня был»<sup>7</sup>.

После революции 1917 года Лепешинская несколько месяцев работала ревкомиссаром на маленькой станции Подмосковная, затем в 1918 году «заведовала туберкулезной секцией школьно-санитарного дела», – пишет она в мемуарах, не указывая, впрочем, где была образована такая «секция». Ольга Борисовна вспоминала:

«Работая там, я пришла к выводу, что все школы должны быть преобразованы в детские санатории-интернаты, где дети находились бы весь день и к вечеру возвращались домой. На съезде учителей (где? каком? когда? – В.С.) я сделала доклад на эту тему. Доклад мой был одобрен всеми участниками съезда (да и как могло быть иначе? ведь в ее глазах, все, что она за свою жизнь ни предлагала, встречалось всеми «участниками» «на-ура» и только рутинерами и врагами отвергалось. – В.С.). Но осуществить свою идею мне не удалось, так как я была командирована в Литвиновичи для организации школы-интерната» (не с глаз ли подальше? – В.С.)<sup>8</sup>.

Но и на новом месте Лепешинская удержалась недолго. С 1919 года она смело включилась в преподавательскую деятельность: сначала, как она пишет, в Ташкенте, а затем в Москве. Призывы партии большевиков к созданию новой – красной – интеллигенции, которая бы заменила «буржуазных спецов» (смотри декрет В. И. Ленина «О приеме в высшие учебные заведения РСФСР от 6 августа 1918 г.»<sup>9</sup>), открыли путь «выдвиженцам из народа». Среди них оказалась и Ольга Лепешинская, посчитавшая, что ей хватает сил и знаний, чтобы двигать науку вперед, смело ломая все преграды на пути. Отсутствие специального образования она с лихвой «компенсировала» другими качествами.

---

\* Фельдшерские курсы, на которых училась Лепешинская, не были, конечно, равнозначны медицинскому факультету университета и не давали права оканчивающим их называться врачами. Однако позже Лепешинская (не получившая больше никакого образования) стала утверждать, что она якобы в 1915 г. завершила полный курс высшего медицинского образования.

## НАЧАЛО «НАУЧНОЙ» КАРЬЕРЫ

«Или, говоря другими словами, мы стараемся приспособиться, чтобы жить без шкур, но как бы с оними».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
За рубежом

Одним из первых опусов Лепешинской была брошюра «Воинствующий витализм», изданная в 1926 году от имени Государственного Тимирязевского научно-исследовательского института изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма почему-то в Вологде. Лепешинская буквально обрушилась с нападками политиканского, но никак не научного свойства, на учебник гистологии крупного специалиста в области биологии клетки Александра Гавриловича Гурвича\*.

Уже на первой странице своей отповеди Гурвичу она заявила без обиняков:

«Когда, сейчас наталкиваешься на какое-нибудь научное ископаемое, с «научным» именем, на какого-нибудь, с позволения сказать, «ученого», который умудрился сохранить свою девственную невинность идеалистической весталки, – когда наталкиваешься на естествоиспытателя, который не то, что не умеет мыслить по-диалектически, а просто готов даже предавать ненавистную ему диалектику анафеме, как греховный источник всевозможных научных ересей, тогда невольно является вопрос: отчего же эта реликвия прошлого не посажена под колпак в каком-нибудь музее древности, а продолжает еще «украшать» своей персоной то или иное ученое учреждение, выводит узоры мысли перед молодой вузовской аудиторией и пишет на потребу учащейся молодежи учебники и «научные работы», от которых за три версты разит тленным запахом трупного разложения как от библейского смердящего Лазаря»<sup>10</sup>.

Весь этот показной пафос был в данном случае совершенно неуместен: никакую диалектику Гурвич не отрицал и анафеме не предавал. Основной метод полемики, который избрала Лепешинская, состоял в жонглировании марксист-

---

\* А. Г. Гурвич (1874 – 1954) окончил Мюнхенский университет в 1897 г. и до 1906 года работал в Страсбурге и Берне. Затем вплоть до 1918 г. он был профессором Высших женских курсов в Петрограде, с 1918 по 1925 годы работал в Симферопольском университете, с 1925 по 1930 годы был профессором Московского государственного университета.

ской фразеологией, в произвольном, и даже огульном, обвинении автора в грехах, которые не были ему ни в коем случае присущи, а были придуманы самой О. Б. Лепешинской. Эта словесная баталия была развернута с целью побольнее оскорбить А. Г. Гурвича и одновременно выставить себя в числе непримиримых борцов за чистоту знамени «диалектического материализма».

Еще не приведя ни единого слова из книги Гурвича, но уже потратив 5 страниц емкого типографского текста на приклеивание ярлыков, она заявляет, что «индейской хитростью» ее не проведешь, и что в рецензируемой книге:

«...целые абзацы и страницы представляют очень часто такие нагромождения слов, которые с успехом могли бы фигурировать в Талмуде»<sup>11</sup>.

К каким низменным чувствам апеллировала Лепешинская, обыгрывая название священных книг иудаизма, вполне понятно, но как она могла узреть что-то похожее на Талмуд в учебнике гистологии, сказать нельзя. Возможно, некоторые термины были для нее темны, возможно, серьезный, далекий от примитивизма стиль автора требовал соответствующей подготовки, которой у Лепешинской, естественно, не было, но ничего даже отдаленно похожего на ненависть к диалектике и склонность к обсуждению биологических проблем с позиций иудаизма в труде Гурвича не было. Это была спокойная, последовательно написанная, умная книга. Автор строго стремился к тому, чтобы сообщить читателям о различных направлениях в биологической науке, включая и такое, как витализм. Совершенно справедливо и честно А. Г. Гурвич сообщал студентам о неразработанности того или иного вопроса из жизни клеток, о наличии непознанных или особенно трудных для понимания закономерностей. Нападая на него, Лепешинская особенно напирала на эти разделы и утверждала, что автор учебника на самом деле протаскивает идеи о Боге, жизненной силе и т. п. Она выхватывает из текста какие-то отдельные фразы, причем даже сегодня звучащие интересно, фразы, обращающие внимание студентов на те проблемы, которые и до сих пор не получили законченного объяснения (например, на проблему сил, управляющих расхождением хромосом при делении ядер клеток) ...и принимается громить «виталиста» Гурвича не фактами из науки

гистологии, а цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина и Бухарина, или, предвосхищая приемы Лысенко, ссылками на давно забытые работы второстепенных авторов (таких, как никому уже не ведомых «Bialoszewicz, 1902; Hoesber; матерьялист Джилио-Тоз», цитированию которого уделено ни много, ни мало, а 5 страниц!). Чувство меры настолько ей изменяет, что она приводит на 3 страницах выдержки из рассказа Глеба Успенского о боязливом сельском священнике, явившемся на прием к врачу. В такой «научной» полемике все средства хороши!

Но она твердо уверена, что можно порочить Гурвича, хотя бы на том основании, что он

«...совершенно не допускает мысли, что новое свойство всякой клетки приобретается ею под влиянием окружающей среды со всей совокупностью ее физических и химических воздействий»<sup>12</sup>.

Последнее замечание Лепешинской особенно важно. С обсуждения вопроса о влиянии внешней среды на наследственность и возможности наследования признаков, приобретенных индивидуумами за время их жизни (от сильного упражнения или, напротив, неупражнения того или иного органа тела) начались нападки Т. Д. Лысенко на генетиков в тридцатые годы. Вопрос о наследовании приобретенных признаков стал одним из центральных в полемике между лысенкоистами и остальными биологами. Последние такое наследование отрицали, а первые, исходя из его признания, строили все свои проекты.

Но и до Лысенко проблема наследования благоприобретенных признаков не раз поднималась в литературе<sup>13</sup>. Гиппократу казалось, что бинтование головы младенцев у некоторых народов привело к появлению людей, стойко передававших своим потомкам удлиненную форму черепа. Аристотель не соглашался с Гиппократом и за три века до Р. Х. выступал против приверженцев такого наследования. Спустя 2 тысячи лет, в XVIII веке, дискуссия возродилась в очередной раз. В 1800 году идею поддержал Ж. Б. Ламарк. Неопределенными были взгляды Ч. Дарвина на этот счет (он то активно выступал в защиту наследования, то писал о нем со сдержанным скепсисом). Полемика по этому вопросу разгорелась с новой силой в середине 20-х годов в СССР, особенно после того, как в 1925 году, одновременно на русском и немецком языках, здесь была выпущена книга Ф. Энгельса «Диалектика природы», хранив-

шаяся до того в рукописи в разрозненном виде. Ф. Энгельс, не будучи биологом, решился выступить на стороне адептов гипотезы наследования приобретаемых признаков, и Лепешинская тут же возвела эти осторожно высказанные взгляды Энгельса в абсолют и с таких позиций принялась наступать на Гурвича.

Следует сказать и о том, что до 1925 – 1927 годов, когда сначала Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов в Ленинграде, а затем Г. Мёллер в США обнаружили возможность изменения наследственности под действием облучения, ученые ничего не знали об искусственной наследственной изменчивости, а первые данные на этот счет были отрицательными. Естественно, что Гурвич не мог сообщить студентам того, что не было науке известно. Но показательно, что и Лепешинскую заботила не научная истина, а поверхностные рассуждения о том, что внешняя среда, в соответствии с ее запросами, будто бы формирует наследственность всех организмов. В этом она еще раз предвосхитила Лысенко. Если бы опустить слова о физических и химических воздействиях, не употреблявшиеся Лысенко<sup>14</sup>, то можно было бы с успехом приписать эту фразу Трофиму Денисовичу.

О научном уровне этой брошюры Лепешинской свидетельствует, например, высказанное ею утверждение, что клетки делятся не в силу сложных закономерностей развития, а в результате простой механической причины – переполнения их молекулами. Это заявление облачается ею в оболочку диалектико-материалистической фразеологии о переходе количественных изменений в качественные:

«В клетке под влиянием усиленного питания накапливается известное (?? – В. С.) количество молекул; вследствие увеличенного числа молекул качество клетки изменяется (количество переходит в качество): в ней объем массы не соответствует поверхности»<sup>15</sup>.

Заявление, что молекулы в клетках «накапливаются», было безграмотным: в те годы было уже точно известно, что клетки синтезируют нужные им молекулы из поглощенных веществ, разлагаемых внутри клеток до простых компонентов. Было твердо установлено и другое: все ненужное клеткам выносится из них наружу.

Еще более странным выглядело заявление об «усиленном питании». А при питании НЕ УСИЛЕННОМ молекулы

не накапливались бы? И, наконец, верхом безответственного жонглирования словами было понятие «ОБЪЕМА МАССЫ», да еще не соответствующего «ПОВЕРХНОСТИ» клеток!

Основанием для всей этой нелепицы Лепешинская выставляла другое, столь же беспочвенное в теории и не подтвержденное никакими опытами утверждение (все доказательство сводилось к словам, что оно «лежит на поверхности»):

«Несоответствие между объемом и поверхностью объясняется тем, что поверхность увеличивается в квадрате, а объем в кубе. Несоответствие объема с поверхностью означает, что обмен веществ между молекулами и внешней средой затрудняется, в результате чего молекулы, расположенные в глубине клеток, будут находиться в смысле обмена веществ в худшем положении, чем поверхностно лежащие молекулы. В результате этого последнего обстоятельства молекулы ядра первые попадут в худшие условия дыхания и питания. Молекулярные группы могут превратиться в ионы, которые в конечном счете дадут взаимоотталкивание и поляризацию ядра с дальнейшими последствиями деления клетки. При таком объяснении, исходя из несоответствия объема и поверхности, становятся понятными причины деления клеток, а также и то, почему именно деление начинается с ядра»<sup>16</sup>.

В этом высказывании, не покоящемся ни на чем, кроме как на безграмотном противопоставлении формул для расчета объема и площади, да еще приписывании молекулам способности находиться в «лучшем» или в «худшем положении... в смысле обмена веществ», проглядывает уже целиком сложившаяся манера мышления Лепешинской. Любой школьник мог объяснить ей, что никакого «несоответствия» объема и поверхности не существует, обмен веществ от них зависеть не может, и объяснять сложнейшие процессы внутриклеточной жизни столь примитивно мог только неуч.

Стоит привести и такое рассуждение Лепешинской:

«Как по законам Маркса и Энгельса мы можем проследить развитие общества, понять и даже предсказать, что из первичной родовой семьи (при нормальных условиях развития) должен в будущем вырасти огромный, сложный и стройный организм – государство, так точно на основании учения Дарвина, открывшего главные законы развития всей живой природы, мы, диалектически мысля, сможем, опираясь на законы физики и химии, проследить и понять, как из половой

клетки, проходя последовательно различные ступени развития, растут и развивается огромный, по сравнению с клеткой, сложный и стройный – взрослый организм»<sup>17</sup>.

В конце брошюры О. Б. Лепешинская переходит на другой язык, язык политического доноса (видимо, сознавая, что крамолы в науке она так и не нашла):

«Уж лучше бы проф. Гурвич отбросил все фиговые листки и откровенно показал свое идеалистическое лицо. Его половинчатость в этом отношении только усугубляет факт его вредности»<sup>18</sup>.

Она заключает свое произведение так:

«В наше время весьма обостренной и все обостряющейся классовой борьбы не может быть безразличным то обстоятельство, какую позицию занимает тот или иной профессор советской высшей школы, работая даже в какой-нибудь очень специальной отрасли знаний. Если он становится «по ту сторону», если он кормит университетскую молодежь идеалистическими благоглупостями, если он толкает научное сознание этой молодежи в сторону той или иной разновидности идеализма, он должен быть, во имя классовых интересов пролетариата, призван к порядку, хотя бы путем мобилизации общественного мнения той части научных работников, которые стоят на точке зрения классовых интересов»<sup>19</sup>.

В условиях создания новой, красной интеллигенции ее запал не пропал даром. Ее революционное прошлое, а также открытая агрессивность по отношению к профессорам старой школы обратили на себя внимание. Точно так же, как и Лысенко, в один и тот же год, она уселась, минуя «промежуточные остановки», в солидное административное кресло в научном учреждении. В 1929 году она становится заведующей гистологической (помогла брошюра против гистолога!) лаборатории Тимирязевского института в Москве. Институт входил в состав Коммунистической академии<sup>20</sup>, и поле для ее деятельности открывается широкое.

## «РАЗВЕНЧАНИЕ» ВЕЛИКОГО ВИРХОВА

«Бесстыдство как замена руководящей мысли; сноровка и ловкость как замена убеждения; успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений – вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
Легковесные

Лепешинская быстро находит свой путь. От наскоков на А. Г. Гурвича она переходит на путь собственного, революционного творчества. Аналогично тому, как это было позже со всеми лысенкоистами, он прост и незатейлив:

«Это было в 1933 году. Я изучала оболочки животных клеток. Желая изучить возрастные изменения оболочек, я решила проследить этот процесс на различных стадиях развития лягушки. И что же я увидела? Я увидела желточные шары самой разнообразной формы... Внимательно изучив несколько таких препаратов, я пришла к мысли, что передо мной картина развития какой-то клетки из желточного шара.

Развитие клетки – это совсем ново! Виrhов\*, а вслед за ним и большинство современных биологов считают, что всякая клетка происходит только от клетки.

Но я вспоминаю, что Энгельс говорит совершенно другое: «Бесклеточные начинают свое развитие с простого белкового комочка, вытягивающего и вытягивающего в той или иной форме псевдоподии – с монеры»<sup>21</sup>.

Все это говорится без тени смущения, так, будто и впрямь Энгельс – это авторитет биологической науки, а не публицист, пытающийся уяснить для себя наиболее доходчивые факты современной ему науки. Будто за его словами кроются данные длительных и точных экспериментов, предопределивших прогресс в биологии на многие десятилетия вперед.

---

\* Рудольф Виrhов (1821 – 1902) – выдающийся немецкий ученый, основатель современной патологической анатомии. Виrhов обосновал тезис, что каждая клетка может возникнуть только от предшествовавшей ей клетки путем деления. Это правило сейчас строго доказано и не имеет ни единого исключения.

Да и метод обнаружения Лепешинской великого открытия (иначе его не назовешь!), перечеркивающего все, что известно науке о клетке, до обидного примитивен: оказывается, тысячи умудренных и грамотных ее предшественников не удосужились обратить внимание на то, что бросилось ей в глаза при разглядывании всего-то «нескольких препаратов».

Как нечто само собой разумеющееся (хотя и отвергнутое задолго до нее наукой) она утверждала:

«Клетки размножаются не только почкованием, прямым и непрямым делением, но и путем выбрасывания клетками большого количества ядерного вещества, из которого образуется много клеток»<sup>22</sup>, –

и делала, без ложной скромности, «эпохальный» вывод:

«Значение этих работ заключается в том, что они еще больше приближают нас к изучению вопроса о переходе вещества к существу, к разрешению широчайшей проблемы происхождения жизни»<sup>23</sup>.

Статья Лепешинской «К вопросу о новообразовании клеток в животном организме» была опубликована в 1934 году<sup>24</sup>. В те годы было отлично известно, насколько сложна клетка, как точно в ней пригнаны разнообразные структуры. Вполне понятно было и другое: как легко сломать клетку при первом, самом нежном прикосновении. А она уверяла, что можно растереть в ступке желточные шары птиц до кашицеобразного, бесструктурного состояния, затем оставить на время, и в кашице зародятся снова живые яйца таких же птиц!

То, что клетки животных в высшей степени высокоорганизованные структуры, должно было быть известно Лепешинской, раз она взялась за нелегкий труд ученого. Наука уже далеко ушла от тех времен, когда всерьез предлагался «знаменитый рецепт разведения змей: высушите змею, разотрите в порошок и посейте – вырастут змеи», равно как и от сомнений натуралиста конца XVIII – начала XIX века Жоффруа Сент-Илера, который все никак не мог отделаться от мысли, что птицы возникают из яиц крокодилов. Все это Лепешинская должна была знать.

Особенно странно выглядели ее допущения в свете того, что она сама писала восемью годами раньше, когда с негодованием обрушивалась на А. Г. Гурвича, прочитав у него следующее:

«Жизнь в яйце замирает, ...когда типичное расположение плазменных частей в некоторых яйцах может быть совершенно нарушено, например, путем очень интенсивного центрифугирования, причем жидкие и плотные части (клетки. – В. С.) совершенно начисто и резко отделяются друг от друга»<sup>25</sup>.

Гурвич описал замечательный для своего времени эксперимент. Целью его было показать, что активность внутриклеточных структур (например, ядра) не нарушается, если изменить их местоположение в клетке. Но переместить ядро в ничтожной по размерам клетке, да так, чтобы не повредить сами клетки внешними воздействиями, казалось, было невозможно. Чем сдвинешь ядро с места? Ведь любые попытки проникнуть в клетку даже тончайшими иголками или капиллярами оканчивались одним: клетка погибала. Тогда и пришли на помощь методы физики. Уже было известно, что ядра клеток отличаются по удельной массе от остального содержимого клеток. Были в распоряжении ученых и особые приборы – центрифуги (конечно, по нашим понятиям, далеко не совершенные), которые позволяли вращать объекты (скажем, взвесь клеток в центрифужных стаканчиках) и создавать значительное ускорение частиц в поле тяготения. Этим и воспользовались: клетки подвергли центрифугированию до тех пор, пока более плотные ядра не переместились ближе к границе клеток. Жизнь клеток при этом не нарушилась, клетки жили!

Эти опыты в свое время решительно не понравились Лепешинской. Она полемизировала с Гурвичем и не без ехидцы спрашивала:

«Итак, что хочет сказать здесь проф. Гурвич? Очевидно, что жизнь не зависит от структурных изменений протоплазмы, что жизнь идет своим чередом вне связи с материей (как будто Гурвич материю аннигилировал! – В. С.), с ее химическими и физическими изменениями. Как хочешь нарушай протоплазму яйцевой клетки, а все-таки клетка жива»<sup>26</sup>.

Теперь же она начисто забыла свой «материалистический» окрик в адрес Гурвича, не растиравшего «материю клеток», а лишь центрифугировавшего ЦЕЛЫЕ, неповрежденные КЛЕТКИ, и пошла много дальше. В полном соответствии со средневековым рецептом, она растирала клетки гидр в ступке и протирала кашу через сито. Она утверждала, что все клетки при этом были разрушены и тем не менее из этой бес-

форменной массы, якобы прямо у нее на глазах, снова возникали живые гидры! Это напоминало фокусы цирковых иллюзионистов.

Все свои манипуляции Лепешинская гордо именовала опытами, публикуемые заметки – научными статьями, а собрания заметок в одной книжке – монографиями. Но ничего в этих опытах, статьях и монографиях не было от науки.

Вспомним требования, предъявляемые к любому опыту: наличие строго продуманного контроля, отличающегося от опыта лишь одним (или немногими) строго контролируемым фактором; повторяемость и возможность воспроизведения результата всяким другим ученым; однозначность в трактовке результатов.

Ни одному из них «труды» Лепешинской не отвечали, да она, видимо, и не понимала этих требований\*. Нечего было говорить и о том, чтобы ее «опытам» предшествовала теория. То есть она, конечно, постоянно твердила, как заклинания, слова типа – «наши теоретические предпосылки», «согласно теории» и т. д. – но, во-первых, она просто не умела предложить сколько-нибудь разработанных идей, которые следовало подтвердить или опровергнуть экспериментами. Вместо них выдвигался самый примитивный (и потому антинаучный) домысел, который и в голову не мог прийти специалисту. Во-вторых, не обладая даже начальной подготовкой ни в одной из научных областей, Лепешинская была не способна овладеть применяемыми в науке методами исследований, организовать хотя бы простенькую проверку своих «идей». То, что она творила у себя на дому (повторяю, ее «лаборатория» размещалась в ее же квартире), было до крайности нелепо. Она любила твердить: «физические методы измерения», «выявление химической природы» и т. п., но за этими выпендренными словами стояла истинно кухонная самодеятельность, бессилие и убожество. Так что у всякого специалиста опустились бы руки, вздумай он что-то, вслед за Лепешинской, экспериментально проверить или опровергнуть. А когда брались за научно проду-

---

\* Наверное, многие бы удивились, узнав, что «Лаборатория» Лепешинской располагалась в ее же квартире. Она жила в комплексе мрачных серых домов для высшего московского начальства на берегу Москвы-реки (рядом с кинотеатром «Ударник»), описанных Ю. Трифоновым в «Доме на набережной». Здесь же жил Т. Д. Лысенко.

манную перепроверку ее выводов, все неизменно не подтверждалось.

«Открытием» оболочек животных клеток дело, как видим, не ограничилось. Лепешинская предложила новое, еще более «эпохальное» открытие. Она стала утверждать, что в природе существует особое, так называемое живое вещество, которое никто до нее даже не замечал, а оказывается из него могут возникать живые клетки! Само это вещество бесструктурно, но стоит создать для него мало-мальски сносные условия, как эта субстанция начнет изменяться... и даст живые клетки!

### БЕСЕДА СО СТАЛИНЫМ И ПОДДЕРЖКА ИМ ЛЕПЕШИНСКОЙ В БОРЬБЕ С КРИТИКАМИ

«Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают всё. чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтоб обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу».

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
Мелочи жизни.

Естественно, что на первые же ее публикации об образовании клеток из бесструктурного вещества последовала спокойная, но уничтожающая критика таких корифеев науки, как академик Н. К. Кольцов<sup>27</sup>, профессор-биохимик А. Р. Кизель и других. Николай Константинович Кольцов не оставил никаких сомнений в экспериментальной нечистоте «доказательств» Лепешинской. Вслед за ним анализу ошибок как в постановке опытов, так и в трактовке получаемых ею данных посвятили свои работы многие биологи. Они выступали с рецензиями, добивались, чтобы Лепешинская прекратила удовлетворять свои нездоровые устремления за народные

деньги и перестала позорить имя ученого. В конце концов, атмосфера вокруг нее начала сгущаться, и на какое-то время она осталась без работы.

В этот момент на помощь ей пришел тот самый «хитрый индей», которого она так оскорбила своей книгой «Воинствующий витализм», – профессор Александр Гаврилович Гурвич. Лепешинской не удалось тогда «закопать» Гурвича, «посадить его под колпак» и отстранить от работы. Более того он в 1930 году переехал в Москву и начал работать в великолепном институте экспериментальной биологии и стал его директором. В 1941 году А. Г. Гурвич был удостоен Сталинской премии.

Лепешинская в те годы была уже в преклонном возрасте (ей было около 70 лет), и, как рассказывали мне родственники А. Г. Гурвича, он сжалился над Ольгой Борисовной и взял ее к себе в институт. Гурвич не помнил зла и считал, что человеку немолодому, пусть даже известному своими завиральными идеями, но желающему трудиться в науке, место в научном учреждении должно быть предоставлено.

Но Лепешинская не только получила место в институте. Она сделала еще один, куда более важный шаг: «протолкнула» к Сталину какие-то рукописи. Сталин не постеснялся стать арбитром в спорах ученых. Как известно, еще в молодые годы, в 1906 году, он смело обсуждал в работе «Анархизм или социализм?», не обладая, как и Лепешинская, никаким специальным образованием (Сталин закончил духовную семинарию), проблемы развития живой природы и общества<sup>28</sup>.

Хотя некоторые историки науки, такие, как Лорен Грэм<sup>29</sup> и Жорес Медведев<sup>30</sup>, уверяли, что Сталин в этой работе привел лишь «одну-единственную фразу.., имеющую отношение к биологии, и эта фраза не очень значаща»<sup>31</sup>, на самом деле, Сталин уделил в этой книге, в первой ее части, озаглавленной «Диалектический метод», центральное место обсуждению проблем развития живого. Он искал параллели и противоречия между эволюционным развитием и революционной борьбой, оперировал понятиями «эволюция», «движение развития природы» (?! – В. С.), «ламаркизм» и «дарвинизм» (равно как и «неоламаркизм» и «неодарвинизм»), «катаклизмы Кювье» и т. п. Его основной вывод, после разбора этих биологических проблем, гласил:

«Эволюция подготавливает революцию и создает для нее почву, а революция завершает эволюцию и содействует ее дальнейшей работе»<sup>32</sup>.

Нельзя, правда, не заметить, что, берясь обсуждать проблемы развития живого мира (чтобы показать этим обсуждением всю глубину заблуждений его более образованных коллег по партии и революционной борьбе, которых он нещадно критикует и пытается поставить на место), Сталин отчетливо демонстрирует этим обсуждением, что работ Дарвина, Ламарка, Кювье он и в руки не брал, что судит о них по наслышке, ибо приписывает им то, что далеко от их истинных взглядов. Насколько примитивно он понимает дарвинизм и как он далек от знания биологических закономерностей, показывают, например, его резкие высказывания в адрес дарвинизма:

«Дарвинизм отвергает не только катаклизмы Кювье, но также и диалектически понятое развитие, включающее революцию, тогда как с точки зрения диалектического метода эволюция и революция, количественные и качественные изменения, – это две необходимые формы одного и того же движения»<sup>32а</sup>.

О том же свидетельствует поверхностное понимание им поступательного хода эволюции, с одной стороны, и примата материи над сознанием, с другой:

«Еще не было живых существ, но уже существовала так называемая внешняя, «неживая» природа. Первое живое существо не обладало никаким сознанием, оно обладало свойством *раздражимости* и первыми зачатками *ощущения*. Затем у животных постепенно развивалась способность ощущения, медленно переходя в сознание, в соответствии с развитием строения их организма и нервной системы. Если бы обезьяна всегда ходила на четвереньках, если бы она не разогнула спины, то потомок ее – человек – не мог бы свободно пользоваться своими локтями и голосовыми связками, и, таким образом, не мог бы пользоваться речью, что в корне задержало бы развитие его сознания. Или еще: если бы обезьяна не стала на задние ноги, то потомок ее – человек – был бы вынужден всегда ходить на четвереньках, смотреть вниз и оттуда черпать свои впечатления; он не имел бы возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следовательно, не имел бы возможности доставить своему мозгу больше впечатлений, чем их несет четвероногое животное. Все это коренным образом задержало бы развитие человеческого сознания»<sup>33</sup> ... Выходит, что развитию идеальной стороны, развитию сознания *предшествует* развитие внешних условий: сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона, а затем соответственно изменяется сознание, идеальная сторона»<sup>34</sup>.

Гипотетичность основных положений, высказываемых Сталиным в качестве абсолютно справедливых, совершенно ясная специалистам, проходит мимо сознания Сталина. Он манипулирует терминами и строит логические схемы событий, исходя из убежденности, будто и на самом деле все обстояло так и только так. Столь нездоровым апломбом объясняется, что Сталин и позже возводил в абсолют любые из своих предположений.

С таким багажом знаний подошел Сталин и к решению важнейших для страны проблем – развития биологии, агрономии и медицины, когда вторгся в споры ученых, подавив административно тех, кто осуждал взгляды и методы действий лиц, подобных Лысенко и Лепешинской, стремившихся монопольно «править» в науке.

Встреча Лепешинской со Сталиным состоялась в конце войны, а в 1945 году эта встреча приносит первый плод: ей удается издать книгу «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества»<sup>34а</sup>, а в 1946 г. она издает еще одну книгу со старым материалом «Оболочки животных клеток и их биологическое значение»<sup>35</sup>. Первая из книг тут же попадает в Комитет по Сталинским премиям.

С первого взгляда это были вполне научные труды. Например, в книге об оболочках клеток была вводная глава «Исторические данные по вопросу об оболочках животных клеток», глава II «Значение проблемы оболочек»... глава VIII «Химическая природа оболочек животных клеток», глава IX «Физическая природа оболочек животных клеток» и т. д. – вплоть до XXI главы «Выводы» и списка литературы.

Из «Предисловия» читатель узнавал о солидных намерениях автора: оказывается, книга эта – обобщение экспериментов, вытекающих из ТЕОРИИ автора, и, естественно, ждешь, как того требуют строгие каноны науки, систематического описания результатов (целей и задач исследования, применявшейся методики, доказательств, что именно такой эксперимент даст ответ на поставленный вопрос, а полученные данные, количественные или качественные, можно будет трактовать однозначно, наконец, сводки самих результатов и их обсуждения). Но когда заглядываешь в книгу, читаешь перемежающиеся ссылки на Энгельса и каких-то допотопных авторов (то ли ученых, то ли популяризаторов науки?), смешанных в кучу, вдруг с чувством, далеким от почтения к автору, начи-

наешь осознавать, насколько отличается от общепринятых критериев этот «труд».

Сквозь витиеватые построения выплывает вообще странная вещь: оказывается, Лепешинская хорошо знает, что уже в середине XIX века, когда удалось детально изучить клетку, выяснилось, что у животных клеток нет оболочек, а есть тончайшие мембраны, но тем не менее она выискивает ссылки на каких-то чудаков, которые и во второй половине XIX века на существовании оболочек настаивали, а, чтобы выявить последние, подвергали клетки сильным воздействиям. Лепешинская сама проговаривается, что их подходы и методы раскритиковали классики науки.

И вдруг в середине XX века Лепешинская вспомнила взгляды этих второстепенных исследователей. Все основательные аргументы, противоречащие их взглядам, она приводить не стала, а принялась с жаром твердить, что классики науки все поголовно ошиблись и что оболочки животных клеток ей узреть удалось.

Как же она пришла к своему открытию? Лепешинская, потеряв чувство меры, пишет, а Государственное издательство медицинской литературы (за государственный же счет) публикует удивительные пассажи, и среди них, к примеру, такие (глава III – «Методы выявления оболочек животных клеток под микроскопом»):

«На мой метод окраски оболочек клеток я напала до известной степени случайно. Я присутствовала на докладе т. Мошковского, когда он говорил о новом методе окраски крови, который может почти полностью заменить дорогую заграничную окраску Гимза... Мошковский указывал, что вокруг клеток часто оставалась голубая каемка, портящая весь эффект окраски. «Если бы не эта каемка, – говорил Мошковский, – то краска полностью могла бы заменить краску Гимза». Анализируя этот процесс окраски, я пришла к выводу, что лиловый цвет эритроцитов получается после окраски потому, что тут имеется смесь красок двух цветов синего и красного, которые вместе и должны давать лиловую окраску\*. То обстоятельство, что после

---

\* Нельзя не обратить внимания на страсть Лепешинской к перержам. Ни о какой лиловой окраске Мошковский не говорил. Он сообщил, что часто ГОЛУБАЯ каемка портит дело. Лепешинская придумывает, что происходит она от наложения синей и красной красок. И это еще не все: известно, что голубой цвет (длина волны 480–490 нм) и красный цвет (605–730 нм), будучи наложены друг на друга, дают не лиловый, а пурпурный цвет с длиной волны 730–760 нм.

таннина эритроциты становятся красными, я объяснила тем, что таннин, очевидно, удаляет то, что было окрашено синим цветом, а это могло быть только нечто, лежащее на поверхности, т. е. оболочки. Таннин очевидно сорвал их и освободил тело эритроцита, окрашенное эозином в красный цвет, а узенькая голубая каемка, которая так огорчала т. Мошковского, является ничем иным, как остатком оболочки эритроцита... На другой же день я приступила к опытам и сразу же получила картину частичного разрыва оболочек с вытеканием протоплазмы, т. е. полное подтверждение моих предположений (табл. 1, рис. 1)»<sup>36</sup>.

Читаешь такое и не перестаешь удивляться, как легко стать ученым! По ее словам, бедный Мошковский (кстати, известный и серьезный ученый) ничего не понял, а ведь как все просто. Нужно только ДОПУСТИТЬ:

- что красный и голубой цвета смешались,
- что «таннин, очевидно, удаляет то, что было окрашено синим цветом», и
- что удаляться может только «нечто, лежащее на поверхности».

А что же еще может «лежать» на поверхности, как не оболочка клеток!

**ЗНАЧИТ:** её таннин и удалил!

Но где доказательства? Ведь отлично известно, что таннин ничего не срывает, а напротив – укрепляет, откуда и название (от французского *tanner* – дубить кожу), что таннин – это смесь «фенольных соединений, обладающих способностью образовывать прочные связи с белками и некоторыми другими природными полимерами (целлюлоза, пектиновые вещества)», как говорится в Большой Советской Энциклопедии<sup>37</sup>.

А, если таннин ничего не срывает, то и все последующие объяснения – нелепы.

Известно ли было в 1946 году, что таннин дубящее вещество? Известно! Еще в 1902 году в Малом Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Эфрона, в томе третьем на стр. 1443 было черным по белому написано: «ТАННИНЪ (хим.), сост.  $C_{14}H_{10}O_9$ , иначе – дигалковая, орешкодубильная кислота...» и описывались свойства этого вещества. И если Лепешинская бралась за решение научных вопросов о влиянии таннина и на этом основании критиковала Мошковского, предлагала свои объяснения, а из них выводила серьезнейшие заключения об ошибках в мировой науке, то не знать свойства таннина (рав-

но, как и то, какие краски что образуют) – она не могла. Не имела права. Назвалась груздем – полезай в кузовок!

Но посмотрим, что же за данные представляла она в таблице 1 своей книги? А, оказывается, никаких! Вместо таблицы на странице книги, озаглавленной «Табл. 1», было размещено несколько несовершенных карандашных рисунков эритроцитов. Рисунков примитивных и ничего не значащих. Это не фотография, а рисунок того, что могло пригрезиться автору. Рисунок есть рисунок. Точно такие же несовершенные эскизы были представлены и на рис. 1.

Таким образом, ни таблица первая, ни рисунок первый, на которые Лепешинская ссылалась в подкрепление своих рассуждений, ничего не выясняли, а, напротив, – затемняли. И на поверку точно такими же были и все другие таблицы и рисунки в толстой книге. Воистину – легко стать ученым!

Широковещательные заявления Лепешинской о наличии оболочек животных клеток были отвергнуты учеными. То, что она называла оболочками, было мифом, родившемся в ее уме. Цитоплазматическая мембрана, которая на деле имелаась, отличалась по свойствам от структур, описываемых Лепешинской. Отвергать выводы ученых, оспаривать прочно доказанные факты у нее не было никаких оснований.

Точно так же обстояло дело и с книгой «Происхождение клеток».

Вполне понятно, что стоило начать обсуждение ее кандидатуры на получение Сталинской премии (самой высокой в те годы награды в стране), как посыпались аргументированные возражения многих ученых. В ходе голосования выяснилось, что за присуждение ей премии высказался только один член комитета. Им был Т. Д. Лысенко.

Неудача только подстегнула Ольгу Борисовну. Как она вспоминала позже:

«Внимание товарища Сталина к моей научной работе влило в меня неиссякаемую энергию и бесстрашие в борьбе с идеалистами всех мастей, со всеми трудностями и препятствиями, которые они ставили на пути моей научной работы»<sup>38</sup>.

Лепешинская срочно подготавливает несколько статей и, пользуясь благосклонностью лысенкоистов, публикует их в контролируемых ими журналах. Естественно, что малограмотных сторонников Лысенко не шокируют ни претенциоз-

ные названия статей, ни крикливый их тон, ни отсутствие доказательств.

Тем не менее, еще не все позиции ученых были в этот момент утеряны. Этим объясняется, что группе самых известных и уважаемых специалистов в области клеточной теории удастся добиться публикации 7 июня 1948 года обращения к ученым в газете «Медицинский работник»<sup>39</sup>. В числе подписавших были академик Н. Хлопин, члены-корреспонденты АН СССР В. Догель, Д. Насонов, П. Светлов и другие. Характеристика, данная ими книге О. Б. Лепешинской, была уничтожающей:

«...автор весьма слабо знаком с биологией вообще и с особенностями изучаемых ею объектов в частности... Выдавая совершенно изжитые и потому в научном отношении реакционные взгляды за передовые, революционные, Лепешинская вводит в заблуждение широкого читателя и дезориентирует молодежь... Ненаучная книга Лепешинской – досадное пятно в советской биологической литературе»<sup>39</sup>.

Казалось бы, теперь напору Лепешинской противопоставлена прочная, притом принципиальная и коллегиальная (что так важно) позиция ученых.

Напряженной была обстановка в 1947 – начале 1948 года и вокруг Т. Д. Лысенко. Положение в сельском хозяйстве страны становилось все хуже и хуже, вопреки многолетним обещаниям Лысенко срочно создать нечто такое, после чего само собой наступит всеобщее благоденствие. Его предложения, сменявшие друг друга и неизменно сопровождавшиеся отчаянным самохвальством в печати, кино и на радио, лопались, как мыльные пузыри. В конце концов, секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов высказался в 1947 году за то, чтобы заменить Лысенко на посту Президента ВАСХНИЛ<sup>40</sup>. Осенью 1947 года и весной 1948 года Отдел науки ЦК партии в открытую стал приглашать к себе видных противников Лысенко и выслушивать их соображения. А 10 апреля 1948 года сын Андрея Александровича Жданова, Юрий – молодой химик, незадолго до того закончивший МГУ и быстро ставший начальником Отдела науки ЦК ВКП(б), выступил в Политехническом музее в Москве (в одной из самых больших в стране аудиторий) на семинаре лекторов и пропагандистов с большим докладом, в котором обвинил Лысенко в обмане народа, в зажиме своих научных оппонен-

тов и в провале многих его практических предложений. В общем, Юрий Жданов беспощадно сбрасывал Лысенко с «пьедестала».

Через неделю, 17 апреля, Лысенко направил И. Сталину и А. Жданову письмо, в котором униженно жаловался на то, что Ю. А. Жданов его неверно понял, что враги, сами для практики палец о палец не ударившие, не дают ему работать и лишь вставляют палки в колеса, когда он хочет что-либо ценное внедрить в практику, одновременно злобно клеветца на него – бесправного Президента ВАСХНИЛ. Он выдавал себя за беззащитного ягненка, никогда никого пальцем не тронувшего:

«Меня неоднократно обвиняли в том, что я в интересах разделяемого мною мичуринского направления в науке, административно зажимаю другое, противоположное направление. На самом же деле это, по независящим от меня причинам, к сожалению, далеко не так... Зажимать противоположное направление я не мог, во-первых, потому что административными мерами эти вопросы в науке не решаются, и, во-вторых, защита неodarвинизма настолько большая, что я и не мог этого делать»<sup>41</sup>.

Поэтому он просил разрешить ему в открытую расправиться со своими научными противниками:

«Я могу способствовать развитию самых разнообразных разделов сельскохозяйственной науки, но лишь мичуринского направления, направления, которое признает изменение живой природы от условий жизни, признает наследование приобретенных признаков...

Я был бы рад, если бы Вы нашли возможным предоставить мне возможность работать только на этом поприще» (там же).

Но ответа на письмо Сталину сразу не последовало. Тогда Лысенко отправляет следующее письмо – министру сельского хозяйства СССР И. А. Бенедиктову. Он просит освободить его от обязанностей Президента ВАСХНИЛ и «дать возможность проводить научную работу», чтобы «этим... принести значительно больше пользы как нашей сельскохозяйственной практике, так и развитию биологической науки мичуринского направления в различных ее разделах, в том числе и для воспитания научных работников»<sup>41</sup>.

Бенедиктов доложил об этой просьбе Сталину. Прошел еще месяц, один из самых тревожных в жизни Лысенко. Он понимал, что если Сталин от него отвернется – это конец не только карьеры, а может быть, и нечто более страшное. Но

за этот месяц его не снимали с поста Президента, хотя и ничем пока не обнадеживали.

В эти самые дни в «Медицинском работнике» и было опубликовано «Письмо 13-ти» с критикой Лепешинской.

Неожиданно Лысенко вызвали к Сталину, к которому и на этот раз сумел подобрать ключик Лысенко. Сталину понравилось очередное лихое обещание колхозного академика: удесятить производство пшеницы в стране, заменив традиционные виды пшеницы ветвистой пшеницей. Хотя специалистам изначально было ясно, что такая смена может привести только к катастрофе (еще в прошлом веке ветвистую пшеницу тщательно изучили и поняли, что ничего, кроме падения валовых урожаев, от нее ждать нельзя, несмотря на то, что отдельные колосья выглядят гигантами), Сталин поддался чарам Лысенко и его заверениям, что на этот раз «мичуринская» (читай: лысенковская) наука не подведет.

Во время разговора со Сталиным Лысенко буквально унюхал, что отношение к нему лично Сталина не такое плохое, и пошел ва-банк. Все проблемы, по его словам, могли быть разрешены при одном условии – чтобы ему больше не мешали критиканы, всякие там теоретики и умники, не о благе отечества пекущиеся, а оглядывающиеся на Запад, молящиеся на иностранных богов. И ведь кем всегда глаза пытаются колоть: Вейсманами, Морганями и Менделями, которые все поголовно были метафизиками и идеалистами. Последний из них вообще не был ни одного дня ученым, а всю жизнь прослужил священником и даже умер, будучи настоятелем монастыря. Да и генетику как идеалистическую, буржуазную, крайне вредную для дела социализма науку пора бы прикрыть.

Такой подход очень Сталину понравился<sup>42</sup>. Согласие на организацию погрома в биологии Лысенко получил.

28 июля в «Правде» появилось сообщение, что Сталин, без всяких «лишних» церемоний, как-то: выдвижения кандидатур, их обсуждения, положенного голосования, издал постановление о назначении академиками Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) сразу 35 человек, подавляющее большинство из которых были сподручными Лысенко.

А еще через два дня была срочно созвана сессия ВАСХНИЛ, вошедшая в историю под названием августовской. На ней генетику и родственные ей науки объявили официально

реакционными, метафизическими и вредительскими. Тут же тысячи специалистов по всей стране были уволены с работы, Лысенко был провозглашен спасителем родины от коварных врагов, все учебники и книги по генетике, цитологии, эмбриологии, селекции, семеноводству и ряду других направлений были изъяты, на много десятилетий над биологией в СССР нависла зловещая тень лысенкоизма.

На сессии ВАСХНИЛ Лепешинская не выступала. Но через месяц в Академии медицинских наук СССР в течение двух дней (9 и 10 сентября) проходило расширенное заседание Президиума этой академии, названное «Проблемы медицины в свете решений сессии ВАСХНИЛ». Теперь Ольга Борисовна уже вела себя как победитель. Она, как сообщалось в отчете об этом заседании в газете «Медицинский работник», в первый же день выступила с речью, в которой

«...подчеркнула необходимость решительной борьбы со всеми и всякими идеалистическими извращениями, их конкретными носителями и проводниками. Она утверждает, что ей и ряду других научных работников не только не создавали условий для творческих изысканий, но и мешали и третировали. Она обвинила в неправильном к ней отношении и идеалистических шатаниях в теоретических вопросах академика Абрикосова, профессоров Хлопина, Насонова, Токина и др.»<sup>44</sup>.

И хотя на следующий день академик Н. Г. Хлопин, обращаясь к Лепешинской и к аудитории в целом, сказал:

«...нельзя приклеивать обидные ярлыки всем тем, кто не согласен с вами, кто дискусирует по поводу выдвинутых вами неверных теоретических положений. Я не согласился и не соглашусь с вашим мнением о том, что при существующих ныне условиях клетки могут возникать из какого-то бесструктурного вещества»<sup>45</sup>;

и хотя выступивший за ним член-корреспондент АН СССР Д. Н. Насонов, сохраняя завидное уважение к чести ученого,

«...также отметил, что проф. Лепешинская, щедро наделяя людей всевозможными эпитетами, не обосновывает серьезно свои обвинения»<sup>46</sup>,

час Лепешинских пробил.

Президиум АМН СССР принял постановление, опубликованное в том же номере газеты «Медицинский работник», в котором содержался и такой пункт:

«Освободить проф. А. Г. Гурвича от обязанностей директора Института экспериментальной биологии и проф. Л. Я. Бляхера от заведования лабораторией того же института... Пересмотреть структуру и направления научной деятельности Института экспериментальной биологии с позиций мичуринского учения...»<sup>47</sup>.

Были сняты со своих постов и другие выдающиеся ученые: профессор (в будущем академик АМН СССР) Георгий Францевич Гаузе, академик Лина Соломоновна Штерн, академик АМН СССР Сергей Николаевич Давиденков и многие другие.

Так, наконец-то, Лепешенская и ей подобные «ученые» расправились с теми, кто составлял гордость отечественной науки.

В это время Ольга Борисовна стала особенно активно использовать в полемике ударный аргумент: ссылаться на одобрение ее труда Сталиным во время ее личной беседы с ним. Правда, встреча состоялась двумя годами ранее (а может быть, и тремя – точная дата не называлась). Лепешинская выбрала подходящий момент для ссылок на не подлежащий оспариванию авторитет Сталина. Он все в большей степени «углублялся» в вопросы науки, судил с апломбом и о развитии общественных отношений, и о языкознании, и об экономике, и даже о «революции рабов» в Древнем Риме. В 1946 – 1947 годах по указанию Сталина были проведены погромы (их называли «дискуссиями») в философии (см. доклад А. А. Жданова по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 года<sup>48</sup>), литературе (доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»<sup>49</sup>), музыке (доклад того же А. А. Жданова в 1948 году<sup>50</sup>). В результате подверглись осуждению выдающиеся писатели М. М. Зощенко и А. А. Ахматова, крупнейший композитор современности Д. Д. Шостакович, другие деятели культуры и науки. Печально знаменитая «ждановщина» – давление на многообразные формы литературной, общественной и научной жизни – была тем фоном, на котором разворачивался лысенкизм в целом и лепешинковщина в частности. Ссылки на благосклонное внимание САМОГО СТАЛИНА могли оказаться в этих условиях эффективнее отрицательных отзывов ученых. Сталина перестали называть «великим ученым» и «отцом всех наук», а именовали уже «корифеем» наук. В соответствии с этими изменениями пирамида, на вершине которой горделиво

красовалась фигура Сталина, нуждалась в расширении основания, почему и был дан ход таким «трудам», как труды Лысенко, Лепешинской и подобных им – в других науках. Следствием такой поддержки и была «триумфальная» августовская сессия ВАСХНИЛ, одобренная лично Сталиным, и возвышение до уровня «выдающихся ученых» людей типа Трофима Лысенко и Ольги Лепешинской.

Последняя тем временем стремилась упрочить свое положение, добиться еще большего признания. Однако Лысенко, видимо, еще не осознал полностью, какую пользу он может извлечь из «работ» Лепешинской. Этим можно объяснить, что только в конце мая 1950 года с его благословения наступил триумф и лично Лепешинской.

22-24 мая 1950 года в Москве состоялось специальное совещание биологического отделения Академии наук СССР совместно с руководством Академии медицинских наук СССР и ВАСХНИЛ по проблеме живого вещества и развития клетки<sup>51</sup>. В президиуме совещания восседал Т. Д. Лысенко. Лепешинскую представили как автора выдающегося открытия, которое стало возможным только благодаря тому, что автор стоит на позициях единственно правильной методологии – диалектического материализма и марксистско-ленинской философии в целом.

Все обсуждение ее открытия происходило под прикрытием призыва Сталина:

«Ломать старые традиции, нормы, установки, когда они превращаются в тормоз для движения вперед»<sup>53</sup>.

На этом высоком научном форуме под аплодисменты присутствующих О. Б. Лепешинская, а затем ее дочь Ольга и сотрудники В. Г. Крюков и В. И. Сорокина сообщили совершенно фантастические вещи. У Лепешинской-младшей клетки якобы развивались из чистого белка (совсем по Энгельсу: что такое жизнь? жизнь есть способ существования белковых тел! Будто бы ни нуклеиновых кислот, ни липидов, ни углеводов, ни других типов молекул небелковой природы со времен Энгельса в клетках не нашли). Крюков настаивал на том, что глобулярные белки в его «опытах» образовывались быстрее под влиянием добавления извне неочищенного препарата нуклеиновых кислот (вот оно – расширение научного поиска!),

Сорокина сообщила, что мышечные клетки изменялись под воздействием нервных клеток.

Конечно, когда Лепешинская или ее ученики вещали о глобулярных белках, о нуклеиновых кислотах, мышечных клетках, — надо было, на самом деле, трезво к этому относиться и понимать, что отличий ИХ белков от «нуклеиновых кислот» они не знали, ни тех, ни других изучать не могли, потому что не владели нужными методами. Любимые рассуждения Ольги Борисовны об электрических зарядах, изменяющихся в ходе ее «опытов», не означали ровным счетом ничего, кроме того, что она слыхала, что заряды бывают не только ружейными и пороховыми, но и электрическими, и что последние способны изменяться.

Несомненно, что это было понятно многим из присутствующих в зале. Было от чего им встревожиться. Но не нашлось никого, кто бы скрестил с ней шпаги в принципиальном споре. Похоже, что никто вообще не обращал внимания на то, что говорили с трибуны авторы удивительных открытий.

Более того, эта мешанина домыслов с вымыслом была тепло встречена академиками трех академий — АН, АМН и ВАСХНИЛ. Среди самых именитых и титулованных жрецов науки нашлось немало покровителей оригинального таланта Лепешинской. Прознав о ВЫСОЧАЙШЕМ одобрении ее «идей», многие академики решили, что посты и звания дороже принципов и чести. Лепешинская могла теперь с гордостью повторять в своих похожих друг на друга книгах:

«Выдвинутые и обоснованные нами на совещании положения привлекли широкое внимание его участников: генетиков (Лысенко, Глуценко, Авакян, Нуждин), патологов (Аничков, Сперанский, Давыдовский, Невядомский), цитологов (Студитский, Хрущов, Барон, Лавров), микробиологов (Имшенецкий, Бошнян, Жуков-Вережников, Тимаков), зоологов (Павловский), биохимиков (Опарин, Сисакян, Северин) и др.»<sup>53</sup>.

Те, кто активно «поработал» на августовской сессии ВАСХНИЛ, проявили себя на славу и здесь. Не зря Лепешинская на первое место ставила Лысенко и его команду — Глуценко, Авакяна и Нуждина, не зря она поминала «добрым словом» и Сисакяна, выступившего с биохимическими «доказательствами» правоты Лысенко на сессии ВАСХНИЛ (вскоре он стал академиком АН СССР и Главным ученым секретарем Президиума АН СССР), и таких ярких лысенкоистов как А. Н.

Студитский, А. А. Имшенецкий, Г. М. Бошнян, Н. Н. Жуков-Вережников, которые на сессии ВАСХНИЛ не выступали вовсе не потому, что были «по ту сторону» лысенковских баррикад, а потому, что их не позвали, обидев этим. Зато впоследствии они показали себя в полном блеске.

Не удержались от того, чтобы не порадеть за новых героев биологической науки и те, кто вроде бы имели, или во всяком случае могли иметь, свой собственный голос в науке: академики АН СССР А. И. Опарин и В. Н. Павловский. С дифирамбами в адрес Лепешинской выступили – будущий Президент Академии меднаук В. Д. Тимаков (тоже ставший позже академиком АН СССР) и пытавшийся сейчас играть роль неподкупного рыцаря науки щеголеватый профессор С. Е. Северин, много лет до этого заведовавший кафедрой биохимии животных МГУ, то есть человек доподлинно знавший, что, выступая за Лепешинскую, он лжесвидетельствует. Но хорошо рассчитал Сергей Евгеньевич цену такого свидетельства: в 1953 году он стал членом-корреспондентом АН СССР, в 1968 году – академиком этой академии, а в 1971 году – Героем социалистического труда. Так что рассчитывать наперед эти люди умели: было за что пресмыкаться!

Их стараниями Лепешинская получила теперь полное право писать:

«По признанию совещания в Академии Наук СССР, работами цитологической лаборатории Академии медицинских наук СССР впервые разоблачены до конца идеалистические концепции Вирхова в этой области и, невзирая ни на какие трудности и препятствия, смело отброшены идеалистические положения Вирхова и его последователей, что открыло возможности для продвижения науки вперед»<sup>54</sup>.

А чтобы всем стало окончательно ясно, в каком направлении теперь будет двигаться советская биологическая наука, Лепешинской в тот год преподнесли еще один щедрый подарок: присудили долгожданную ею Сталинскую премию первой степени в размере 200 тысяч рублей! Лепешинская и ее дочка «не стеснялись» объяснять всем встречным и поперечным, что распоряжение об этом якобы поступило в Комитет лично от Сталина.

## ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ

<sup>1</sup> См., напр., О. Б. Лепешинская. Клетка, ее жизнь и происхождение. Госкультпросветиздат, М., 1952, стр. 3.

<sup>2</sup> О. Б. Лепешинская. Путь в революцию. Воспоминания старой большевички. Лит. запись Зах. Дичарова. Пермское книжное издательство, 1963, стр. 22. Примерно то же самое говорится в книге «Мои воспоминания», лит. запись Г. П. Эйсуевича, Хакасский н.-и. ин-т языка, литературы и истории, Хакасское книжное изд-во, Абакан, 1957.

<sup>3</sup> О. Б. Лепешинская. Путь в революцию. См. прим. 2, стр. 5.

<sup>4</sup> Там же, стр. 6.

<sup>5</sup> О. Б. Лепешинская. Мои воспоминания. Абакан, 1957, стр. 4.

<sup>6</sup> Н. Валентинов. Встречи с Ильичом. Chaldize Publications, New York, 1979, стр. 128 – 131.

<sup>7</sup> О. Б. Лепешинская. Путь в революцию. Пермь, 1963, стр. 95.

<sup>8</sup> Там же, стр. 98.

<sup>9</sup> В. И. Ленин. Декрет «О приеме в высшие учебные заведения РСФСР». Сочинения, изд. 4-е, том 28. М., Госполитиздат, 1950, стр. 31.

<sup>10</sup> О. Б. Лепешинская. Воинствующий витализм. Вологда, типография «Северный печатник», 1926, стр. 5-6.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же, стр. 33.

<sup>13</sup> Исчерпывающий анализ этой проблемы дан в книге Л. Я. Бляхера «Проблема наследования приобретенных признаков». М., изд. «Наука», 1971.

<sup>14</sup> См., например, Т. Д. Лысенко. К вопросу о взаимоотношениях биологии с химией и физикой. Из выступления на расширенном заседании Президиума и Отделения биологических наук АН СССР 20 января 1959 г. Журн. «Агробиология», 1959, № 4, стр. 484 – 488.

<sup>15</sup> О. Б. Лепешинская. Воинствующий витализм. См. прим. 10, стр. 37.

<sup>16</sup> Там же, стр. 38.

<sup>17</sup> Там же, стр. 58-59.

<sup>18</sup> Там же, стр. 75.

<sup>19</sup> Там же, стр. 76.

<sup>20</sup> Коммунистическая академия – высшее учебное и научно-исследовательское учреждение по общественным и естественным наукам, основана в 1918 году под названием «Социалистическая академия». С 17 апреля 1924 г. называлась Коммунистической академией. После объединения с Академией наук СССР 8 февраля 1936 г. прекратила свое существование.

<sup>21</sup> О. Б. Лепешинская. Происхождение клеток из живого вещества. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951, стр. 9 и 36.

<sup>22</sup> Там же.

- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> О. Б. Лепешинская. К вопросу о новообразовании клеток в животном организме. 1934.
- <sup>25</sup> О. Б. Лепешинская. Воинствующий витализм.
- <sup>26</sup> Там же.
- <sup>27</sup> Н. К. Кольцов.
- <sup>28</sup> И. В. Сталин. Анархизм или социализм? 1906, см. сочинения, том 1. М., Политиздат, 1946, стр. 301 – 308.
- <sup>29</sup> Loren R. Graham. Science and Philosophy in the Soviet Union. Alfred A. Knopf, New York, 1972.
- <sup>30</sup> Ж. А. Медведев. Биологическая наука и культ личности, машинописный экземпляр, датированный 1962 годом и собственноручно подписанный автором, стр. 219.
- <sup>31</sup> L. R. Graham, см. прим. 29, стр. 512 и 214.
- <sup>32</sup> И. Сталин, см. прим. 28, стр. 301.
- <sup>32a</sup> Там же, стр. 309.
- <sup>33</sup> Там же, стр. 313.
- <sup>34</sup> Там же, стр. 314.
- <sup>34a</sup> О. Б. Лепешинская. Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества. С предисловием Т. Д. Лысенко. М., изд. АН СССР, 1945.
- <sup>35</sup> О. Б. Лепешинская. Оболочки животных клеток и их биологическое значение. М., Гос. изд-во мед. лит-ры, 1946 (1947). Две даты – 1946 и 1947 годы – я указываю не потому, что цитирую приблизительно, по памяти. Эта книга, напечатанная на хорошей бумаге, с приложением «Атласа к книге О. Б. Лепешинской», лежит передо мной. Но узнать точную дату издания нельзя: на обложке напечатано 1946, а на титульном листе указана другая дата – 1947. Из выходящих данных явствует, что данное издание могло выйти в свет скорее всего в 1947 году, но автору, видимо, хотелось «забить» приоритет годом раньше. Это тоже отражение стиля Лепешинских, Лысенко и им подобных.
- <sup>36</sup> Там же, стр. 12-13.
- <sup>37</sup> Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., т. 25, М., 1976, стр. 267.
- <sup>38</sup> См. прим. 1, стр. 3.
- <sup>39</sup> П. Макаров и др. (всего 13 подписей, и в их числе подписи акад. Н. Хлопина, чл.-корр. АН СССР В. Догеля, Д. Насонова, П. Светлова, проф. Ю. Полянского, В. Кацнельсона, В. Александрова, Ш. Галустяна, доцента А. Кнорре), «Об одной ненаучной концепции», письмо в редакцию, газета «Медицинский работник», 7 июля 1948 г., среда, № 29 (787), стр. 3.
- <sup>40</sup> Об отрицательном отношении А. А. Жданова и его сына Юрия пишет в своей книге «Наука и философия в Советском Союзе» Лорен Грэм (см. прим. 29, стр. 143 – 450, Appendix I: Lysenko & Zhdanov). Об этом же вспоминает в своих книгах Светлана Аллилуева, дочь И. В. Сталина, которая хорошо знала об этом из первых рук, так как в 1949

году она вышла замуж за Юрия Жданова (см. ее книги «20 писем к другу», *Twenty Letters to a Friend*, New York, 1967, p. 198; и *Only One Year*, trans. Paul Chavchavadze, New York & Evanston, 1969, p. 380).

<sup>41</sup> Отрывки из текстов писем Т. Д. Лысенко к И. В. Сталину и А. А. Жданову, приложенной записки о лекции Ю. А. Жданова, а также текст письма Т. Д. Лысенко к И. А. Бенедиктову воспроизводятся по машинописному экземпляру воспоминаний одного из ближайших сотрудников Лысенко, академика ВАСХНИЛ И., остающихся до настоящего времени неопубликованными.

<sup>42</sup> Личное сообщение академика ВАСХНИЛ И.

<sup>43</sup> Информационное сообщение «Во Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина», газета «Правда», 28 июля 1948 г., № 210.

<sup>44</sup> В президиуме Академии медицинских наук СССР. Проблемы медицины в свете решений сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, газета «Медицинский работник», среда, 15 сентября 1948 года, № 39 (797), стр. 2.

<sup>45</sup> Там же.

<sup>46</sup> Там же.

<sup>47</sup> «Постановление расширенного заседания Президиума Академии медицинских наук СССР по докладу академика-секретаря отделения медико-биологических наук И. П. Разенкова „Вопросы медицинской науки в свете решений сессии ВАСХНИЛ по докладу Т. Д. Лысенко“», газета «Медицинский работник», см. прим. 44, стр. 1.

<sup>48</sup> А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г., М., Политиздат, 1947 (переиздавалась в 1951 и 1952 годах).

<sup>49</sup> А. А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». М., Политиздат, 1946.

<sup>50</sup> А. А. Жданов. «Выступление», «речь и выступление» на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), в книге: Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), М., Политиздат, 1948; все три выступления А. А. Жданова были переведены на англ. язык и опубликованы в книге: А. А. Zhdanov, *Essays on Literature, Philosophy and Music*, New York, 1950.

<sup>51</sup> Стенографический отчет о совещании по проблеме живого вещества и развития клеток 22-24 мая 1950 г. М., изд. АН СССР, 1951.

<sup>52</sup> И. Сталин. Речь на приеме работников высшей школы в Кремле. М., Госполитиздат, 1938, стр. 4.

<sup>53</sup> О. Б. Лепешинская, см. прим. 1, стр. 4.

<sup>54</sup> Там же, стр. 5.

## ОБ АВТОРЕ

СОЙФЕР Валерий Николаевич (род. 16 октября 1936 г. в г. Горьком) – сын старого большевика, члена РСДРП с марта 1917 года. Отец умер в 1950 г., мать в 1975 г. Сразу по окончании школы в 1954 году поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москве. С 4-го курса был переведен на 1-й курс физического факультета МГУ и далее одновременно учился в обоих вузах. В 1961 г. был принят в аспирантуру Института атомной энергии им. И. В. Курчатова в радиобиологический отдел. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, в 1974 – доктора биологических наук. Автор 15 книг и более 200 научных работ, опубликованных в СССР, США, Англии, ФРГ, Нидерландах и др. Основные исследования связаны с изучением различных воздействий на наследственность живых организмов (радиация, химические вещества) и способностью клеток противостоять повреждениям. В 1973 г. открыл явление восстановления нормальной структуры генов растений (темновую репарацию) и позже детально изучил этот процесс.

В 1970 г. организовал во Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) Лабораторию молекулярной биологии и генетики. Был назначен Ученым секретарем Совета по молекулярной биологии и генетике ВАСХНИЛ и членом Межведомственного Научного Совета по молекулярной биологии и молекулярной генетике Госкомитета СССР по науке и технике и Президиума АН СССР. В 1974 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 304 руководимая В. Н. Сойфером Лаборатория была преобразована во Всесоюзный научно-исследовательский Институт прикладной молекулярной биологии и генетики ВАСХНИЛ, а Сойфер был назначен зам. директора Института по научной работе. Однако уже через два года он был освобожден от этой должности за попытку проведения самостоятельной линии в развитии Института, приглашение на работу талантливых ученых-евреев и протесты в партийные органы по поводу преследования евреев. После этого В. Н. Сойфера начали подвергать гонениям: его лишили права выезда на научные конференции даже в социалистические страны, публикации работ в международных изданиях за рубежом, лабораторию Сойфера стали всячески зажимать. В феврале 1979 г., поняв тщетность попыток добиться нормальной работы, Сойфер с семьей (жена – научный работник – и двое детей) подали заявление о желании выехать из СССР. Его Лаборатория была тут же закрыта, в июле того же года Высшая аттестационная комиссия СССР отменила решение о присуждении ему степени доктора наук, а в декабре 1980 г. он был уволен с работы с нарушением советского законодательства. Больше работы в СССР он найти не смог. В выезде из СССР ему отказано. Многие университеты США и других стран пригласили его работать профессором, но власти СССР отказали ему и в этом.

## ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В. Н. СОЙФЕРА:

### *Монографии:*

В. Н. Сойфер. Молекулярные механизмы мутагенеза. М., «Наука», 1969, 511 стр.

В. Н. Сойфер. Очерки истории молекулярной генетики. М., «Наука», 1970, 259 стр.

V. N. Soyfer. Chemical Basis of Mutation, In: Evolutionary Biology, Plenum Press, N. Y.-Lond., 1975, vol. 8, pp. 121 – 235.

V. N. Soyfer. Molekulare Mechanismen der Mutagenese und Reparatur, Akademie Verlag, Berlin, 1976, 531 SS.

### *Научно-популярные книги:*

В. Н. Сойфер. Арифметика наследственности. М., «Детская литература», 1970, 269 стр.

В. Н. Сойфер. Репарирующие системы клеток. М., «Знание», 1970, 47 стр.

В. Н. Сойфер. Современные проблемы биологии. М., «Знание», 1974, 190 стр.

В. Н. Сойфер. Молекулы живых клеток. М., «Знание», 1975, 207 стр.

В. Н. Сойфер. Размышления о хлебе. М., «Советская Россия», 1980, 239 стр.

### *Научно-публицистические статьи:*

В. Н. Сойфер. О Сергее Сергеевиче Четверикове. «Знание – Сила», 1966, № 10, стр. 9-10.

В. Н. Сойфер. Об общих условиях своевременной оценки научного открытия. В сб.: «Научное открытие и его восприятие: проблемы и исследования». М., изд. «Наука», 1971, стр. 171 – 178.

В. Н. Сойфер. А. Д. Сахаров и судьбы биологической науки в СССР, в кн.: «Сахаровский сборник». М., 1981, изд. «Хроника-Пресс», 1981, стр. 145 – 153; see also: J. Cran. Genet. & Devel. Biol., 1984, vol. 4(3), pp. 173 – 178.

В. Н. Сойфер. Мутации и будущее человечества (рукопись).

В. Н. Сойфером опубликовано также около 200 научных статей, обзоров и других материалов.

# «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе  
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти  
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

## *Обычной почтой*

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

## *Воздушной почтой*

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.  
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение  
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под  
редакцией А. М. Некрича.

**Просим писать прямо на адрес редакции и прило-  
жить банковский или почтовый чек, либо сделать  
почтовый перевод.**

# Истоки

Нина Муравина

## СУДЬБА АЛАКАЕВСКИХ СОСЕДЕЙ ЛЕНИНА

### 1. СТАРШАЯ СЕСТРА

В 1964 году мне удалось познакомиться с архивом старшей сестры Ленина, Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, хранящимся в ульяновском фонде Центрального партархива при ЦК КПСС. Письма и записи ее еще не были тогда подвергнуты цензуре и с купюрами засняты на фотопленку, как несколькими годами позже. Мне выдали папки с подлинниками, и мое внимание сразу же привлекли дневниковые записи с горькими жалобами на бесплодно прожитую, никому не нужную жизнь; стопка писем от каких-то малограмотных крестьян и неотправленный конверт, на котором дрожащим почерком надписан был адрес:

Средняя Волга, Кинельский район, колхоз «Уголок Ленина» при д. Алакаевке, М. М. Филипповой.

Жалобы на напрасную жизнь и неотправленный конверт лежали в одной и той же папке. Вероятно, между ними существовала внутренняя связь. Я вспомнила, что в молодости Анна Ильинична вместе с семьей пять летних сезонов прожила на хуторе возле самарской деревни Алакаевки, и невольно задала себе вопрос: уж не угрызения ли совести заставили ее в годы коллективизации возобновить связь со знакомыми крестьянами? Из воспоминаний М. П. Ясневой я знала, что и Ленин испытывал после революции приступы сомнений и, когда он в последний раз встретился со старшей сестрой в 1919 году на похоронах ее мужа, задал ей необычный в его устах вопрос: думает ли она, что прежняя Россия еще способна возродиться? Однако минуты сомнений, вызванные у него расхождением между целями, теориями и идеалом, нарисованным им за несколько месяцев до прихода к власти в книге «Государ-

ство и революция», и тем кровавым кошмаром, в который вылилась его диктатура в действительности, не помешали ему продолжать разрушать Россию и пытаться распространить свой эксперимент за ее пределами. В записях же его сестры звучало искреннее отчаяние. С детства мечтавшая пойти по стопам отца и стать народной учительницей, она на многое смотрела иначе, чем будущий вождь большевиков. Ее взаимоотношения с ним можно было бы охарактеризовать словами, которыми она в своей книге об Александре Ульянове характеризует его отношения с Владимиром. «Мы с ним не сходимся, — вспоминает она там признание старшего, любимого брата и заключает: — Близкими друг другу они никогда не были».

В своих воспоминаниях Анна Ильинична называет зиму и весну 1888 – 1889 года и следующие пять лет, прожитые в Алакаевке и в Самаре, «самыми важными» в жизни Ленина. По ее мнению, именно в этот период он приобрел знание психологии русского крестьянина, помогшее ему в дальнейшем привести свою партию к власти. Начало этого «самого важного» периода совпадает с его вступлением в один из кружков по изучению русской действительности, организованных в Казани Николаем Федосеевым. Участники этих кружков пытались самостоятельно решить спор между марксистами и народниками; читали и обсуждали и работы Маркса, и программы русских революционных партий и групп. Во время обыска у Федосеева полиция нашла программу для сбора сведений о положении крестьянства, а у его друга Санина – рукопись, озаглавленную «Опыт программы исследований поземельной общины». Найдены были и тетради с надписью «Факты по рабочему вопросу», «Факты по крестьянскому вопросу». И Федосеев, и Санин призывали «анкетировать трудящееся крестьянство» и «идти с анкетой в народ».

Переезд Ульяновых в Самарскую губернию, где жених Анны, университетский товарищ ее старшего брата Марк Елизаров – уроженец волжской деревни Бестужевки, лишь перед поступлением в университет выписавшийся из крестьянского сословия, – с помощью своего брата, богатого мужика, занимавшегося земельными сделками, приобрел для ее матери хутор, позволил Ленину избежать участи его товарищей по кружку. «Весной 1889 года я уехал в Самарскую губернию, где услышал в конце лета... об аресте Федосеева и других членов казанских кружков, – между прочим, и того, где я принимал

участие, – писал Ленин в 1922 году. – Думаю, что легко мог бы также быть арестованным, если бы остался тем летом в Казани». Благодаря переезду у него появилось наглядное пособие для изучения русской действительности. Он сделался владельцем имения, купленного деревенским кулаком Павлом Елизаровым у насаждавшего толстовские колонии миллионера Сибирякова: просторного дома с садом, мельницей и восемьюдесятью с лишним десятинами чернозема в пятидесяти верстах от Самары. Отделенная от хутора ровом деревушка Алакаевка, состоявшая из 34 дворов (197 душ) имела в общинном владении только шестьдесят пять десятин земли. Не имея ни лесных угодий, ни пастбищ, ни покосов, крестьянское общество вынуждено было арендовать их у живших по соседству землевладельцев.

Сын не оправдал ожиданий матери, мечтавшей, что он увлечется сельским хозяйством. Лишь в первое лето он сам наблюдал за уборкой урожая. В дальнейшем Ульяновы стали сдавать землю в аренду, но не мужикам, а какому-то приезжему арендатору Крылову, а затем состоятельному немцу. Уезжая на зиму в Самару, Ульяновы оставили купленную ими корову зимовать в крестьянском стаде. Когда выпал снег, пастух обул ее в лапти, чтоб не оставляла следов, увел ночью и продал на сторону. Весной общине пришлось уплатить соседям за кражу.

Разумеется, никакой близости между забытыми и неграмотными алакаевскими мужиками и жившим на хуторе барчуком, читавшим ученые книги, не могло быть. Но, по сохранившимся преданиям, он удостоивал внимания толкового и дельного молодого крестьянина Петра Асанина, избранного общественным арендатором. Ульяновы не ездили в церковь, и мужики прозвали Владимира Ульянова «Володькой-безбожником». Он же, видя перед собой деревню, где только два двора имели небольшие участки собственной, купчей земли, вызывавшей зависть у соседей, пришел к выводу, что народники идеализируют крестьянство либо по глупости, либо по незнанию. Живя на Алакаевском хуторе, он мог не только беспрепятственно изучать земские переписи и статистические сборники и читать труды народников, прославивших знатоками русской экономики, но и изобличать этих знатоков в рутине.

Правда, кругозор его не отличался широтой, и один из первых русских марксистов Туган-Барановский не без основа-

ний замечал впоследствии, что «история развития экономической науки ему почти неизвестна» и что «он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи». Безземельная Алакаевка, которую помещик освободил от крепостного права без выкупа, отрезав себе за это три четверти земли, находившейся в пользовании крестьянской общины, была нетипичной деревней. Богатых крестьян, ведущих не продовольственное, а коммерческое хозяйство и прибегавших к найму рабочей силы, В. Ульянов видел, лишь бывая у Елизаровых в Бестужевке. Прочитав книгу чиновника по устройству казенных земель в Таврической губернии Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство», он подхватил выводы автора, делившего крестьянство на три группы по достатку. Интерес его к общине носил предвзятый характер: он собирал доказательства, что община разлагается и что Россия вступила на путь капиталистического развития. Призывы Федосеева и Санина «анкетировать крестьянство» не были им забыты. Возможно, что для изучения деревни он пользовался разработанными ими опросными листками. В дальнейшем он не раз поручал своим самарским знакомым: народнику А. А. Преображенскому, жившему на хуторе Шарнеля, фельдшеру Д. А. Гончарову и статистику В. А. Ионову – заполнять для него в деревнях такие анкеты. (Они считали их его собственным «гениальным изобретением».)

Живя на хуторе, Ульяновы поддерживали отношения с деревней через кухарку Екатерину Фролову и бедного мужика Маврея Никонорова, которого они ежегодно нанимали обрабатывать огород. После тяжбы из-за украденной коровы отношения их с крестьянами наладились лишь благодаря Анне Ильиничне, считавшей своим долгом заниматься просветительской деятельностью. Вместе с дочерью работника Машей Никаноровой, носившей тяжелый ящик с лекарствами и крупой, она обходила избы и учила молодых матерей ухаживать за младенцами и прикармливать их смесями и отварами. Заранее она научила читать сына старосты – Костю Филиппова – и подарила ему букварь.

Сами Ульяновы жили в достатке. Младшие из них, Мария и Дмитрий, оставили идиллические воспоминания о местных лесах, о своих поездках и прогулках. Засуха и голод, от которых в 1891 году пострадало около миллиона самарских крестьян, их не коснулись. Лев Толстой и Короленко приехали в

ту осень в Самару, чтобы организовать помощь пострадавшим. Интеллигенция устраивала для мужиков бесплатные столовые. Городская управа получила от правительства и от частных лиц средства, чтобы обеспечить крестьян, забывавших избы и уходивших в город, временной работой. В. В. Водовозов, отбывавший в Самаре ссылку, в своих воспоминаниях рассказывает, что В. Ульянов занимал тогда особую позицию и всюду, где собиралось интеллигентное общество, выступал против оказания помощи голодающим, доказывая, что она «выгодна господствующим классам, поскольку ослабляет недовольство и отчаяние рабочих масс». Отдельные человеческие жизни и судьбы уже тогда не имели в его глазах значения.

Из всех идей Маркса больше всего его захватывали исторический детерминизм, фаталистическая уверенность в неизбежности разрушения капиталистического общества. Он говорил своим слушателям, что чем больше крестьян погибнет или разорится, тем скорее образуется в России капитализм, а с ним и пролетариат, который станет его могильщиком. Старшая сестра его не умела мыслить так абстрактно, как он. Она подкармливала деревенских ребятишек и занималась как раз той благотворительной деятельностью, которую ее брат осуждал и считал вредной: когда в 1892 году в Самарской губернии вспыхнула эпидемия холеры, она помогала лечить крестьян. Лекарствами ее снабжал фельдшер Дмитрий Александрович Гончаров, гимназический товарищ ее старшего брата, исключенный с последнего курса медицинского факультета Казанского университета; впоследствии земский врач, преследуемый советской властью и погибший в 1918 году от тифа, которым он заразился, оказывая помощь своим врагам-красноармейцам. По сохранившимся в Алакаевке воспоминаниям, Анна Ильинична, действуя по указаниям Гончарова, добровольно взявшего на себя тогда заведование тремя противохолерными участками, спасла от холеры мать Марьи Мавреевны. В 1893 году кончился гласный надзор над Анной Ильиничной, и в конце лета семья Ульяновых навсегда покинула алакаевский хутор. Уехавший в Петербург Ленин никогда больше не встречал алакаевских мужиков. Родные же его, подолгу жившие в начале века в Самаре, где находилось Бюро русской организации «Искры», а затем Восточное бюро ЦК РСДРП, забыли о своих деревенских знакомых на целых

четырнадцать лет. Вспомнили они о них лишь в 1907 году во время выборов во Вторую Государственную Думу, когда Богдановская волость выдвинула своим кандидатом алакаевского крестьянина Петра Асанина, набравшего на одиннадцать голосов больше, чем волостной старшина. Марк Елизаров, высланный из Петербурга и сотрудничавший в газете «Самарская лука», также выдвинул тогда свою кандидатуру в Думу от самарских социал-демократов, но неудачно.

«В 1907 году мой муж, будучи в ссылке за железнодорожную забастовку, работал в Кинеле, – вспоминала А. И. Елизарова в заметке, опубликованной в «Волжской коммуне» в 1929 году. – Он сообщил мне, что Алакаевка самая революционная деревня в районе. Я отправилась туда. Половину пути пришлось идти пешком. Я не узнала деревни. Крестьяне значительно политически выросли».

Сыновья Петра Асанина рассказывали мне, что на память об этой встрече она подарила их отцу «Воскресенье» Толстого. Хотя после этого ее связи с алакаевскими крестьянами опять порвались на целое десятилетие, в деревне ее помнили лучше, чем брата. В 1964 году я застала в живых лишь одного слепого старика, смутно вспоминавшего живших на хуторе господ. Не было уже ни Петра Асанина, умершего еще при жизни Ленина, ни его племянника Константина Филиппова, которого Анна Ильинична научила читать; ни Марии Мавревной, которой, как потом выяснилось, был адресован неотправленный конверт, обнаруженный мной в архиве. Зато дети их и многие пожилые алакаевские колхозники хорошо помнили, как она приезжала в деревню во время коллективизации и пыталась спасти знакомых крестьян от общей участи.

\* \* \*

Сестры считали своего брата, шедшего через горы трупов к намеченной им абстрактной цели, гением и были убеждены, что он защищает интересы трудящихся. Когда Марк Елизаров, согласившийся после октябрьского переворота занять пост наркома путей сообщения в ленинском Совнаркоме, получил сотни писем, в которых повторялся вопрос, «почему он, пользующийся репутацией честного социал-демократа,

связал свою судьбу с партией авантюристов-большевиков», он опубликовал в «Известиях» «Ответ друзьям и недругам», где пытался убедить своих противников, что Ленин и его товарищи по партии – «идейные борцы, которые всю свою жизнь отдали за великое дело любви к человечеству».

Когда через четверть века после отъезда Ульяновых с Алакаевского хутора Анну Ильиничну Елизарову, жившую в Петрограде на Широкой улице, разыскал через адресный стол усатый унтер-офицер, оказавшийся ее бывшим учеником – Костей Филипповым, – передал ей привет от Марьи Мавреевны, вышедшей замуж за его брата Матвея, и от своего дяди Петра Асанина и спросил, за какую партию голосовать на выборах в Учредительное собрание, можно не сомневаться, что он получил от нее совет голосовать за большевиков. Константин Филиппов, как и тысячи других солдат, поспешил вернуться в родную деревню, боясь опоздать к обещанному большевиками переделу земли.

Новая власть поощряла самосуды над помещиками и грабежи усадеб. Троцкий одобрял крестьян, которые «действуют по лезвию, огнем и веревкой». Ближайший сосед алакаевских мужиков, помещик Даненберг, попечитель сельской школы и председатель общества трезвости, неудачник-изобретатель, живший беднее многих крестьян, успел уехать на велосипеде на станцию и избежал расправы. Сын же его, мальчик-кадет, побегав в деревню и спрятавшись у своей бывшей няньки. Мужики арестовали его и отправили в Самарскую чрезвычайку. Вскоре имя его промелькнуло в списке расстрелянных за чуждое классовое происхождение, напечатанном в местной газете. Главного своего врага – мать кадета, пожилую, строгую барыню, которая сама управляла именем и сдавала земельную аренду, отстранив от дел непрактичного мужа, мужики во главе с дезертиром Игонькой повели в лес на расправу. Игонька не вытерпел и, не дойдя до него, сразмаху стукнул старуху кулаком по затылку: вышиб из нее дух. Крестьяне жгли усадьбы, школы, больницы, ломали в щепки господское добро и устраивали костры из книг.

Развязанный большевиками слепой классовый террор не различал правых и виноватых. Жизнь многих товарищей В. Ульянова по казанскому кружку обрывается в 1918 году. В Омске большевики расстреляли социалиста Константина Сараханова. Саратовский и Пензенский архивы хранят свиде-

тельства о последних днях Николая Мотовилова, по программе которого Ленин когда-то занимался. Когда дезертиры и батраки стали грабить и жечь усадьбы в Кузнецком уезде, где он был избран земским гласным, бывший зачинатель марксистских кружков попытался образумить их: напомнил, что материальные ценности принадлежат теперь им самим. Но мужики видели в нем теперь уже не революционера, а барина и арестовали его. Когда его выпустили из каталажки, он снова сделал попытку предотвратить погром. На этот раз его жестоко избили, и он сошел с ума под ударами и вскоре умер.

Потом эти же кузнецкие мужики, наверно, не раз пожалели о своем несчастном ученом барине, пытавшемся посвятить свою жизнь служению народу и справедливости. Так было и в Алакаевке. Когда в тенденциозной современной книжонке писательница Т. Барковская вывела Даненберга, спорящего с мужиком из-за межи, алакаевский уроженец Степан Асанин, помнивший с детства этого помещика, привившего ему любовь к науке, написал мне: «Даненберг – дворянин, и мне кажется невероятным, чтоб он пошел на такое мелкое и низкое плутовство».

А ведь он вырос в той же деревне, где и дезертир Игонька, убивший старую барыню. Видимо, далеко не все мужики сочувствовали расправам, но власть была дана именно тем, кто убивал и грабил.

## 2. ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Когда по Алакаевке прошел слух, что «Володька-безбожник стал царем», вся деревня обрадовалась своему везенью. Думали: при таких знакомствах никакие беды не страшны. В декабре 1917-го обмерили мужики саженью вместе с землемером все окрестные поля и разделили землю поровну: каждому двору по числу едоков. Не стало среди них безземельных. Если и осталась разница, то лишь в скотине, в инвентаре да в лошадях. В начале весны мобилизовали в Красную армию молодежь. А потом повадились приезжать из города продотряды, стали отбирать у мужиков хлеб. Вошел в силу бездельник Леонтий Филиппов, брат убитого барыню Игоньки, первым в Алакаевке записавшийся в коммунисты. Назначили его

председателем комбеда и заставили вместе с приезжими лазить по чужим закромам, «производить изъятие излишков». Но мужики из страха, как бы не вернулись помещики и не отобрали назад свою землю, поддерживали советскую власть. Окруженная лесами Алакаевка лежала в стороне от боев. Когда главнокомандующий Урало-Оренбургским фронтом Красной армии Яковлев, перешедший потом на сторону Колчака, решил уклониться от исполнения приказов Ленина и Троцкого, он перевел свой штаб в тихое место, в Кинель, по соседству с Алакаевкой. Вначале Красная армия отступала и целыми полками сдавалась в плен или переходила на сторону Народной армии, организованной эсерами. Но в октябре большевикам удалось отбить Самару, и мужики почувствовали, что власть их установилась прочно. Первенцы братьев Филипповых, Константина и Матвея, погибли в рядах Красной армии под Царицыном. Сын Петра Асанина Михаил, коммунист, сделался губернским комиссаром. Отец его и других мужиков поучал: «Вступайте в партию, будете, как дворяне!»

Когда в 1919 году алакаевцы узнали, что в Москве – голод, Михаил Асанин предложил им напомнить о себе прежнему соседу – отправили они ему в Кремль подарок, два вагона с продовольствием. Следующий год был неурожайный. Видя, что сытый с голодным в одной берлоге не уживутся, Петр Асанин уговорил крестьян ссыпать зерно перед севом в общий амбар. Сеяли всей деревней, будто одна семья.

Кругом недород, а у них и пшеница, и подсолнух хорошо уродились. Но в двадцать первом опять не было дождей, и весь хлеб на корню сгорел. Да и советы теперь некому стало давать. Из Самары пришло известие, что Михаила Асанина застрелил его товарищ по губкому, такой же комиссар, как он. Не поделили ли чего, или же правду написали, что произошел случайный выстрел, только старик после этого совсем перестал интересоваться общественными делами, слег и сам готовился умирать. А к осени нагрянул в Алакаевку продотряд. Забрал все, что осталось, подчистую. И самим нечего стало есть, и скотину нечем кормить, и на посев ничего не оставили.

Елизарова заведовала в Наркомпросе отделом детства. Она не забывала знакомую деревню и несколько раз присылала детям рис и какао от американской организации АРА. Но стиль работы Анны Ильиничны казался наркомпросовским бюрократам слишком индивидуализированным. Они жалова-

лись на нее за то, что она проявляет слишком живое участие к воспитанникам московских детских домов, почти каждого из них знает в лицо и следит за их дальнейшей судьбой. Брат, желая быть объективным, отстранил ее за это от увлекшей ее работы, сочтя ее благотворительность неуместной. Когда в Алакаевку перестали поступать посылки с рисом и какао, крестьяне решили послать в Москву ходока – Сергея Фролова, мужа кухарки, работавшей когда-то у Ульяновых на хуторе. До Ленина он не добрался, но Анну Ильиничну повидал. Она добилась того, что Ленин продиктовал девятого января 1922 года, на третий день Рождества, телефонограмму во ВЦИК:

«Прошу оказать содействие по покупке и получению хлеба для деревни Самарской губернии Алакаевки представителю ее – Сергею Фролову, а также по снабжению деревни семенами на яровой посев. Так как я был с этой деревней знаком лично, то считал бы политически полезным, чтобы крестьяне не уехали без какой-либо помощи наверняка. Прошу постараться устроить это и сообщить мне, что удалось сделать».

Однако, несмотря на телефонограмму главы правительства, Фролов и приехавший с ним Константин Дмитриевич Филиппов не добились ничего, кроме обещаний, и вернулись назад с пустыми руками. Месяца через два мужики, кормившиеся желудями и корой, решили опять напомнить Ленину о себе. На этот раз они послали вместе с Филипповым самого грамотного из молодых уроженцев деревни – Степана Дмитриевича Асанина, незадолго до того устроившегося на работу в самарский отдел народного образования (при тогдашней безработице это считалось великой удачей, но двадцатилетний Степан не посмел отказать приехавшему к нему с поручением от общества отцу). В 1967 году, уже будучи инженером на пенсии, он рассказал мне, через какие мытарства пришлось пройти ему и Филиппову, чтобы телефонограмма Ленина не осталась одним из сотен неосуществленных распоряжений, которые вождь пролетариата ежедневно подписывал в Кремле.

За четыре года гражданской войны Россия была доведена до обнищания и полной разрухи. Национализация предприятий, которая, по мнению большевистских идеологов, должна была мгновенно увеличить производительность труда и представляла собой, как они считали, высшую фазу организации промышленности, на деле привела к дезорганизации и бесхо-

зайственности. На Самаро-Златоустовской железной дороге из 670 паровозов более шестисот вышли из строя. Из-за эпидемии сыпняка любой переезд был связан со смертельной опасностью (поездка М. Т. Елизарова на торжественный акт в честь столетия Петербургского университета стоила ему жизни, хотя он и ехал в особом вагоне). На VII Съезде Советов Ленин поставил вопрос ребром: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»

Константину Дмитриевичу и Степану удалось с боя втиснуться в набитую людьми вшивую теплушку. Добравшись на пятые сутки до Москвы, они, несмотря на усталость, пошли на Неглинную, где жила Елизарова (постеснялись тратить собранные обществом деньги на извозчика). Елизарова позвонила в общежитие Третьего Дома Советов, велела им идти туда вымыться с дороги и выспаться, а утром опять прийти. Назавтра она потребовала, чтобы ходоков пропустили в Кремль, в приемную ВЦИК, где помещался ЦК ПОМГОЛа.

В России голодало тридцать шесть миллионов крестьян, и ПОМГОЛ почти не располагал возможностями помочь им. Сотрудники его с утра до ночи регистрировали поступавшие отовсюду запросы и отвечали на них бюрократическими отписками. К концу первой же недели, проведенной в столице, Филиппов заболел. Но Степан Асанин продолжал каждое утро приходить в Кремль, пока заместитель председателя ПОМГОЛа не выделил, наконец, Алакаевке сто пудов овса, гороха и муки из полутора миллионов пудов продовольствия, поступивших в декабре 1921 г. из-за границы от МЕЖРАБПОМа (Международной рабочей помощи). Хотя в сравнении с тем, что было отобрано у самих мужиков, это было каплей в море (в одном лишь 1919 г. Наркомпрод планировал «заготовить» в Самарской губернии шестьдесят миллионов пудов зерна, но продотряды нашли в закромах только двадцать три миллиона), эти сто пудов спасли тогда алакаевских мужиков от голодной смерти.

Степан довез заболевшего сыпным тифом Константина Филиппова до Кинели и оставил его у родственников в почти безнадежном состоянии. Один он доставил в Алакаевку муку и семена. Хотя из-за поездки в Москву он потерял место и остался без работы, а Константин Дмитриевич едва не умер, ни тот, ни другой никогда потом не жалели, что «порадели для общества». Весной 1922 года, когда больше половины посевных площадей осталось в России невспаханными и незасеян-

ными, их землякам было что посеять. Конечно, причиной этого была не только ленинская телефонограмма, но и усердие ходоков, благодаря которому его просьба превратилась в конкретную помощь крестьянам. Среди подписанных Лениным декретов и приказов эта телефонограмма остается единственным в своем роде документом.

Когда в 1931 году, пытаясь противопоставить бесчеловечной политике Сталина деревенскую политику своего брата, Елизарова опубликовала в «Правде» в день смерти Ленина заметку «Ленин и Самарская деревня», она рассказала в ней об этом факте, так и не найдя других, более значительных.

Однако и телефонограмма, и заметка о ней больше говорят о самой Елизаровой, чем о ее брате, видевшем в крестьянстве класс мелких собственников: человеческое сырье, которое предстоит переработать и перевоспитать. Сталин, конечно, имел все основания ссылаться на Ленина, так как копировал его приемы и прикрывал свои преступления цитатами из его статей.

### 3. «УРОКИ АЛАКАЕВЩИНЫ»

Исключенный из партии Троцкий недаром утешал себя рассуждениями, что «партия перестала быть партией». «Состав ее настолько изменился, что плагиат Сталина, присвоившего идеи, которые сам же осуждал, остался замеченным лишь немногими». Партия, действительно, стала другой. В июле 1917 года в ней состояло 240 тыс. членов. За шесть лет (1922-28) 260 144 члена выбыли или же были исключены. Зато после двух массовых призывов, «ленинского» и «юбилейного» (1927), в ее ряды нахлынули новички, среди которых преобладали люди с «низшим» или домашним образованием, не имевшие никакого политического опыта. Коммунисты, вступившие до октябрьского переворота, составляли в этой партии немногим больше одного процента.

Нетрудно было заранее предвидеть, что это меньшинство станет следующей жертвой генсека, ставшего единоличным диктатором. Сестры Ленина принадлежали именно к этому меньшинству.

Анна Ильинична, еще при жизни брата отстраненная от административной работы, сотрудничала в Истпарте, еще в

1923 году переданном, по приказу Сталина, из ведения Наркомпроса в ведение ЦК ВКП(б), взятом им под собственный контроль, а в 1928 году слитым с Институтом Ленина. Уже тогда над журналом «Пролетарская революция», который редактировала Анна Ильинична, и над старым архивом ЦК РСДРП, за которым она, по поручению брата, ездила в 1907 году в Стокгольм и в Женеву, нависла опасность.

Младшая сестра, Мария Ильинична, одно время выступавшая, как и Крупская, на стороне «новой оппозиции», в отличие от старшей сестры, оставалась авторитетной партийной работницей, участвовала в партийных съездах и конференциях и была избрана членом ЦКК (Центральной контрольной комиссии). Это не помешало Сталину, желавшему покончить с печатаньем писем о злоупотреблениях и коррупции и поставить под свой контроль созданное ею рабковское и селькоровское движение, отстранить ее весной 1929 года от должности ответственного секретаря «Правды», которую она занимала двенадцать лет.

Крупская и Мария Ульянова участвовали в XVI партконференции, где Сталин огласил свой первый пятилетний план, обещавший увеличить промышленную продукцию на 180%, производство машин на 230% и предметов потребления – на 144%. Это был план форсированной индустриализации, которая, как он сам прежде предупреждал, должна была искусственно вызвать в стране голод. Но теперь он утверждал, что благодаря коллективизации сельскохозяйственная продукция к концу пятилетки возрастет на 55%, так как посевные площади увеличатся с трех миллионов гектаров до двадцати семи. Сталин сообщил на конференции, что коллективизация развивается триумфальными темпами; что намеченные цифры уже перевыполнены на 149% и в колхозы уже втянуто двадцать миллионов крестьян.

Как ни изолированы были сестры Ульяновы от действительности, они отнеслись к коллективизации, как и ко всему, что исходило от Сталина, недоверчиво. Правда, обе они не возражали против крупных хозяйств и считали, что намеченный их братом путь к социализму лежит в деревне через совхозы и распространение передового опыта. Но они осуждали насилие и на всякого, кто был за колхозы, т. е. за деревенскую политику Сталина, смотрели теперь как на личного врага. Весной 1929 года они порвали отношения с А. А. Преображен-

ским, бывшим «алакаевским соседом», в молодости жившим на хуторе Шарнеля, в четырех верстах от Алакаевки, вызванным Лениным за несколько лет до его смерти в Горки, чтобы управлять хозяйством. Бывший народник, превратившийся потом в ленинца, судил теперь обо всем, что происходило в деревнях, лишь по газетам. Он был на семь лет старше Ленина. Но, овдовев, уже семидесятичетырехлетним стариком женился на дочери раскулаченного крестьянина, поступившей к нему в домработницы. Жена его Ксения, работавшая в Горецком совхозе, рассказывала мне в начале 70-х годов, что, когда она вспоминала о пережитых ее семьей бедствиях, муж пугался, не хотел ей верить и требовал, чтоб она перестала распространять антисоветские слухи. Он признался ей, что сестры Ленина, жившие каждое лето в Горках в большом доме в нескольких шагах от флигеля управляющего, положили конец их сорокалетней дружбе «из-за Рыжего» (так Преображенский называл своего зятя Владимира Сорина, заместителя директора центрального Партархива). Холуйствовавший перед Сталиным Сорин состряпал ему в угоду брошюрку «О разногласиях Бухарина с Лениным», и родные Ленина, осуждавшие «школу Бухарина», пока они считали Сталина ее представителем, возненавидели теперь не только Сорина, но и его родственников.

Сестры догадывались, что за марксистско-ленинским фасадом сталинских формул прячется кровавая ложь. Младшая из них из писем селькоров успела узнать, что, хотя Сталин говорит и пишет о добровольной коллективизации, во многих деревнях крестьян заставляют вступать в колхозы насильно.

Анна Ильинична стала беспокоиться о судьбе своих алакаевских знакомых. Больная, шестидесятипятилетняя, она в конце весны 1929 года решила навестить их, чтобы посмотреть, как осуществляются инструкции Сталина в деревне, к которой их семья относилась как к своей вотчине. Мария Ильинична, которой уже не надо было теперь по утрам спешить на работу в редакцию, поехала вместе с ней. Свидетельницу их поездки я нашла через четыре десятилетия после нее в предместьи г. Куйбышева Смьшляевке. Это была продавщица хлебного ларька, жена отставного полковника Александра Матвеевна, внучка батрака Ульяновых Маврея Никанорова, дочь Матвея Филиппова и Марьи Мавреевны.

Александра Матвеевна вспомнила, как однажды остановился перед их пятистенком автомобиль. Из него вышли две седые женщины. К удивлению девочки, воображавшей, будто сестры Ленина ходят в золоте, как сказочные царевны, и будто платья на них должны быть золотые, гости были во всем черном. Марья Мавреевна, увидев гостей, поставила самовар, принялась стряпать блины, а Шуру послала сбегать за «дядей Костей», избранным председателем колхоза. После чаепития он повел Ульяновых по деревне, которую они не видели больше двадцати лет. Они зашли в заброшенный и обветшавший дом Петра Асанина; поговорили с мальчиками-сиротами, детьми его убитого сына, и пообещали устроить их учиться в техникум. Чтобы угодить гостям, братья Филипповы, Константин и Матвей, хвалили колхозную жизнь, с которой еще не успели познакомиться, так как колхоз организован был недели за две до их приезда.

В безземельной Алакаевке, где крестьяне и до революции вынуждены были жить артельной жизнью и сообща арендовать пастбища и поля, хотя каждый и вел отдельное хозяйство, организация колхоза прошла спокойнее, чем в других самарских деревнях. Кулаков в деревне давно уже не было (двух мужиков, имевших собственную землю, раскулачили еще в Гражданку, хотя участки у них были небольшие, вдвое меньше ульяновского). Привычка к артельной жизни сказалась здесь уже в годы нэпа, когда мужики на добровольных началах организовали несколько товариществ и сообща приобрели в общее пользование конную сеялку и молотилку.

Гости, конечно, понимали, что причиной доверия алакаевских крестьян к советской власти было знакомство с ними и уверенность, что за них есть кому заступиться, как бы ни сложилась судьба остального крестьянства. Ничего ужасного в Алакаевке пока не случилось. Константин Дмитриевич рассказывал им, что незадолго до сева приехал в деревню из Кинеля председатель райколхозсоюза Жмуров, в прошлом первый во всей волости конокрад. Привез с собой корреспондента. Ну, и свои активисты – председатель сельсовета Леонтий и потомственная беднячка «кума Дунька» – предупредили народ, чтоб записывался в колхозы. Иначе силой заставят. Ну, надо так надо. Начальству виднее.

Название колхозу придумали «Уголок Ленина». Константин Дмитриевич, с детства знавший все окрестные поля, хоть

и устал весной и приобрел новое прозвище «Катун» за то, что бегал с участка на участок, стараясь все окинуть своим хозяйским глазом, уверял, что, если привыкнуть, можно хозяйничать и сообща.

Прощаясь, Ульяновы попросили держать их в курсе деревенских событий. Сам Константин Дмитриевич был малограмотный. Ему легче было поле вспахать, чем написать письмо. Но в семье у его брата Матвея подрастали грамотные люди: Шура и внук Ваня, сын его погибшего на фронте первенца, учились в школе сельской молодежи.

Хотя в Алакаевке коллективизация и прошла довольно благополучно, Анна Ильинична вернулась из поездки расстроенная. Работая над книгой о своем старшем брате Александре, она перечитывала его программу, в которой он писал, что революции совершаются во имя «материального благосостояния личности и ее полного, всестороннего развития». Однако в Алакаевке царили такие же бедность и бескультурье, как и в дни ее юности. Она не решалась пользоваться деревенской посудой, возила с собой складную ложку, вилку и стаканчик. Как во многих поволжских деревнях, в Алакаевке некоторые семьи были заражены бытовым сифилисом, занесенным с солдатчины кем-то из мужиков. Грамотных крестьян, читающих газеты, и теперь легко было пересчитать по пальцам. В политическом отношении в деревне обозначился резкий упадок в сравнении с тем, что сестры видели там в 1907 году, когда обе они были приятно поражены тем, что мужики интересуются политикой и даже наукой. Мужики уже не собирались на бревнах возле дома Петра Асанина – обычном месте сельских сходов, не спорили о партиях и о выборах, не читали вслух «Астрономию» Фламариона и романы Толстого. Избы обветшали. Новых никто не строил: невозможно было ни за какие деньги достать не только бревна, но даже гвозди. Несмотря на безземелье, каждый уважающий себя хозяин держал до революции двух лошадей: одну – на выезд, другую – для полевой работы. Молоко в деревне никогда не переводилось. Теперь жили куда скуднее. Репрессий против зажиточных крестьян, налоги и грабежи лишили их труд смысла. Анна Ильинична не могла не связать появившейся у мужиков апатии, охлаждения к работе с тем, что в деревне, где до революции выработался особый тип грамотного, толкового крестьянина-арендатора общественных земель и ходатая по мирским де-

лам, теперь власти выдвигали на роль вожаков бывших членов комбеда – Леонтия Филиппова и батрачку Евдокию, пьянчужку, прозванную в деревне «кумой Дунькой», никогда не ведших собственного хозяйства.

Анна Ильинична знала, что крестьянская работа требует навыков и умения, которых нет у этих активистов, возглавлявших в 1918 году грабежи и убийства. Опасения ее вскоре подтвердились.

Через месяц от Константина Дмитриевича пришло письмо о том, что после их отъезда тринадцать середняцких семей, в том числе и его семью, исключили из колхоза и имущество их распродали с торгов. Анна Ильинична не могла не видеть связи между этими событиями и своей недавней поездкой в Алакаевку.

Какой же произвол воцарился в деревне, если местные активисты из зависти могут теперь любого объявить кулаком или подкулачником и обобрать?

Филиппов молчал в своем письме о зависти и интригах председателя сельсовета. Он писал лишь о том, что у него украли корову и что он пожаловался в милицию. Вором оказался один из братьев Леонтия, и тот после этого затаил против него злобу. А вскоре нашёл он себе еще одного врага: в Алакаевку опять пожаловал председатель Кинельского райколхозсоюза цыган Жмуров. Константин Дмитриевич повез его смотреть посевы. По дороге Жмуров похвалил его дрожки. Прощаясь, опять о них вспомнил и предложил обменять на свои – казенные, неказистые. Но Константин Дмитриевич не согласился, не стал потакать жулику.

Не прошло после этого и недели, как Жмуров и Леонтий вынесли постановление исключить его и других середняков из колхоза и раскулачить. Жмуров приехал на торга и, не заплатив ни копейки, увез дрожки и самовар Константина Дмитриевича. Забрали у него все его имущество, даже чугуны, подушки и кур с цыплятами. Но Леонтий и теперь не желает уgomониться и добивается, чтоб его, брата Матвея и других середняков выслали на Соловки как подкулачников. Вскоре пришло письмо и от Кузьмы Фролова, сына работавшей на хуторе кухарки, так же попавшего в число раскулаченных.

Анна Ильинична посоветовалась с Крупской, избранной на съезде членом президиума ВЦИК, и подала туда заявление, где засвидетельствовала, что лично знает всех раскулаченных

алакаевских колхозников; что все они до революции были безземельными бедняками; что старшие сыновья Константина и Матвея Филипповых погибли в Красной армии под Царицыном, а Кузьма Фролов лишь недавно демобилизовался. В Алакаевку из Москвы командировали двух ответственных партийных работников. Они провели расследование и подтвердили, что алакаевские крестьяне стали жертвами беззакония и грабежа. Жмурова, успевшего за месяц еще выше подняться по служебной лестнице, поспешили перевести в другой район. Ни дрожек, ни самовара он так и не вернул. Леонтий Филиппов как был председателем сельсовета, так и остался. Члены комиссии, вернувшись в Москву, заверили Анну Ильиничну, что никаких кулаков в Алакаевке не обнаружилось и что всех раскулаченных середняков восстановили в правах. (Лишь впоследствии, когда один из сыновей Петра Асанина стал хлопотать за свою сестру Лукерью, она узнала, что через несколько месяцев Леонтий все-таки добился высылки на Север нескольких семей; среди них оказалась и сноха Марьи Мавреевны, мать внука Вани, со своим вторым мужем, но Филипповы не посмели ей об этом написать.)

Секретарь Средне-Волжского крайкома М. М. Хатаевич опубликовал в «Известиях» статью «Об уроках алакаевщины», где осудил «перегибы» по отношению к середняку. Имя ульяновской вотчины стало именем нарицательным, прогремело на всю страну, хотя никто из виновников произвола не был наказан.

Сталин, сознававший, что загнать крестьян в колхозы он может, только опираясь на полууголовные элементы, на добровольных палачей и войска, видя, что дело уже сделано и что темпы коллективизации давно превысили запланированные им цифры, счел нужным умыть руки. Вслед за Хатаевичем он выступил 2 марта 1930 года в «Правде» со статьей «Головокружение от успехов», в которой свалил ответственность за злоупотребления на не в меру усердных исполнителей и изобразил из себя защитника пострадавших крестьян. Затем он подписал циркуляр «О левых перегибах» и позволил недовольным единоличникам в нечерноземных районах, не подлежавших по его плану сплошной коллективизации, выйти из колхозов. Однако разрушение сельского хозяйства продолжалось.

Организация колхозов позволила Сталину централизовать управление сельским хозяйством. Уже в первые годы кол-

лективизации оно обросло двухмиллионным бюрократическим аппаратом партийных и советских чиновников и толкачей. Вслед за наркомземом и наркомпродом выросли колхозсоюзы, колхозцентры, тракторцентры, хлебоцентры и др. паразитические организации, кидавшиеся от одного «новшества» к другому, чтобы оправдать свое существование в глазах начальства. На подмогу сельской бедноте из городов прислали двадцать пять тысяч рабочих и назначили их председателями колхозов без всякого обучения и подготовки, как будто пролетарское происхождение могло заменить им знания. Алакаевцам приказали обобществить весь скот.

Потом Анна Ильинична получила от деревенских знакомых письмо о том, что на общем собрании им велели проголозовать за коммуны и поселиться всем одной семьей.

Неподалеку, в деревне Сколково, еще в 1920 году была организована коммуна с красивым названием «Хлеб, свет и свобода», но руководители ее, развалив переданное в их руки помещичье хозяйство, перегрызлись между собой и стали обвинять друг друга во вредительстве и писать кляузы во все инстанции. Анна Ильинична сочла переход к коммуне преждевременным. После этого райколхозсоюз задумал укрупнить алакаевский колхоз и объединил Алакаевку с большим, далеко от нее расположенным селом Ново-Запрудным, где народ не хотел вступать в колхоз.

Хотя между обеими деревнями не было никаких хозяйственных связей, Алакаевка отныне стала считаться отделением гигантской экономии, существовавшей только на бумаге.

#### 4. ПЕРЕПИСКА С «ПРОЛЕТАРИЕМ»

Управляющим в алакаевское отделение назначен был посыльный московского почтамта Алексей Григорьевич Князев, незадолго до этого женившийся на московской мещанке, дочери хозяйки квартиры, где он был квартирантом, имевшей грудного ребенка. Жена его Полина Николаевна была женщина предприимчивая. Время было голодное. Женив на себе квартиранта, она решила превратить его из посыльного в пролетария и воспользоваться предоставленными последним привилегиями. Князев ушел с почтамта, поступил на два месяца

на стеариновый завод, вступил там в партию и вызвался поехать в деревню, хотя в сельском хозяйстве ничего не смыслил. Даже сорок лет спустя старые алакаевские колхозники при упоминании имени своего управляющего, а затем второго председателя, забыв зло, смеялись и вспоминали, как прибывший из столицы руководитель спросил у них, на каких деревьях растут мочала (не знал, что на мочала дерут и вымачивают липовый луб).

Услышав от колхозников, что братья Филипповы знакомы с родней Ленина, предусмотрительная супруга его, державшая своего «пролетария» под каблуком, сочла, что им и самим не мешает заручиться такими влиятельными связями. Вскоре Н. К. Крупская получила из Алакаевки письмо: присланный в деревню пролетарий возмущался раскулачиванием К. Д. Филиппова и других середняков. Крупская тепло ему ответила, сообщила, что она только что отправила бригаду политпросветчиков на Урал, в огромную Краснополянскую коммуну, объединяющую шестьдесят тысяч крестьян (видимо, тогдашняя гигантомания и ей импонировала). Написала, что Алакаевки она не знает и что она переслала его письмо Анне Ильиничне. Вскоре Князев получил на свое письмо и второй ответ.

«...Поступлено с ними было, действительно, безобразно, и я могу только удивляться сознательности некоторых из них, например, Кузьмы Фролова, который написал мне: „Как быть, в новом деле без ошибок не обойтись, на ком-нибудь и ошибаться, верно, надо“, – писала Елизарова. – Отчасти я приписываю это особому доверчивому отношению в этой деревне к советской власти, наверно, из-за Вл. Ильича, которого они хорошо помнят».

«...Нельзя создать колхозы силами одних батраков и пастухов, не имеющих хозяйственного опыта» (цитирую эту фразу по памяти: «Литературная газета», где я в 1968 году опубликовала письма, выпустила ее и заменила многоточием), «По-моему, надо привлекать таких «наших» по духу середняков, как Фролов, Филипповы Матвей и Константин и некоторых других в колхоз, они будут полезны там».

Анна Ильинична сообщала Князеву, что недавно подробно написала своим алакаевским знакомым, почему им не следует объединяться в коммуну.

За два года года Князев получил от Анны Ильиничны четыре письма. Одно из них он скрыл от меня, но в архиве Анны Ильиничны я нашла его копию.

Письма эти позволили мне увидеть картину, типичную для эпохи коллективизации, когда рабочих присылали в деревню часто для того, чтобы руководить репрессиями, а не сельским хозяйством.

Когда Анна Ильинична, в кругу родных осуждавшая насильственную коллективизацию, писала Князеву, что середняки будут полезны колхозу, то этим она лишь констатировала то положение, что в районах сплошной коллективизации для крестьян уже нет выбора. Их место либо в колхозе, либо в местах заключения, от которых она пыталась спасти своих старых знакомых.

Сами крестьяне тоже понимали, что прежнюю жизнь уже не вернешь, и старались, как умели, освоиться с новыми формами хозяйства, навязанными им государством.

Константин Дмитриевич предложил засеять поля не только пшеницей, но и подсолнечником. Начал постройку конюшни и коровника; завел племенных свиноматок. По старой привычке, он хлопотал за все общество и ночей не спал из-за общего хозяйства, словно оно было его собственное. Князеву не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что над его распоряжениями мужики смеются и не торопятся их выполнять. По совету жены, он назначил Константина Филиппова своим помощником, надеясь, что тот будет работать, а он – рапортовать об успехах. Так и вышло. «Катун» бегал в своих лаптях по полям, а Князев сидел в конторе. Но мужики, придя к выводу, что его держат «для мебели», даже обращаться к нему совсем перестали и со всеми делами шли к «Катуну», словно не Князев, а он был управляющий.

Летом, в страду, Князев совсем отошел от дел, ссылаясь на нездоровье. Зато после уборки, когда правление, обменивавшее семечки на подсолнечное масло, выдало колхозникам аванс, себя не обидел. Когда Константин Дмитриевич решил построить свиноферму, Князев опередил его и написал Анне Ильиничне, что задумал дело «в мировом масштабе», но у колхоза не хватает средств. Сестры Ульяновы и Крупская сложились, выслали в Алакаевку тысячу рублей, но не на имя Князева, а на имя Константина Дмитриевича. Самолюбие Князева было уязвлено. Зависть к «Катуну» сблизила его с его врагом

– Леонтием. Вскоре они стали друзьями и собутыльниками. «Кума Дунька» увивалась вокруг жены Князева Полины, передавала ей разговоры и сплетни. И та потом жалила своего незадачливого «воеводу» напоминаниями, что мужики смеются над его жадностью и бездельем и что даже маленького деревенского начальника из него не вышло. Прожив в Алакаевке полгода, он возненавидел мужиков и вскоре нашел себе занятие, более соответствовавшее его склонностям: вместе с Леонтием стал выискивать, кто из них тайный враг советской власти. Это дело у него пошло и сразу подняло его в глазах районного партийного начальства.

По первому же доносу, написанному Князевым и Леонтием, ГПУ арестовало и выслало на Север как кулаков несколько семей из тех тринадцати, которых комиссия, приезжавшая из ВЦИК по требованию Анны Ильиничны, признала середняками. Ободренный успехом, Князев, не сомневавшийся, что ГПУ поверит партийному пролетарию больше, чем беспартийным мужикам, стал шпионить за Филипповым и Фроловым, неосторожно выразившими недовольство бестолковыми порядками.

К осени донос на них был состряпан, но Полина Николаевна сочла, что на этот раз опасно действовать в обход секретаря крайкома, лично замешанного в алакаевскую историю. По ее совету, Князев поставил Анну Ильиничну в известность, что намерен перед своей поездкой в отпуск показать Хатаевичу материалы, доказывающие, что Фролов и Филиппов – кулаки и вредители. «Пролетарий», уже пришедший к выводу, что прислан он в деревню, чтобы карать и преследовать, видимо, рассчитывал и на ее согласие и одобрение. Последствия его письма были для него неожиданными. Ответ Анны Ильиничны не заставил себя ждать:

Самарский округ,  
Кинельский район, деревня Алакаевка  
тов. Князеву.

Отпр. А. И. Елизарова  
Москва, Манежная, 9. 13/XI-30 г.

Уваж. товарищ!

Сейчас получила ваше письмо от 8/XI и была очень и неприятно удивлена им. Все время, что вы работаете в Алакаевке, вы писали мне (письма ваши у меня сохранились), что

алакаевцы такие мужики, что с ними не только колхоз, но и коммуны построить можно, и сами провели помощником председателя колхоза Константина Филиппова и писали мне о нем, что мужик деловой и хороший работник. А теперь после нескольких месяцев работы с ними пишете, что это кулаки и вредители. Как же вы все время работали с ними и давали лучшие отзывы. Тут, верно, какая-нибудь ошибка с вашей стороны или какая-нибудь временная ссора. Откуда они стали сразу кулаками?

Что в прошлом году они были раскулачены неправильно, об этом есть у меня постановление комиссии ВЦИК, которая ездила в Алакаевку и отдала под суд Жмурова, сделавшего это по личной злобе, и сместила весь РИК. И все, что они мне писали, было подтверждено комиссией...

И прошу вас выслать мне материалы против Филиппова и Фролова прежде, чем вы покажете их Хатаевичу, потому что, не видя материалов, я ничего не могу понять в том, за что вы обвиняете этих крестьян.

А еще лучше было бы, если бы вы приехали сами, как собирались, и рассказали бы все. Филиппов пишет, что работать с вами хорошо, но что теперь, когда в колхоз влили другую деревню, он боится, что не справится по малограмотности с расширенной работой. Спешу по вашей просьбе отправить письмо и жду вашего ответа и хороших результатов.

С коммун. приветом А. Елизарова

13 XI-30 г.

Князев и его жена поспешили воспользоваться приглашением. При свидании Анна Ильинична уговорила «пролетария», оказавшегося круглым невеждой, оставить ее знакомых крестьян в покое и заставила его послать Филиппову из Москвы дружеское письмо, прося забыть прежние разногласия и обиды.

Сделал он это только из страха, как бы не прогневить сестру Ленина, но донос на Константина Филиппова не уничтожил. Когда перед весной перевели его в Кинель и назначили вместо Жмурова председателем райколхозсоюза, он отдал донос Леонтию, надеясь, что тот со временем доведет начатое им дело до конца. На новой должности Князев так же обнаружил полное отсутствие организаторских способностей и невежество. Отвечая на его последние письма, Анна Ильинична уже не может удержаться от упреков:

...«Хотелось бы надеяться, что школа к тому времени у вас будет готова и выборные лица в колхозе будут подходящие, – вообще, что колхоз встанет хоть немножко на ноги и что вы поможете ему не строгим администрированием и угрозами, а советом и делом. Ведь если во главе стоят не подходящие люди, то как делу идти? От этого, верно, и лесопильный станок не налажен, и крыша на конюшне не покрашена. А вы сказали, что покрасите...»

Не знаю, за какие проступки, но проштрафившегося начальника в 1933 году перевели на Колыму. Однако и в тамошнем колхозсоюзе он не удержался. Вскоре устроился не то завхозом, не то снабженцем в Гулаг, к какому-то генералу НКВД, и оказался, наконец, на своем месте. Жена же его поступила на должность надзирательницы в женскую тюрьму.

## 5. СИСТЕМА РУКОВОДСТВА

Когда Князева забрали в Кинель, председателем «Уголка Ленина» опять стал Константин Дмитриевич. Тем временем Сталин произвел реорганизацию партийного аппарата, и функции отделов по работе в деревне перешли к отделам массовых кампаний. С приближением весны Константина Дмитриевича стали почти каждую неделю вызывать в райцентр на собрания, где местные и приезжие начальники и инструктора упражнялись в красноречии. На каждую поездку уходил целый день. Филиппов молчал, никогда не брал слова, как другие. Вид у него всегда был отсутствующий. Он думал о лошадях, которые стоят без фуража; о том, что не хватает посевного зерна.

Когда, благодаря хлопотам сестер Ульяновых, которым он пожаловался на очередные беды, весной в колхоз подбросили зерно и фураж, он успокоился, но ненадолго. Вскоре началась посевная кампания. Шли дожди. Сеять пшеницу в грязь было бесполезно. Несмотря на это, газеты каждый день на первой странице печатали рапорты о досрочном завершении сева. В конторе «Уголка Ленина» околачивались приезжие толкачи и корреспонденты. Секретарь райкома выругал Филиппова за то, что он вовремя не отселялся, а Князев пригрозил снять его с работы. Константин Дмитриевич занимался сельским хозяйством сорок лет: с семилетнего возраста помо-

гал отцу сеять и пахать, а с тринадцати лет, осиротев, сам вел с братом хозяйство. Он видел, что погода для сева неподходящая. Но люди, которые распоряжались колхозами, думали не об урожае, а лишь о том, чтобы первыми отрапортовать о выполнении кампании. Ему ясно было, что они понятия не имеют о крестьянской работе. Но если не понимают ее, то зачем суются в указчики? Зачем позволяют Игоньке, Леонтию и Жмурову губить честных мужиков? Зачем разрушают своими «кампаниями» вековые крестьянские навыки?

Константин Дмитриевич видел, что спорить с этими людьми бесполезно и что остается лишь одно: жить своим умом, действуя в обход вредным порядкам, и ждать: авось начальство переменится или другие порядки заведет?

Работа у председателя оказалась куда мудренее, чем он предполагал. Если бы не благодарность старушкам, спасшим его от горькой доли, постигшей миллионы других честных мужиков, и не страх, что какой-нибудь приезжий пустомеля, вроде Князева, окончательно разорит деревню, он бы от нее сразу же отказался.

Анна Ильинична между тем не забывала об Алакаевке. 21 января 1931 года она опубликовала в «Правде» заметку о том, как Ленин помог голодающим крестьянам, звучавшую как вызов политике Сталина. А в июне опять приехала навестить знакомых крестьян; на этот раз без сестры, проболевшей всю весну и уехавшей вместе с Крупской в Крым. Сопровождала ее молодая фельдшерица Александра Николаевна Винокурова («Александриночка», как называла ее Анна Ильинична). В обязанности ее входило не только следить за ее здоровьем, но и оберегать ее от неприятных впечатлений. В архиве Анны Ильиничны сохранилось письмо, посланное Александриночкой ее сестре.

«20 августа 1931.

Дорогая Мария Ильинична!

Не удалось написать из Алакаевки, т. к. почта бывает раз в неделю. Прожили в деревне четыре дня, спали на хорошем свежем сене, кормили нас хорошими молочными продуктами, были сыты.

Анна Ильинична осталась больше довольна деревней, чем в 29 году. У крестьян дела с колхозом наладились. Колхоз хороший, крепкий. Настроение у крестьян д. Алакаевки почти

хорошее. Ну а уж как встретили крестьяне А. И., не смогу так хорошо описать. Только вот один крестьянин прямо бросился в машину, когда мы приехали, обнял А. И. и начал целовать в обе щечки. Ну и смех же у нас был... Была послана из Крайкома с нами товарищ Андрианова в деревню. Она провела беседы с крестьянами. Нам хорошо было с ней. Она веселая и деловая. А. И. много гуляла. Много бесед вела с крестьянами. Было одно собрание. Неприятного ничего не было, чтобы могла нервничать А. И. Она загорела, все время была веселая...»

Нетрудно догадаться, что смешной крестьянин, бросившийся целовать Анну Ильиничну, – это Константин Дмитриевич, обаянный ей своим спасением.

В 1970 году я разыскала А. Н. Винокурову, и она подробно рассказала мне о том, как вместе с Анной Ильиничной совершила прощальную поездку на пароходе по Волге. Анна Ильинична настроена была грустно, всю дорогу вспоминала мать и старшего брата. В Казани партийные власти оказали ей сухой и казенный прием. Ожила она только в Алакаевке, где к ней приходили в жалобах крестьяне не только из ближних, но и из дальних деревень. Помня старый обычай собирать сельские сходы на бревнах, Анна Ильинична устроила там колхозное собрание. Оправдываясь перед колхозниками за происходящее, она уверяла их, что Ленин был против насильственной коллективизации и что он готовил для них прекрасное будущее.

Благодаря ее хлопотам, крайисполком отпустил Алакаевке лес, чтобы достроить деревенскую школу. В архиве Анны Ильиничны сохранились два письма от сопровождавшей ее сотрудницы Е. Андриановой, которую она, прощаясь, просила не забывать алакаевцев. Я потратила много дней на поиски этой женщины, жаловавшейся в своих письмах на мешающий работе бюрократизм. Но никто из старых самарских агрономов и зоотехников, доживших до конца шестидесятых годов, не помнил ее. Единственным, что осталось от Андриановой, кроме упомянутых писем, оказалась ее анкета, найденная мною в архиве одного из сельскохозяйственных главков. Из нее видно, что во время революции Е. Андрианова кончила гимназию и задумала посвятить себя строительству социализма. В анкете был указан ее адрес. В деревянном доме недалеко от набережной Волги старики с трудом смогли

вспомнить, что на верхнем этаже когда-то жила женщина с маленькой девочкой. Никто не знал, когда и как она исчезла. Взял ли ее Хатаевич, вскоре переведенный Сталиным в Днепрпетровск, вместе с другими преданными ему сотрудниками на Украину, где все они через несколько лет были расстреляны? Или ее арестовали в Самаре, где после ареста Хатаевича уничтожено было почти все среднее звено партийного и советского аппарата? Ю. К. Милонов, крупный работник Самарского обисполкома, которому посчастливилось дожить до реабилитации и на старости лет вернуться с Колымы в Москву, уверял меня, что именно Хатаевичу принадлежала инициатива свержения Сталина и замены его Кировым и Крупской, получившими на XVII съезде при тайном голосовании больше голосов, чем «гениальный секретарь». Но Киров, узнав об этих планах, струсил и сам рассказал о них Сталину. Хатаевич, который в 1918 году захвачен был в Самаре чехами, подвергнут пыткам, но все-таки остался жив, на этот раз был замучен на смерть. Должно быть, и Андрианова умерла в лагере или была расстреляна. Ни Анна Ильинична, ни Александриночка, разумеется, не могли себе представить, какая судьба ждет их веселую, симпатичную спутницу.

Гуляя по алакаевским лесам, Анна Ильинична с умилением рассказывала Александриночке, как мать ее, Мария Александровна, во время прогулок сожалела о каждом случайно растоптанном цветочке. На глазах у нее часто выступали слезы, но они были вызваны не сентиментальностью, как казалось Александриночке, а тревогой. Незадолго до отъезда Анны Ильиничны Сталин снял с работы и отправил в ссылку директора института Маркса-Энгельса Рязанова, уличенного в том, что он сохранил кое-какие документы, принадлежавшие РСДРП, в организации которой и она, и ее муж принимали активное участие. Анна Ильинична беспокоилась, что Сталин прикажет уничтожить спасенный ею Женевский архив и что вся работа, которой она посвятила последнее десятилетие, пойдет прахом. Александриночка напрасно уверяла Марию Ильиничну, что старшая сестра ее не увидела и не услышала в деревне ничего такого, что могло бы ее расстроить. Крестьяне, обращавшиеся к ней за помощью, рассказывали ей о бедствиях, насилии, разоренных хозяйствах. Речь шла не о цветочках, которые оплакивала ее мать, а о загубленных человеческих жизнях. Константин Дмитриевич, по обыкновению,

много не говорил, но зато показал ей полученное им еще в начале весны письмо с грифом «правительственное, секретно», в котором председателю колхоза предписывалось подчистую сдать государству все зерно, в том числе и семенной фонд. Прочитав это письмо, приказывавшее ему накануне сева оставить хозяйство без семян, Анна Ильинична не могла не понять, что тот, кто наслал на крестьян объедал и опивал вроде Жмурова и Князева, не боится «искусственно вызванного голода», против которого сам же прежде предостерегал.

Вернувшись в Москву, Анна Ильинична надолго расхворалась. Но Константин Дмитриевич, почувствовав ее поддержку, осмелел. Он делал вид, будто выполняет присланные из района и из края инструкции, но работал, как привык. Выручала его и быстрая походка. Никакого транспорта у него было. Колхозные поля были лоскутами разбросаны то там, то здесь, и ни один из приезжих толкачей и инструкторов не мог за ним угнаться. Мужики видели хитрости своего председателя, но прикрывали его. Только сопротивляясь циркулярам и приказам, мог он спасти Алакаевку от надвигавшегося голода. Леонтий шпионил за ним, но он был сыном охотника, никогда не занимался крестьянским трудом, и ничего в нем не понимал. Хотя весь хлеб теперь после уборки увозили из деревень в города в счет обязательных госпоставок, устилая дороги толстым слоем зерна, два года алакаевскому председателю удавалось вести хозяйство так, что и государству его колхоз сдавал больше хлеба, чем соседние деревни, и колхозникам выдавал продукты на трудодни. В 1933 году, в конце января, как лучшего в крае председателя, беспартийного Константина Дмитриевича, на зависть его врагам, избрали членом ВЦИК, а затем включили в состав Самарской делегации и послали на Первый съезд колхозников-ударников. Когда вожди партии фотографировались с самарской делегацией, посадили его между Сталиным и Калининым. Сталин, хотя и одет был по военному, в кителе и в сапогах, и держался так строго, что другие вожди перед ним стояли навтыжку, трубочкой и лукавыми недобрыми глазами напомнил ему Жмурова, самого хитрого жулика, какого он в жизни видел. Слова он с трибуны произносил правильные, хорошие; улыбался в усы ласково, как будто и впрямь в хорошем деле отчитывался, а не в том, что загубил миллионы мужиков и оставил околевать без корма лошадей и коров. Слушая его речь, Константин Дмит-

риевич догадался, что все, что мешает крестьянской работе, выдумал этот рябой грузин, умеющий скрывать свои настоящие мысли.

Плоды коллективизации уже созрели. Вместо запланированного Сталиным увеличения урожаев в 1932 году собрали на 26,7 миллионов тонн зерна меньше, чем в 1913 году. Население же за 19 лет возросло на 25 миллионов. Приближался «искусственно организованный голод». Филиппову не на что было купить себе чемодан. В Москву, на сессии ВЦИКа, он ездил, как на базар, с мешком за спиной. Голод, охвативший в 1933 году черноземные районы Украины, Волги и Кавказа, вначале обошел Алакаевку стороной. Два года подряд были хорошие урожаи. Колхоз перевыполнял планы по госпоставкам, и Филиппову с помощью всяческих хитростей удавалось кое-что приберечь на семена. Но в конце лета 1933 года налетел суховей, сжег пшеницу. С трудом расплатились с государством, а потом опять пришлось обращаться к Анне Ильиничне. Сама она никаких дел со Сталиным и его подручными иметь не желала, так как обнаружила, что даже у себя в квартире находится под надзором. Жила она теперь на Манежной улице коммунальной, состоявшей из нее, ее приемного сына Георгия Лозгачева и взятых ею на воспитание сына и дочери казанского народника, а потом социал-демократа Егора Барамзина, умершего в 1919 году от тифа. Сталин, желавший знать все, о чем говорят между собой сестры Ленина, потребовал, чтобы директор тульского завода, где работал Лозгачев, дал ему соответствующее «партийное поручение». Когда Анна Ильинична узнала, что ее приемный сын пишет на нее доносы, у нее парализовало руку.

Хлопотами за Алакаевку на этот раз занялась Мария Ильинична, обратившаяся к председателю Совнаркома Молотову.

«19/Х-33 г.

Вячеслав Михайлович.

В Кинельском районе Ср. Волги есть колхоз «Уголок Ленина» близ д. Алакаевка, где Ильич жил когда-то в начале 90-х гг. Мы поддерживаем с крестьянами этого колхоза тесную связь. Председатель к-за К. Д. Филиппов был на съезде колхозников-ударников в Москве. Колхоз работал хорошо и свои обязательства государству выполнил сполна. Но из-за суховея, который пожег хлеб, колхозники не имеют семян, не

получили ничего по трудодням, и положение их очень тяжелое. Нет и фуража, колхозники расходятся на заработки на сторону. Очень хотелось бы помочь им. Нельзя ли выдать им заимообразно некоторое количество хлеба, чтобы они возвратили его со следующим урожаем. Очень просила бы вас об этом.

Нам очень хотелось бы сделать этот колхоз показательным – это имело бы политическое значение. Он начал было вставать на ноги, а теперь вот опять неудача. И всегда вспоминается, как в нач. революции крестьяне этой деревушки дружно откликнулись на призыв Ильича и прислали хлеба для Москвы.

Если возможно, помогите им теперь, за что буду очень благодарна.

С ком. приветом М. Ульянова 19/Х-33 г.

Адрес следующий:  
Средняя Волга, Кин. р-н,  
Алакаевка, «Уголок Ленина»,  
председателю к-за  
Конст. Дм. Филиппову».

Помочь «показательному колхозу», имевшему высоких покровительниц, предсовнаркома не отказался и переадресовал письмо в крайком, сделав на нем приписку:

«Тов. Шубникову.

Просьба М. И. законна и правильна. Прошу: сообщите, что может сделать Ср. Волга для „Уголка Ленина“».

В Алакаевку послана была из Самары комиссия, произвела обследование. Секретарь Средне-волжского крайкома А. Горкин написал в Совнарком СССР, т. Могильному для Молотова, что факты подтвердились.

«Колхоз нуждается в продовольственной помощи, которую мы определяем примерно в 250-300 центнеров, – сообщил Горкин. – Эта помощь потребуется в феврале, марте. Кроме того, необходима помощь в семенах и фураж для скота».

Через два месяца поступает отчет секретаря крайкома Шубрикова\* и председателя крайисполкома Полбицына о том, что помощь оказана: колхозу выдана ссуда на семена – 610 ц пшеницы, 100 ц овса и 50 ц ячменя; завезено 100 ц фуража для лошадей и 140 ц на продовольствие колхозникам, по 10 пудов

---

\* Молотов называет его Шубниковым.

муки на человека (в два раза меньше, чем сочла необходимым приехавшая в деревню комиссия).

В этой переписке не указано, сколько центнеров зерна вывезено было из Алакаевки в начале осени в счет обязательных государственных поставок, размеры которых, несмотря на суховей, не были уменьшены. О том, что государство забирало всю продукцию, произведенную колхозами, оставляя самим колхозникам даже в таком «образцовом хозяйстве», как «Уголок Ленина», по килограмму хлеба на трудодень, который надо было разделить между всеми «иждивенцами» так, что в результате выходило по сто-двести граммов на едока в день, свидетельствует тот факт, что лишь в мае 1933 года, в разгар голода, когда на Украине в деревнях некому было сколачивать гробы и мертвецов складывали в ямы штабелями, Сталин пообещал установить лимит хлебопоставок. Загнав крестьян в колхозы и объявив эти колхозы социалистическим сектором хозяйства, Сталин усовершенствовал приемы эксплуатации и грабежа крестьянства; сделал их механическими, заведенными раз навсегда. Даже тезисы Евгения Преображенского, обосновывавшие право социалистического города присваивать прибавочный продукт несоциалистической деревни, выглядели робкими в сравнении с заведенной Сталиным системой, позволявшей государству смотреть на колхозы и на колхозников как на свою собственность и заставлять крестьян работать даром.

Забрав у них не только «прибавочный продукт», но и все, что им удалось вырастить, государство не торопилось спасти их от голода. Никаких Помголов Сталин не организовывал, хотя голод 1933-34 года унес в могилу почти в два раза больше жертв, чем голод 1921-22 года. Даже помощь, оказанная Алакаевке по протекции Марии Ильиничны Ульяновой, оказалась сплошным мошенничеством. В 1922 году Помгол даром дал алакаевским крестьянам сто пудов продовольствия и отказался взять предложенные ему деньги. Теперь же ограбленный государством колхоз, получивший от него ссуду в тысячу центнеров зерна, влез в кабалу и превратился в его должника.

И прежде до революции не раз бывали засухи и неурожаи. Но у крестьян была надежда, что следующий год выдаться урожайный и хозяйство снова наладится. Теперь же Константин Дмитриевич видел, что и хорошее лето мужикам не поможет: все равно государство их оберет. Висевший над колхозом долг

беспокоил его. Молодежь, видя, что колхоз за работу ничего не платит, стала уходить в город на заработки. Дочь Константина Дмитриевича Варя кончила курсы трактористов и поступила работать на организованную возле Кинеля МТС, чтобы помогать семье. К весне, кроме прежних, приезжих, появился в районе новый постоянный надзиратель: Сталин завел при всех МТС политотделы. Строгий начальник часто приезжал в Алакаевку на машине, ездил по полям, часами беседовал с Леонтием и с «кумой Дунькой». Председатель чувствовал, что опять его в чем-то подозревают. Если бы не боялись, что заступятся сестры Ульяновы, наверно заставили бы его отвечать и за суховой, и за засуху.

Бывая в Москве на сессиях ВЦИКа, он постоянно слышал разговоры о вредителях. Многие ученые и экономисты были арестованы и высланы за «кондратьевщину» (имя профессора Кондратьева, противника коллективизации, поносили на всех заседаниях). Потом арестовали и приговорили к расстрелу за вредительство сорок восемь ответственных работников Госплана (говорили, будто по их вине произошел голод). А весной 1933 года Константин Дмитриевич прочел в газете, что тридцать пять сотрудников наркомзема расстреляны за сеяние сорняков. На алакаевских полях тоже сорняков стало больше, хотя никто их не сеял. Просто колхозную землю мужики уже так не обрабатывали, как свою. Если бы захотели сжить его со свету, могли бы придраться и к сорнякам, и к тому, что он не вступил в партию, и к тому, что народ стал разбежаться из колхоза.

Во время одной из сессий ВЦИКа включили Филиппова, на его беду, в состав комиссии по разработке устава сельскохозяйственной артели. Докладчиком был сам Сталин. Другие участники, как всегда, ему поддакивали. Константин Дмитриевич заметил, что Сталин ничего в сельском хозяйстве не понимает, но молчал. Но когда стали устанавливать размеры приусадебных участков и он увидел, что Сталин хочет оставить крестьян не только без хлеба, но и без огородов, он взял слово и объяснил, что, хотя сам он привык стараться для общества и согласен работать даже даром, в деревне без приусадебного участка прокормить семью нельзя. Сталин спросил, сколько же, по его мнению, крестьянину надо земли?

Константин Дмитриевич видел, что все смотрят на него с ужасом. Однако, считал своим долгом защищать интересы

крестьянства. Он отвечал, что, хотя деревушка у него безземельная, при крепостном праве под огородами приходилось по две-три десятины на двор. Сталин хитро на него взглянул, почадил своей трубочкой и сказал, что такие большие приусадебные участки можно давать колхозникам только в лесной полосе, на севере или в Сибири, да и то осторожно, чтоб они не отвлекали колхозников от их основной работы в колхозе. Предложение Константина Дмитриевича признали вредным и ошибочным. Как ни силился он растолковать комиссии, что без огородов у крестьянина совсем пропадет интерес к работе, ему отвечали, что нельзя транжирить государственный чернозем и поощрять частнособственнические пережитки. Никому, кроме родного брата, Константин Филиппов о своем споре со Сталиным не рассказал. Но начальник политотдела откуда-то узнал о нем. Приехал в колхоз во время сева и, оставшись с Филипповым наедине, поставил ему на вид:

– Выдвинули мы вас на свою голову! Что же вы наш край позорите? Даже не член партии, а спорите с гениальным вождем!

По-прежнему, каждый раз, когда Константин Дмитриевич приезжал в Москву, Анна Ильинична присылала за ним машину и после заседания его везли в Кремль. Она теперь все время болела и жила вместе с младшей сестрой и Крупской. Квартира у них была старая, неуютная, давно нуждалась в ремонте. На углу стоял часовой с ружьем. Ступеньки на лестнице были сломаны и зимой покрывались наледью. Сестры не раз просили починить лестницу. Им обещали, но и в следующий приезд Константин Дмитриевич видел, что просьба осталась невыполненной. Крупская и Мария Ильинична все-таки справлялась с препятствиями и, держась за перила, спускались и поднимались. Когда они уходили на работу, Анна Ильинична с ее парализованной рукой без чужой помощи не в состоянии была выйти из квартиры.

Филиппов не хотел ее огорчать и, навещая ее, молчал о том, что его честность, трудолюбие и сорокапятилетний опыт земледельца не нужны тем, кто издалека, из Москвы, руководит сельским хозяйством и как будто нарочно принимает меры, чтоб крестьяне умирали от голода и на полях вместо хлеба родились сорняки.

## 6. МЫТАРСТВА ОБРАЗЦОВОГО КРЕСТЬЯНИНА

20 мая 1934 года, через неделю после окончания сева, Константин Дмитриевич после долгих раздумий послал Марии Ильиничне письмо, похожее на рапорт начальству:

«Здравствуйте, Мария Ильинична. Извиняюсь, что долго не писал. Сообщаю, что мы посевную кончили. Благодаря вашей помощи хорошо и первые в районе. Мы начали сев 22 апреля и кончили 10 мая. По плану должны посеять в 24 дня, но мы кончили в 18 дней. Против 1933 года кончили раньше на 16 дней. Всходы хорошие. Но дождей нет всю весну. Анне Ильиничне и Над. Konst. шлюют привет все алакаевцы. Мое здоровье очень плохое. Я болею, как кончил посевную, то попросил политотдел, чтоб меня освободили от председателей колхоза. Я теперь лечусь. Дом ваш, где жили в Алакаевке, оборудуем с помощью края. У меня был в посевную пред. края т. Полбицын и мы говорит отпустим. Начинай возводить, как было. Пишите, где будете проводить лето и как здоровье А. И. Пока желаю быть здоровыми.

Филиппов К. Д.»

Алакаевский председатель, испортивший себе отношения с местным и краевым начальством из-за того, что отказывался сеять в непогоду, разумеется, понимал, что дело не в скорости, а в урожае. Но, видимо, и Мария Ильинична была в его глазах лишь представительницей того партийного начальства, которое ценило быстроту проведения посевной кампании выше, чем урожай. Анну Ильиничну он побоялся огорчить и предпочел, чтоб она узнала об его «отставке» от сестры. Вскоре Филиппова освободили от работы председателя и назначили заведующим алакаевским домом-музеем. Дом, в котором когда-то жили Ульяновы, был продан и увезен в соседнюю деревню Нееловку. Когда его попытались перевезти обратно, ветхие бревна рассыпались. Колхозники выстроили вместо него на хуторе другой дом, но он оказался непохожим на прежний и не понравился Ульяновым. У Константина Дмитриевича появились новые заботы: перестройка музея по нарисованному ими плану. Надо было доставать дефицитные гвозди, лес на ограду, тес на кровлю. Должность у него теперь была стариковская, но он все еще оставался членом ВЦИК, и Леонтий по-прежнему ему люто завидовал. Летом 1935 года, когда Константин Дмитриевич с таким же мешком за плечом, с каким

ездил в Москву в 1922 году, приехал на очередную сессию, Елизарова, уже не встававшая с постели, как всегда, попросила послать за ним машину, подарила своему бывшему ученику фотографию, на которой лицо ее было снято в натуральную величину, и, переходя на «ты», грустно сказала: «Прими из моих еще теплых рук».

Она не спрашивала своего бывшего ученика, почему он отказался руководить колхозом. Должно быть, она уже отказалась от своей несбыточной надежды помочь хотя бы одной деревне из сотен тысяч и позволить знакомым крестьянам сохранить добрые воспоминания о ее семье. Записи, сделанные Анной Ильиничной незадолго до смерти, свидетельствуют об ее отчаянье и о мучившем ее сознании, что она прожила свою жизнь бесполезно. Это была последняя встреча Константина Филиппова со старшей сестрой Ленина. В октябре Мария Ильинична, выполняя последнюю волю сестры, сообщила Филиппову телеграммой о ее кончине и выслала деньги на дорогу. Он на самолете полетел в Ленинград, вместе с ее родными похоронил ее на Волковом кладбище, где покоились ее мать, сестра и муж. Той же осенью председатель сельсовета достал из комода написанный Князевым донос, и, согласовав с начальником политотдела, отослал в НКВД. Там не посмотрели на то, что Филиппов – член ВЦИКа, «высшего органа власти», и еще недавно считался одним из лучших председателей в крае, и посадили его в тюрьму. Сын Константина Дмитриевича Володя поехал в Москву хлопотать за отца. Мария Ильинична, заведовавшая Бюро жалоб комиссии советского контроля, заступилась за старого знакомого, и его отпустили домой.

Вскоре после этого наступили дни массовых провокаций, судилищ и кровавых расправ, когда Марии Ильиничне, вместе с Зиновьевым выступившей в июле 1926 года против Сталина, и особенно Крупской, участвовавшей в «новой оппозиции» и поддерживавшей его противников, самим пришлось опасаться мести. Из всех участников оппозиции он не посадил на скамью подсудимых только их, но они чувствовали, что и над их седьми головами висит дамоклов меч. С ними теперь не церемонились. Летом Сталин пригрозил выселить их из Горок и устроить там детский дом. Зимой сломанная лестница напоминала им об их униженном положении. Но главным были моральные страдания. Изю дня в день погибали позорной

смертью, клевета на самих себя и на своих бывших соратников, их старые товарищи; истреблялись остатки созданной Лениным партии и делегаты последнего партийного съезда. Сталин не пощадил даже двадцатилетнего красноармейца Лазаря Урываева, пост которого находился недалеко от квартиры, где жили Крупская и Мария Ильинична Ульянова. Отец его, бывший крестьянин, а потом рабочий Коломенского паровозного завода, выдвинутый после революции на должность директора, избран был на X съезде партии кандидатом в члены ЦК. Многим обязанный Ленину, он привил сыну благодарность ему. Видя заброшенных, несчастных старух, красноармеец Урываев возмущался, что никто о них не заботится. Даже это сочувствие Сталин счел политическим преступлением. В 1937 году вместе с отцом, работавшим в ВСНХ, расстреляли как «врага народа» и сына.

В начале лета 1937 года Мария Ильинична Ульянова внезапно умерла. Вскоре после этого Константина Дмитриевича Филиппова снова вызвали в Кинель в милицию. Леонтий сам отвез его туда ночью на подводе. В чем теперь обвиняли директора ленинского музея? В том ли, что отказывался бросать пшеницу в грязь? В том, что пытался убедить Сталина, чтоб тот не поспешил на колхозные приусадебные участки? А может быть, сама дружба его с Анной Ильиничной вызывала у начальства подозрения в его политической благонадежности? Любую клевету подхватывали теперь, не требуя доказательств. Леонтий, убедившись в полной безнаказанности, отобрал у овдовевшей Марии Мавреевны шкатулку, где она хранила письма Анны Ильиничны, и на глазах у колхозников бросил ее в огонь.

Заступиться за алакаевских знакомых Ульяновых теперь было уже некому. Крупская и сама нуждалась в защите от Сталина и своим вмешательством могла лишь ухудшить положение Константина Дмитриевича. Она неожиданно умерла от отравления 27 февраля 1939 года. Накануне, в день ее семидесятилетия, у нее собрались гости, несколько уцелевших старых большевиков. Впоследствии ее знакомые уверяли меня, что «повар» именно к праздничному вечеру приурочил свою «сладкую месть» и приказал кому-то из ее близких подсыпать в ее порцию торта яд.

В начале войны по Алакаевке прошел слух, что один из односельчан узнал Константина Дмитриевича среди заклю-

ченных, работавших под Сызранью, в лагере, огороженном колючей проволокой. В 1942 году Дмитрий Ульянов, эвакуированный в Куйбышев, вспомнил о своей вотчине. Его, больного, парализованного, привезли туда на машине в кресле. Он попросил у алакаевских колхозников мешок местной муки, словно ждал от нее исцеления. Потом, с трудом шевеля языком, он несколько раз силился спросить у сопровождавшего его нового председателя – Кузьмы Фролова:

– А где старик? Старик-то где?

Фролов понимал, что речь идет о Константине Дмитриевиче и что, может быть, еще не поздно его спасти, но побоялся ответить и притворился, будто не расслышал вопроса. Народ в Алакаевке за годы коллективизации изменился.

Каждый теперь дрожал за собственную шкуру. Ни у кого из колхозников не хватило мужества заступиться за своего прежнего общественного ходатая, не раз спасавшего односельчан от голода и дорого заплатившего за свою честность. Так и сгинул шестидесятилетний Константин Дмитриевич, ставший по прихоти сестер Ульяновых членом «высшего органа власти», в сталинском лагере. Умер ли он там от голода или от болезни, никому неизвестно. В Кинеле я разыскала дочь его, вышедшую на пенсию трактористку Варвару Константиновну – грузную женщину с отеками лица и распухшими от непосильной работы ногами. Утирая мокрые от слез глаза, она рассказала мне о гибели своего отца. Она во всем обвиняла его врагов – Леонтия Филиппова и Князева – и, казалось, не догадывалась, как тесно переплетается ее семейная трагедия с трагедией всего русского крестьянства. Для бесхитростной труженицы осталось тайной, кто и зачем насылал на крестьян саранчу, издали руководя ее нашествием. Так и не поняла она, почему никто не привлек Леонтия к ответу за ее отца и других загубленных им односельчан и он, безнаказанно клеветая, предавая и обманывая, дожил до глубокой старости и на всех праздничных собраниях сидел в клубе за красным столом, на почетном месте? И почему брат его, лодырь и пьяница Игонька, убивший своим пудовым кулаком барыню Даненберг, до конца своих дней получал персональную пенсию как красный партизан?

После Константина Дмитриевича сменилось в Алакаевке десятка два председателей. Когда они окончательно разорили

хозяйство и в деревне остались только старики, колхоз превратили в отделение совхоза.

Когда незадолго до столетия Ленина я была там в последний раз, из Куйбышева в Алакаевку проложили шоссе и вновь открыли ленинский музей, закрытый после ареста Константина Дмитриевича. За избами поднимались буровые вышки – искали нефть. По обе стороны оврага строили кирпичные дома: закладывали мемориальный городок, которому предстояло окончательно стереть с лица земли деревню. Старшей сестре Ленина так и не удалось помочь своим старым знакомым, с которыми, как она писала, «поступлено было... безобразно». Так и не дождалась крестьяне, «лично знакомые с Лениным», справедливости. И сама Анна Ильинична, бессильная перед обступившей ее тюремной действительностью, тщетно пытавшаяся обелить память своего брата и доказать себе и другим, что не он виноват в том, что произошло, и в старости видевшая в своем заступничестве за знакомых крестьян единственное оправдание жизни, потерявшей смысл, – лишь, как утопающий за соломинку, цеплялась за свои воспоминания о добрых взаимоотношениях с этими крестьянами, возникших у нее задолго до революции. Она не догадывалась, что бывшему ученику ее придется дорого заплатить за ее заботы и что, умирая в лагерной неволе, он может быть не раз позавидует своему деду – крепостному рабу, умершему среди родных в собственной избе. Не догадывалась, что даже шкатулка, в которой Мария Мавреевна бережно хранила ее письма, будет отобрана у нее председателем сельсовета и письма будут брошены в огонь и сожжены на глазах у толпы крестьян.

МУРАВИНА Нина – родилась в Москве на Арбате в семье журналиста. Окончила филологический факультет МГУ. Затем экстерном закончила аспирантуру при Педагогическом институте имени Потемкина (написала диссертацию о Чехове). Как спецкорреспондент «Нового мира», «Огонька», «Крестьянки», «Литературной Газеты» изъездила всю страну, включая Саяны, Дальний Восток, Сахалин. Печатала очерки и рассказы в «Крестьянке», «Огоньке», «Москве». В 1972 г. эмигрировала. Живет в Париже.

# Искусство

Пьер Г а р н ь е

## ОЛЕГ ЛЯГАЧЕВ. ПИСАТЬ ЗНАКИ, ИХ ДВИЖЕНИЯ

Картина часто представляет собой совокупность знаков в движении: между читаемым и видимым; знаков, поддающихся расшифровке и необъяснимых, – между присутствием и отсутствием. Часто пытаются их идентифицировать: эти кресты – разве это не кресты? Разве даже не воспоминания о крестах, видимых, скажем, на крыльях немецких самолетов во время войны? Нет, всё не то: знак беспрестанно ускользает в знак, явственно чувствуется, что что-то их толкает и заставляет накладываться в непрерывный сдвиг с ними же самими. Вибрация: потому что означаемое и означающее здесь идентичны и не идентичны – напряжения накапливаются в самом знаке. То, что в какой-то момент кажется ясным, запутывается; похоже, с неким эфемерным ключом можно идти дальше, но, как только держишь его в руке, – он рассеивается. Знак Лягачева не безобиднее слова: он несет в себе чувства и идет дальше, по ту сторону чувств; не только смысл самого знака, но так же и то, что выходит за пределы этого смысла; у Лягачева это больше, чем знак работы, которую невозможно расчленишь: знак-атом из произведения-атома.

Знак сложения, немного склоненный, становится знаком умножения; следуя своему наклону, он становится кругом; взгляд и мысль начинают играть с ним и простираться за знак, но знак их догоняет быстро – и взгляд-мысль его опережают еще раз, и так далее. Раздражение проистекает оттого, что эти знаки, в общем, пока не ясны, но облегчение именно оттого, что они еще свободны. Это юность, где все возможно, где ничего не определено, даже жизнь. Сознание здесь – между знаками, их движениями, их пульсациями – путешествует; разливы знаков, но так же – живопись разнообразных движений на том же полотне: торможение в этой зоне, ускорение – в другой, непрерывный ряд запруд и источников; неуравновешен-

ностей равновесия и равновесия неуравновешенностей. Движение – неподвижность, шум – тишина, знак визуальный – знак читаемый. Попытка постоянная остановить – почему бы нет? – мир, который течет, исчезает, уплотняется.

Побуждаясь легкой философией, я сказал бы: попытка, всегда возобновленная, быть в становлении и – попытка становления в существовании. Оттого это впечатление, производимое его картинами где-то в глубине души: уравновешенного движения и неустойчивого равновесия.

Видели в нашем столетии живопись, вышедшую из картины, ставшую объектом; цвета, линии и плоскости, фигурирующие иногда как самоцель. Временами живопись мне представлялась искусством исчезнувшим. Много скуки проистекает из факта, что она была заперта в квартирах, в галереях, в музеях. У Лягачева видят другую живопись – немного, как взгляд в подзорную трубу – живопись, которая отмечает знаки, рассматривает их переходы, поступает с ними и, благодаря им, как орнитолог, наблюдающий птиц. Без сомнения, Матисс, с его цветами-знаками, супрематисты, оп-арт там оставили свой след. Но с Олегом Лягачевым возникло другое: созвездия иероглифов.

Я предпочел бы, чтобы живопись признали бесполезной, как свет; часто художник под давлением общества пытается дать оценку своей картине, ее растолковывая, – и переход в рассуждения почти всегда неумел – ее, живопись, представляя, как полезную; пытаюсь притягивать цвета, линии и знаки в род письменности, которая имела бы ключ и, следовательно, расшифровывалась бы. При этом утеряна была бы динамика...

Вот почему я говорил об и е р о г л и ф а х. У Лягачева речь идет об иероглифах не читаемых, но в и д и м ы х в свете духовном – точно в той точке, где видимость лишь соприкасается с читаемостью, – и иногда более, чем иероглифы, более, чем знаки; речь идет о следах на грани письменности – там, где начинается пустота, которая становится своим собственным следом. Лягачев начинает оттуда, как некогда Матисс начинал свой колорит со спектра, – возобновляя движение от простейших элементов и прокладывая дорогу другому миру. Олег Лягачев устремляется туда с несколькими знаками, такими же элементарными, как цвета у Матисса: крест, круг, треугольник, взятые в роде восхождения невесомого – парение и выровненный полет.

На его картине цвета и знаки уплотняются, но так же фиксируется и некое движение. Иногда мне кажется – пожалуй, я даже уверен, – что речь идет о свете, уплотненном.

Так как знаки в нем сены сюда движением восходящим или нисходящим, или круговым, непосредственно воспринимаемым: волны и корпускулы.

Я себя спрашивал, что же пришло из России? Уверенно, вкус к ярким краскам: есть в этой живописи отзвуки Кандинского, еще более – Сони Делоне, когда она переехала на Запад. Но может быть эти отголоски случайны. Тем не менее, были линии национальные, традиции в периоды расцвета наций: можно выявить линию французскую от Ренессанса к импрессионизму; такую же линию немецкую, русскую, линию японскую и т. д... В двадцатом столетии появилось искусство наднациональное, но насыщение национальное еще не ослабло. Даже иногда многого не хватает, чтобы утверждать противоположное. К ярким краскам я еще добавил бы иконические формы у Лягачева, эти лица тотемов; так же как этот своеобразный род атмосферы, которая некогда окружала искусство степей. В дали – Ташкент, Самарканд; митра, украшенная драгоценными камнями, великолепие символов, икон, облачений. И еще дальше – ширмы Китая...

Матисс: «Когда средства настолько утончены, настолько ослаблены, что их выразительные возможности иссякают, – нужно вернуться к основным принципам, которые сформировали человеческий язык. Эти принципы «неиссякаемы», они возобновляются, дают жизнь. Изысканные картины – вырождения хрупкие, растаявшие без энергии, нуждаются в чистых голубых, чистых красных, чистых желтых тонах – материях, которые затрагивают глубины человеческого чувства».

Матисс – 1905: «То, что меня особенно интересует – это человеческая фигура. Это она мне позволяет наилучшим образом выразить чувство, едва ли ни религиозное, которое внушает мне жизнь. Но я не стремлюсь передать все черты лица или изобразить совершенно в смысле анатомии».

Из этих двух цитат Матисса я сохранию для Олега Лягачева: «Нужно вернуться к основным принципам, которые сформировали человеческий язык. Эти принципы «неиссякаемы», они возобновляются, дают жизнь». И так же: «То, что меня особенно интересует – это человеческая фигура. Это она мне

позволяет наилучшим образом выразить чувство, едва ли ни религиозное, которое внушает мне жизнь».

Олег Лягачев возвращается к основным знакам, которые сформировали человеческий язык в непосредственной близости от космоса: вот откуда эта архаическая свежесть: в этих созвездиях знаков и ярких цветов всё возможно, даже жизнь; ничего не определено – даже жизнь. Мне хочется иногда сказать, что эта живопись, как взгляд в куколку бабочки. Оттуда, может быть, эти зоны пламени в геометрических зонах знаков; эти волны, которые поднимаются и падают, эти круги, которые поворачиваются, как в налаженном механизме; не искусство оптическое, но, конечно, искусство космическое, на том уровне, где космос – поэма в религии.

Картина своего рода существо. Она меня рассматривает. Она, как зеркало, в котором я могу видеть художника самого в себе самом. Но не художника самого здесь я вижу, а космос – такой, каким он проходит через глаз Олега Лягачева. Глаз, который часто устраивает в прямоугольниках переход. Который часто ставит границы почти прямолинейные, особенно когда приближает свой зрачок к миру человеческому; разбивка картины делается согласно старинным приемам икон, но можно было бы сказать и – согласно современным правилам комиксов. Это вроде картины, о которой в первый момент говорят, что она абстрактна и которая на самом деле оказывается составленной из сцен, разыгрывающихся между собой: они сдвигаются, окарикурираясь, проходя легко от видимого в читаемое: вон там – полные сыщики головами вниз (кверху ногами); вот – морда русского соседа из Ленинграда, который оглашал воплями весь квартал; там внизу – русские горы, их рисованные очертания; карикатуры, ностальгии, сожаления и не сожаления. Затем эти фигуры, которые пытаются, – без того, чтобы достичь своего, – рассказать историю – возвращаются в это пространство небытия, которое представляет собою абстракция. Возврат к анониму. Геометрия.

Без сомнения, люди тоже здесь – знаки их самих и их общества. Живопись Олега Лягачева – это империя знаков космических, религиозных, геометрических; в них есть радость, грусть, трагедия, комедия ...своего рода душевное движение, которое поднимается в нас против стен. Мир показанный зачат, даже в своих знаках – СЕМИОТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ, –

но эти знаки – не знаки жестов или лингвистики, – речь идет о знаках живописи, которые выходят не из рук, не изо рта, но из глаз.

*Перевод М.-Т. Борэ*

П. ГАРНЬЕ – родился в 1928 году, известный французский поэт, создатель нового направления в поэзии авангарда – «спатиализма», т. е. пространственной поэзии. Его богатейшая библиография включает не только книги поэм и переводов, но также эссе, прозу, теоретические работы. Книги о П. Гарнье издавались в серии «Поэты сегодня», «Знаете ли вы». Его работы переведены на новогреческий, немецкий, английский, японский языки. Живет в Амьене.

## ПРЕМИИ «СОЛИДАРНОСТИ» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 1985 ГОД

В январе 1986 года Комитет независимой культуры при ВКК, рассмотрев многочисленные кандидатуры, выдвинутые творческими кругами и деятелями культуры, постановил присудить почетные премии «Солидарности» в области культуры за 1985 год следующим лицам и коллективам:

1. **Ян Бокевич** (Варшава) – за афиши независимых выставок.
2. **Кристина Керстен** (Варшава) – за книгу «Рождение системы власти. Польша 1943 – 1948» (изд. «Кронг»).
3. **Кшиштоф Книттель** (Варшава) – за струнный квартет, посвященный памяти о. Ежи Попелушко.
4. **Владислав Копалинский** (Варшава) – за «Словарь мифов и традиций культуры» (Государственное издательство).
5. **Ханна Краль** (Варшава) – за роман «Жиличка» (изд. «Либелла», Париж).
6. Ежеквартальный журнал «**Критика**» (Варшава) – за разнородность и высокий уровень публицистики.
7. **Тадеуш Ломницкий** (Варшава) – за роль в спектакле «Последняя полоса Краппа» С. Беккетта (Драматический театр).
8. **Марцель Лозинский и Яцек Петшицкий** (Варшава) – за фильм «Упражнения в мастерстве» (Студия документальных фильмов).
9. Коллектив «**Не театром единым**» (Вроцлав) – за спектакль «Эпитафия Св. Казимиру».
10. Издательство **НОВА** (Варшава) – за многообразные формы деятельности.
11. **Казимеж Подляский** (Варшава) – за книгу «Белорусы, литовцы, украинцы. Наши враги или братья?» (изд. «Пшедсвит»).
12. **Марек Ростворовский** (Краков) – за выставку «Небо новое и земля новая?» (приход храма Милосердия Божия, Варшава).
13. **Ежи Тхужевский** (Варшава) – за цикл картин «Голгофа».
14. **Домашний театр** (Варшава) – за профессиональную модель домашнего театра.
15. **Томаш Томашевский** (Варшава) – за фотовыставку «Последний» (галерея Польского союза художников-фотографов).
16. **Тереса Торанская** (Варшава) – за книгу «Они» (изд. «Пшедсвит»).
17. **Яцек Валтось** (Краков) – за цикл картин «Плащ милосердного самаритянина».

(«Тыгодник Мазовше» № 156 от 30 января 1986)

# Литература и время

Петр В а й л ь, Александр Г е н и с

## БУЛГАКОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

МИР ДО «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ»

1.

Время в России ведет себя странно. Здесь оно часто теряет последовательность и определенность. Часто съезживается и растягивается. Иногда течет вспять.

Заметнее всего хронологические парадоксы в истории русской культуры, которая сама выбирает себе современников. Даже тогда, когда за нее это делают власти.

«Фиеста», скажем, вызвала волну подражаний в СССР на треть века позже, чем на Западе. Кафка оказался ровесником Аксенова. Образцом для журнала «Юность» служил не только современник Сэлинджер, но и довоенный Ремарк.

В России писатели рождаются не когда хотят, а когда это нужно читателю. Потому что литература в этой стране – метафора действительности. Вымысел относится к жизни куда агрессивнее, чем это допускается теорией, по которой искусство должно жизнь всего лишь отражать.

Вопрос «кто кого отражает» – не так прост. Декабристы породили моду на французский классицизм, или римские добродетели классицизма породили идеологию декабристов?

Очень часто жизнь измышленная казалась более осмысленной, чем настоящая. А значит, и более реальной.

История русской культуры создает собственный временной масштаб, полный парадоксов. Наверное, только в СССР импрессионисты и абстракционисты воспринимались как современники. Может быть, только здесь время восприятия отрицало авторскую датировку.

Писательские биографии отнюдь не заканчиваются датой смерти. Например, Маяковский в начале 1960-х, спустя 30 лет после самоубийства, вновь стал сугубой реальностью, оказав-

шей глубочайшее влияние на тогдашние художественные и общественные процессы. Живого поэта заменил памятник, у которого читали свои стихи авангардисты 60-х. И следовало бы признать, что бронзовый Маяковский сделал для русской лирической музыки не меньше, чем живой.

Соответствие литературной моды ритму общественного бытия далеко не исчерпывается политикой власти в области культуры. Книги сами создают себе актуальный контекст. Часто не реальность рождает современное прочтение забытого автора, а текст заботится о построении благоприятной для себя действительности.

То, что в 1960-х годах был обнаружен богатейший пласт довоенной литературы: Ильф и Петров, Олеша, Бабель, Зощенко, Булгаков, Платонов, – кажется сейчас невероятным социально-политическим феноменом. Но ведь и сама эта ожившая литература сформировала восприимчивую эластичную реальность 60-х. Ведь возрождение литературы во многом и есть сущность этого исторического периода, которому остряки не зря дали название «реабилитанс». Ведь шедевры 20-30-х годов оказали решающее влияние на общество не тогда, когда были написаны, а тогда, когда были открыты вновь.

Советский Союз жил не только по Сталину или Хрущеву, но и по Маяковскому, по Хемингуэю, по Ильфу и Петрову, по Булгакову и, возможно, когда-нибудь еще будет жить по Платонову.

Влияние каждого из этих писателей далеко выходило за границы литературы. В России эстетика легко превращается в этику. мода часто становится единственно возможным образом жизни. Текст – символом веры.

Можно сказать, что 60-е годы так богаты событиями именно потому, что столь многих писателей открыла для себя эта эпоха. И тогда смена литературных кумиров окажется важнее смены вождей.

## 2.

60-е годы начались XXII съездом, декларировавшим конец одного периода советской истории и начало другого. Имя первого было Сталин, названием второго стал коммунизм.

Отныне добро и зло получило конкретное содержание и исторический масштаб: абсолютное зло было в недавнем

прошлом, абсолютное добро – в таком же недалеком будущем. (Хрущев заявил: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме».) Борьба между этими силами стала главным событием десятилетия, и протекала она на всех уровнях – от философского до кухонного.

То, что вечный антагонизм добра и зла воплотился в четких социально-исторических категориях, давало жизни этой эпохи ощущение разумной эволюции. Глобальность такого конфликта позволяла постоянно соизмерять реальность с положительным и отрицательным идеалами, которые толковались как угодно широко.

Сталин (в терминах эпохи – «пережитки культа») был виноват во всем – в экономических трудностях, в бюрократизме, в догматизме. При этом, согласно парадоксам советской хронологии, ни его кончина, ни удаление тела из мавзолея, ни уничтожение его имени не убеждало советский народ в смерти тирана.

Добро в виде близкого коммунизма, как и Сталина, можно было трактовать безгранично широко. У коммунизма были тысячи синонимов – абстракционизм и принципиальность, верлибр и хозяйственные реформы, узкие брюки и свобода печати.

Борьба между «пережитками культа» и «коммунизмом» сама по себе ощущалась прогрессом. Факт столкновения двух общественных сил подтверждал теорию социальной эволюции. К тому же, в соответствии с модным тогда определением К. Маркса, борьба и есть счастье. Получалось, что будущий коммунизм уже награждал настоящее своей эманацией – радостью борьбы. Публицист тех лет восклицал: «Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли».

В таком остро полемичном, подвижном обществе не могло быть нейтралитета. Поэтому советская культура 60-х всегда преследовала социально определенные цели, всегда обладала вектором, всегда создавалась для чего-то, ради чего-то.

А. Солженицын в своих мемуарах «Бодался теленок с дубом» передает характерный разговор, который у него состоялся с П. Демичевым в 1965 году. На вопрос секретаря ЦК КПСС по культуре: «Всегда ли вы понимаете, что пишете и для чего?», – Солженицын отвечает, что его цель «утвердить

ценность веры у молодежи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях». И та и другая сторона, в принципе, удовлетворена ответом. Антагонисты Солженицын и Демичев уверены, что литература существует для того, чтобы приблизить общество к идеалу, условное название которого – коммунизм. Служебная роль искусства сама собой разумеется.

В той же части мемуаров Солженицын пересказывает взгляды либеральной интеллигенции на роль журнала «Новый мир»: «Как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал – он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены».

Представление о литературе как об инструменте – созидания или разрушения – казалось в 60-е годы трюизмом. Столь же очевидным было и главное достоинство словесности тех лет – правда. Конфликт между либералами и консерваторами строился именно на отношении к правде: первые хотели ее рассказать, вторые – скрыть.

При этом не делалось принципиального различия между правдой как фактом жизни и правдой как фактом литературы. Художественное обличие правды понималось скорее уловкой, обманывающей цензуру.

Эстетическая борьба тех лет настолько была связана с общественно-политической, что все произведения искусства критика воспринимала в категориях «правда-ложь». В стране сформировался особый нравственный климат, позже нашедший свое выражение в знаменитом призыве Солженицына «жить не по лжи».

Атмосфера экстремальной нравственности, обязательного поиска правды породила и другую стилевую тенденцию – иронию.

Ирония отнюдь не противостояла правдоискательству. Она только сводила его к терпимому уровню, позволяя совмещать высокий социально-нравственный идеал с повседневностью.

Характерным штрихом эпохи было то, что источник этой иронии обнаружился не в современной литературе, а в довоенных романах Ильфа и Петрова.

Главным для читателей 60-х годов оказалось не содержание «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», а стиль Ильфа и Петрова. Точнее – угол зрения, выраженный в их

стиле. То особое остранение, которое позволяло соблюдать дистанцию между человеком и жизнью. Проза Ильфа и Петрова демонстрировала модель отношений личности и общества, построенных не на антагонизме, а на ухмылке. Ирония не отрицала добро и зло, не ставила под сомнение важность их конфликта, но давала возможность участвовать в нем косвенно.

Романы Ильфа и Петрова воспринимались как сплошное поле цитат, благодаря которым сама жизнь ставилась в иронические кавычки. Они давали возможность заявить о своей неразстворимости в социальной системе. Цитаты были знаком того, что личность шире общественного контекста.

Правда и ирония существовали в тесном симбиозе. Вместе они помогали бороться за добро против зла, составляя два варианта одной концепции. Вместе же они и сформировали интеллигенцию 60-х как особую исторически и идеологически очерченную группу со своей программой, своей эстетикой, своим этикетом.

Идеалом этой интеллигенции был, условно говоря, коммунизм, понимаемый как разумный и справедливый общественный строй. Путь к нему лежал через отказ от лжи, которая понималась очень широко – и как искажение истории, и как фальшь в нравственных отношениях, и как бюрократическая машина, стоящая на пути прогресса. Литературе отводилась роль рычага, «расшатывающего дряхлые стены». Сила морального воздействия книги определялась количеством правды, которое она может сказать.

Ирония позволяла сделать этот идеал менее утопическим, менее определенным, но не отменяла его.

В те годы история казалась хоть и неторопливой, но неизбежной эволюцией от зла к добру. Сомнения в конечной победе добра были абсолютно неуместны.

### 3.

Те 18 месяцев, с 1965 по 1967 год, в которые вышли три главных произведения Булгакова – «Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита» – составили эпоху в российской жизни. Нет ничего странного в том, что глубочайший переворот в общественном сознании совершил писатель Михаил Булгаков. Именно и только писатель мог преобра-

зывать мировоззрение страны, постоянно живущей в плену литературных влияний.

В России существовал «пушкинский мир», «чеховский мир». С публикацией «Мастера и Маргариты» стало очевидным появление особого «булгаковского мира».

Мифологизация Булгакова была вызвана тем невероятным значением, которое советское общество придало его романам. И факт этот уже не имеет отношения ни к авторской воле, ни к авторскому тексту. История литературы тут вообще не при чем, поскольку речь идет не о смене стилей, а о смене реальностей.

Несмотря на это, первая реакция на Булгакова была еще в известной мере банальной. Для читателей 60-х писатель был жертвой сталинских репрессий. Возрождение его имени символизировало победу творческого начала над бездуховной тиранией. При этом Булгаков связывал дореволюционную Россию с послереволюционной, обозначая преемственность русской классической культуры. Для эволюционных представлений 60-х появление Булгакова было очень важным: исторический процесс становился непрерывным.

Булгакова сразу же попытались приспособить к ожесточенной общественной борьбе тех лет. В трактовке ведущего критика 60-х В. Лакшина он становился героем и идеалом либеральной интеллигенции. Его творчество прямо противостояло злу («Сталину»). Как писал Лакшин, в «Мастере и Маргарите» отражено множество «психологических следствий нарушений законности, отмеченных нашей памятью о 1937 году». Но главное у Булгакова – призыв к добру. В. Лакшин перевел этот призыв на язык 60-х: «Человек должен привыкнуть везде и всегда поступать справедливо... Коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы». Вне зависимости от своего конкретного критического анализа, Лакшин делал выводы из разбора булгаковских произведений, лежащие в русле программы либеральной интеллигенции 60-х. В те годы она получила название «коммунизм с человеческим лицом».

Критики справа в то же время продолжали линию прижизненных худителей Булгакова, упрекая писателя в «противостоянии историческому оптимизму».

Однако Булгаков никак не укладывался в рамки борьбы «Сталина» с «коммунизмом». И этого не могли не почувство-

вать те же критики, которые использовали булгаковские романы как тактическое оружие.

Булгаковские шедевры появлялись в свет в правильной последовательности, соответствующей эволюции автора. Вслед за ними эволюционировали и представления русской интеллигенции о природе советского общества, о ходе истории, о сущности прогресса, о соотношении литературы с миром, о мире самом по себе, наконец.

#### 4.

«Герои «Белой гвардии» столкнулись с силой, победить которую невозможно и которая несет с собой историческую правду», – так, естественно, из тактических соображений, объяснил рецензент первый роман Булгакова.

Однако нет сомнений, что советские читатели 60-х не могли не увидеть, что историческая правда в этом романе целиком принадлежит его героям. Собственно, сам конфликт романа заключается в испытании и победе этой правды.

Главное в «Белой гвардии» – даже не столько Турбины, сколько нравственный этикет, который они представляют. Суть его в элементарной порядочности, понимаемой как разумный и добрый порядок. Символ этого порядка – сотни раз воспетый уют турбинского обихода.

Булгаков не озаботился подробным изложением статей этого этикета, поскольку он был очевидным фактом литературной действительности его современников, как, впрочем, и читателей 60-х. Это комплекс качеств русского характера, известный под названием «чеховская интеллигентность»\*.

Кстати, сам Булгаков, с его профессией врача, пристрастием к чистым воротничкам и подчеркнутой независимостью, воспринимался реинкарнацией Чехова в советскую эпоху.

Естественно, что своих любимых героев Булгаков награждал соответствующими достоинствами. Книги, музыка, культ

---

\* Характерно, что миф о Чехове как о певце интеллигенции существует в русском читательском сознании помимо воли самого писателя. Это представление не могут поколебать даже такие резкие высказывания Чехова: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». – В кн.: Переписка А. П. Чехова. М., 1984, т. 1, стр. 23.

честного слова, брезгливое отношение к деньгам – все это входило в стандартное представление об облике дореволюционного интеллигента.

В «Белой гвардии» Булгаков сталкивает этот четко организованный мир с его абсолютной противоположностью – хаосом; стихией революции и гражданской войны, равно представленной и штабными офицерами, и гетманом, и Петлюрой. Этикету, порядку, системе, иерархии противостоит аморфная и злая сила анархии. По одну сторону конфликта – герои (круг Турбиных), по другую – анонимная толпа, лишенная облика, имени, идеологического слова.

Смысл жизни Турбиных в вечности порядка, который они представляют, в незыблемости его символов – голубого сервиза, абажура, оперы «Фауст». Любое изменение раз установленного, и правильно установленного, порядка угрожает их миру. Любое движение – бессмысленно и противоестественно. Грубо говоря, пока Турбины сидят дома, все хорошо. Но стоит покинуть дом, как торжествует хаос (ранение Алексея, бегство Николки).

Зато суетлива и подвижна толпа, представляющая анархию революции. Она все время меняется, как меняется и абсурдная, мнимая власть в Городе, как меняется даже язык, на котором эта толпа говорит (русский – украинский).

Мир Турбиных с честью выдерживает испытание хаосом. Он только выталкивает из себя Гальберга, компрометировавшего своим суетливым переодеванием идею вечного порядка.

Однако, чтобы триумф этот произошел, понадобилось чудо. Именно чудо является инструментом справедливости, которая защищает семью Турбиных.

И тут четкий конфликт книги раздвигается, впуская в себя новое, метафизическое измерение, невозможное в позитивистском «чеховском мире».

То, что справедливость на стороне Турбиных, несомненно. Но восторжествовать она может только благодаря вмешательству иной реальности (молитва Елены). Борьба добра-порядка со злом-хаосом разрастается до нового масштаба, в котором такие мелочи, как принадлежность к белым или красным, уже не имеет значения. Не зря Бог из сна Алексея и не замечает между ними разницы.

Уже в «Белой гвардии» Булгаков нарисовал картину вселенной как гармонического царства справедливости,

частный вариант которого – наш мир, раздираемый силой порядка и силой хаоса.

Болезнь Алексея, его сны служат сюжетными выходами из пространства земной реальности. Эти сцены, как и настойчивое обращение к библейской символике, как и астрономическое сопереживание природы человеческим судьбам («И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила»), как и подчеркивание вечной, внепартийной сути конфликта Турбиных с толпой, становятся отправными точками в построении новой – булгаковской – вселенной.

Конечно, для 60-х крайне существенным был культ порядочности, воспетый в «Белой гвардии». Он целиком укладывался в теорию моральной чистоты как рычага социального прогресса. Но гораздо важнее было глубинное содержание «Белой гвардии», ставившее под сомнение ценность прогресса как такого.

Ведь прогресс есть движение, а если учесть, что его исторической реализацией была революция, и что уют Турбиных символизирует нетленные ценности мира, и что высшая справедливость целиком на стороне покоя, а не анархии, то вывод о пессимистическом отношении Булгакова к самой идее социального развития становится очевидным.

## 5.

«Театральный роман» начался там, где закончилась «Белая гвардия». Уже подзаголовок – «Записки покойника» – становится как бы знаком загробной жизни в жизни земной. Таким образом, еще до начала книги известно, что Максудов, в отличие от Турбиных, проиграл. Мир, в котором произошла эта трагедия, намного сложнее мира «Белой гвардии». Если там добро и зло имело свои реальные бастионы (квартира Турбиных – улицы Города), то в «Театральном романе» хаос маскируется под порядок.

История Максудова – это приключения Простодушного, принимающего мнимый порядок за истинный. Последовательное разоблачение этого заблуждения и составляет сюжет книги.

Мир литературы и театра здесь как будто обладает всеми качествами строго организованной системы. Это уже не анархическая анонимная толпа Города. Здесь есть иерархия, как на писательской вечеринке; есть строгий ритуал, как в сцене представления Максудова Ивану Васильевичу; есть даже «заведующий внутренним порядком», во владениях которого как раз царит максимальная неразбериха. И, главное, есть теория, которая формирует все это грандиозное сооружение, якобы придавая осмысленность каждой детали всей системы. Максудов – единственный, кто стоит вне ее, что и позволяет ему усомниться в самом существовании сооружения.

Хаос революционного Города стал порядком в обществе победившей революции. Но порядком со знаком «минус». Это всего лишь пародия на порядок, тотальная и безжалостная.

Не случайно метафорой новой действительности является Театр, место, где ежедневно создается мнимая жизнь. Хаос у Булгакова всегда связан со зрелищными предприятиями: в «Белой гвардии» выборы гетмана проходят в цирке, в «Мастере и Маргарите» действие крутится вокруг Варьете.

Но главное в «Театральном романе» – не пародийная картина мира. Главное все же сам Максудов и то, что он написал.

Максудов существует только и поскольку он – автор. Если роман «плох, то это означало, что и жизни моей приходит конец», – совершенно справедливо говорит герой. Не только его жизни, но и булгаковской книге пришел бы конец, если бы Максудов написал плохой роман.

Но он написал хороший. «Я знал, что в ней истина», – уверенно заявляет Максудов о своей пьесе. И уверенность его базируется не на тщеславии, а на том обстоятельстве, что роман «зародился» сам по себе. И пьеса сама населила волшебную коробочку на его столе. Роль Максудова свелась к тому, что он «каким-то чудом» угадал истину.

В «Театральном романе» писатель Максудов – инструмент мировой справедливости: она реализуется в его творчестве. Собственно, только сочинения Максудова и противостоят мнимости мира, где все объясняются на птичьем языке («хотя все говорили по-русски, я ничего не понял»), где в качестве литературы торжествует «Тетюшанская гомоза», где всем управляет одна из теорий, про которые точно известно, что «не бывает никаких теорий».

Простодушный Максудов приносит в этот мир свою истину, не понимая принципиальной невозможности сосуществования подлинной реальности с ее пародией. Естественно, что из этого союза ничего не выходит.

Но крах Максудова не уничтожает истинности его открытия. Максудов потому и покойник, что свое дело он уже сделал. Присмет пародийный мир его литературу или нет – уже не важно. Она существует помимо реальности Театра, ее истинность уже отрицает пародийность жизни, а значит и незачем продолжать бесплодные попытки компромисса. Как незачем и заканчивать «Театральный роман».

Ничего особенно нового в литературно-театральном мире этой булгаковской книги для читателей 60-х не было. Советская действительность как тотальная пародия уже изображалась у Ильфа и Петрова. Но «Театральный роман», хотя и был первоначально принят за произведение сатирическое, содержал в себе новое измерение, разрушающее природу жанра.

У Ильфа и Петрова миру-пародии противостоял Остап Бендер\*. Но как бы ни выделялся великий комбинатор из окружающей среды, жил он по ее законам. Поэтому, кстати, и непреодолима для него граница: Остап Бендер полностью принадлежал реальности, лежащей по эту сторону государственных рубежей.

Хотя писатель Максудов живет внутри того же мира, что и Бендер, он принципиально в него не включен. Максудовские произведения содержат истину, которая отрицает пародийную действительность просто своим существованием. Пьеса «Черный снег» и Независимый театр не имеют точек соприкосновения. Настоящая литература принадлежит к вечному порядку. Театр – к сиюминутному хаосу.

Разрыв Булгакова с мощным стилевым течением Ильфа и Петрова подготавливал крах иронического мироощущения, которое обставляло жизнь 60-х моральным комфортом. Как справедливо заметил один из критиков, проза Булгакова

---

\* О роли Остапа Бендера как главного положительного героя дилогии Ильфа и Петрова см. в кн.: А. А. Курдюмов. В краю непуганых идиотов. Париж, La Presse Libre, 1983.

О подчеркнутой интеллигентности образа Булгакова см.: Л. Лосев. Первая книга Михаила Булгакова. В кн.: М. Булгаков. Записки на манжетах. Нью-Йорк, 1981.

создавалась «в прямой полемике с так называемой „одесской школой“». Время Ильфа и Петрова кончалось.

Читатели «Белой гвардии» и «Театрального романа» уже стояли на пороге булгаковской вселенной. Уже эти произведения заставили сомневаться и в абсолютной ценности прогресса, и в тотальном правдоискательстве, и в умиротворяющей силе иронии, и во всеобщем оптимизме. На смену «коммунизму с человеческим лицом» приходило новое мировоззрение.

Чтобы началась эпоха Булгакова, нужен был «Мастер и Маргарита». И он появился.

## МИР ПО «МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ»

6.

«Мастер и Маргарита» никогда не ощущался одним из произведений Булгакова в ряду прочих его сочинений. Эту книгу немедленно восприняли как откровение, где в зашифрованном виде содержатся все ответы на «роковые» вопросы русской интеллигенции.

Характерно, что американский переводчик Булгакова отметил: «Публикация «Мастера и Маргариты» вызвала такой ажиотаж, который до сих пор вызывали только поэтические чтения Евтушенко и Вознесенского». Резкая смена миров была заметна даже издалека.

Крайне интересна реакция архиепископа Иоанна Сан-Францисского, который в предисловии к эмигрантскому изданию «Мастера и Маргариты» написал: «Впервые в условиях Советского Союза русская литература серьезно заговорила о Христе как о Реальности, стоящей в глубинах мира... Громом с неба открылась эта истина московским безбожникам». Духовное лицо, архиепископ, приравнял булгаковский апокриф к Евангелию!

Парадоксальное отношение к «Мастеру и Маргарите» как к сакральному тексту сохранилось в России до сих пор. Если сразу по выходе книги, как пишет М. Чудакова, «было ощущение, что с напечатанием романа о Иешуа и Пилате произошло нечто, затрагивающее всех», то теперь – «роман стал чем-то

вроде языка домашнего, частного общения», «вошел в нашу жизнь, сознание, быт».

«Мастера и Маргариту» не читали – по нему жили. Разные трактовки романа представляли разные мировоззренческие установки. Но, как бы ни противоречили они друг другу, советская действительность уже не могла остаться той же, что была до публикации книги. Вмещательство «Мастера и Маргариты» в четкое рациональное общественное сознание 60-х привело к тому, что мы называем булгаковским переворотом.

Суть любой трактовки романа зависела от ответа на вопрос: кто главный герой «Мастера и Маргариты»?

Больше всех духу эпохи разоблачений соответствовал, конечно, **Воланд**. В традициях правдоискательства московская часть романа воспринималась как сатирическая картина советских нравов. (Некоторые критики называли это пережитками НЭПа.)

Каждому персонажу немедленно подыскивался исторический прототип (глава МАССОЛИТа Берлиоз – глава РАППа Авербах, например)\*. Каждый комический эпизод рассматривался как прозрачная аллегория, остающаяся злободневной и через 30 лет после создания книги.

Воланд обрушивается на Москву, как бич Божий. Он карает бюрократов, разгильдяев, взяточников и проходимцев. Но, как писал Лакшин, «апофеоз карательной миссии Воланда – преследование им ябедников и соглядатаев». В терминах 60-х миссия Воланда могла быть приравнена к разоблачению Сталина. Хотя такие простодушные аналогии и не делались, их подразумевали.

Однако такой трактовке Воланда отчаянно сопротивлялся сам роман. Достаточно прочесть эпилог, чтобы убедиться, что вся деятельность Воланда по искоренению пороков оказалась абсолютно бесплодной: ничто не изменилось в Москве. Только поменялись местами бесчисленные Лиходеевы, Семплеяровы, Алоизии Могарычи. Если Воланд пришел в Москву, чтобы карать головоотяпов и разгильдяев, то придется признать, что миссию свою он провалил.

---

\* Самыми фантастическими гипотезами об исторических прототипах в «Мастере и Маргарите» изобилует, например, книга: М. Канганская, З. Бар-Селла. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984 г.

И это совершенно естественно. Воланд и его свита действуют в Москве по законам Москвы же. Они подсовывают доллары Никанору Босому, избивают Варенуху, искушают обывателей фальшивыми червонцами. Как бы фантастичны ни были их приемы, они вполне соответствуют жизни булгаковской Москвы. Да и борются они с пороками заодно с милицией. Разве не ее дело следить за преступниками?

Но ни милиция, ни Воланд не смогли преодолеть вязкость московской среды: она вышла победительницей.

Правда, Воланд освобождает Мастера из лечебницы. Но и этот акт, по сути, не нарушает законов. Не зря Коровьев так щепетильно соблюдает правила прописки.

И окончательная судьба судьбы Мастера и Маргариты решается не самим Воландом, а благодаря вмешательству Иешуа. Как говорит Воланд, «каждое ведомство должно заниматься своим делом».

Да и не слишком ли пышен, не слишком ли роскошен облик Воланда и его обиход? Излишество, граничащее с мещанством, отличает и убранство квартиры № 50, и бал с бассейнами коньяка и фонтанами шампанского. Обо всем этом мог бы мечтать какой-нибудь Жорж Бенгальский. Но вряд ли Булгакову, с его воспеванием интеллигентного, «турбинского» быта, так уж импонировала эта варварская роскошь. Вспомним, что Иешуа и Мастер лишены вещей.

Воланд произносит в романе ряд ключевых фраз: «Никогда и ничего не просите», «Что бы делало добро, если б не было зла». Но все они отражают именно авторское понимание мировой справедливости и не имеют отношения к непосредственной деятельности Воланда в Москве.

Воланд представляет неотъемлемую часть справедливости – зло. Но он же воплощает и идею его бессилия. Даже восстановление романа Мастера не имеет отношения к Воланду. Если рукописи не горят, они не горят вообще – вмешивается дьявол в их судьбу или нет.

Казалось бы, естественный антагонист Воланда – **Иешуа**. Но первые читатели романа понимали их скорее как союзников. Не станет же проповедник абсолютного добра защищать ябедников и соглядатаев. Хотя, конечно, именно это и соответствовало бы взглядам Иешуа.

Как ни доставалось безобидному философу от критиков за абстрактный гуманизм, обаяние Иешуа так велико, что именно в нем многие видели главного героя книги.

Правильно писал архиепископ Иоанн, что в булгаковском парафразе Евангелия советские безбожники открывали для себя христианские истины. Причем часто не делая различия между героем романа Иешуа Га-Ноцри и Иисусом Христом, героем другой все же истории.

Иешуа – идеолог. Он ценой жизни отстаивает свое кредо: «Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». (Впрочем, даже эта классическая формула еще не противоречила представлениям о бесклассовом обществе, где власть отомрет за ненадобностью.)

При этом Иешуа – писатель. Его орудие – слово. Им он добивается главных результатов: обращения в свою веру мытаря Левия Матвея и прокуратора Понтия Пилата.

Однако, произошло ли это обращение на самом деле? Из справедливого наблюдения Э. Проффер следует, что Левий Матвей стал фанатиком, извратившим в своих записях учение Иешуа, а Пилат, находящийся под влиянием личности философа, совершает поступок, в корне противоречащий доктрине Иешуа, – убийство Иуды.

Лакшин писал, что «образ Иешуа у Булгакова воплощает в себе свободную деятельность вообще». Но деятельность эта так же бесплодна, как поступки Воланда. Булгаков лишает Иешуа апостолов, которые перевернут мир. Голый беспощадный свет, в котором существует абсолютное добро Иешуа, еще не есть царство мировой справедливости. Свет Иешуа и тьма Воланда – полюса вселенской гармонии. Но каждый из них в отдельности еще не представляет целого.

На вопрос Пилата «что есть истина» Иешуа отвечает только догадкой о болезни прокуратора. Но так мог бы ответить и Воланд. Иешуа отклоняется от прямого ответа на прямой вопрос, потому что у Булгакова он распоряжается только частью истины.

Злободневное прочтение романа подсказывало еще одну кандидатуру в главные герои – **Понтия Пилата**. Ведь именно о нем написан роман мастера. Именно к нему относится прямая инвектива самого Булгакова – знаменитые слова о трусости.

Проблема соучастия в преступлениях была, пожалуй, самой сложной из всех, которые ставили 60-е перед русской интеллигенцией. Кто виноват: Сталин, инородцы, советская власть – или ответственность несет каждый? Степень личной ответственности – вот краеугольный камень любой историко-софской модели советского общества.

Русская литература до сих пор не смогла разрешить эту проблему. Но ближе всех к ответу, казалось, подошел Булгаков, заклеивший Пилата как труса и предателя.

В булгаковской этике верность – вершина добродетели. Постоянство убеждений – единственное, что может противостоять хаосу, убеждений не имеющему вовсе. Об этом ясно говорил еще нравственный кодекс Турбиных. Не тираны, а предатели отвечают за зло, творящееся в мире. Потому что предателям есть что предавать. Они способны отличить добро от зла; они знают, что делают.

Понтий Пилат тоже знает, что делает. Он вообще самый умный человек в книге. В каком-то смысле именно Пилат является антагонистом Иешуа. Только он способен оценить глубину и силу его учения. Иешуа и Пилат чувствуют друг в друге достойных соперников. Им есть о чем поговорить. Единственное, о чем просит осужденный потомками прокуратор, – это о возможности доспорить с Иешуа. Именно этой беседой и заканчиваются их отношения, хотя результат спора остался за границами книги.

Пилат – предатель, но не потому, что, став единомышленником Иешуа, тем не менее, послал его на казнь. Предательство состоит в том, что он не дал Иешуа договорить. Пилат прекращает идеологический спор грубой силой. В этом его роковая ошибка, ставшая преступлением.

Но это преступление целиком вытекает из философии прокуратора. Пилат, в отличие от идеалиста Иешуа, – реалист. Если один верит, что «настанет царство истины», то другой считает, что «оно не настанет никогда».

Пилат лучше знает природу и человека, и общества. Он считает утопию Иешуа не только бессмысленной, но и вредной: она порождает мучеников, а не философов. Сам он верит в силу компромисса между злом и добром, который делает условия человеческого существования приемлемыми.

То, что Иешуа компромисс отвергает, вынуждает Пилата к выбору между предательством и самопожертвованием.

Следуя своим убеждениям, он выбирает предательство. Но подвиг Иешуа не проходит для Пилата бесследно. Дав свершиться казни, прокуратор мечтает сделать ее несуществовавшей, мечтает переубедить Иешуа, как тот хотел переубедить Пилата. В книге этого не удалось сделать ни тому, ни другому. Их диалог так и продолжается на вечной лунной дороге.

Хотя роман Булгакова называется «Мастер и Маргарита», сам **Мастер** меньше всех годится в главные герои. Только огромной натяжкой можно объяснить заключение критика о полюсах «зла и добра, занимаемых соответственно сатаной и Мастером».

Чтобы объяснить загадочную ущербность этого образа, часто рассматривали мастера в паре с Иешуа. Это уже не параллель, а симбиоз, благодаря которому бледность одного героя дополняется яркостью другого.

Вообще, вся система двойников (Мастер – Иешуа, Пилат – Латунский, Матвей – Бездомный) хороша только до тех пор, пока текст воспринимался как аллегория советской действительности, написанная эзоповым языком. Однако, как только уость такой трактовки стала очевидной (в первую очередь, благодаря воздействию самого Булгакова), загадка образа Мастера стала опять неразрешимой.

В самом деле, Мастер абсолютно пассивен. Он – объект, а не субъект сюжета. Его предыстория обозначена только бегло: служба в музее, женитьба, лотерейный выигрыш, даже любовь Маргариты. Но и жизнь Мастера в романном времени призрачна. Судьба его решается Маргаритой, Воландом и Иешуа. Он вообще не вступает в конфликты с окружающим миром. (В то время, как, например, Маргарита – самый активный герой книги. Ее жизнь пересекается с наибольшим количеством персонажей.) Даже будущее Мастера загадочно. Один из первых американских рецензентов нашел такой финал просто ироническим: «Мастер слишком измучен миром, чтобы воспользоваться свободой, полученной от дьявола. Он отдает ее Пилату, а сам поселяется на уютной даче вместе с Маргаритой...»

И все же, называя свой шедевр «Мастер и Маргарита», Булгаков что-то имел в виду. Не зря он перепробовал несколько названий, пока не остановился на этом.

Со времен «Театрального романа» образ писателя для Булгакова был центральным. Максудов, как и мастер, ничего не делает. Какой-то мистический Рудольфи печатает его роман. Служащие Театра работают над постановкой его пьесы. Чудо спасает «Черный снег» от немедленного запрета. Единственный решительный поступок Максудова – самоубийство, то есть полное устранение из конкретной жизни.

Такая поразительная пассивность главного героя может быть объяснена только тем, что он свое дело уже сделал. Максудов – писатель, и он уже все написал.

Мастер тоже писатель. И роман он написал до начала булгаковской книги. Все, что в ней происходит, – уже последствие этого основополагающего творческого акта.

Главное и единственное, что сделал Мастер, сделано вне сюжета «Мастера и Маргариты». И поэтому герой книги – не сам Мастер, а его творение – **Роман**, который, с нашей точки зрения, и является главным персонажем романа «Мастер и Маргарита».

## 7.

Загадочный тезис «рукописи не горят» вызвал метафизическую полемику в советских журналах. («Горят ли рукописи?» называлась статья консерватора М. Гуса. «Рукописи не горят!» назывался ответ на нее либерала В. Лакшина.) Так со страниц булгаковской книги мистика проникала в самую гущу общественных баталий.

Вообще-то, все знали, что рукописи горят, как горит любая бумага. Сгорел же второй том «Мертвых душ». Но в эпоху, когда возрождалась целая литература, слова о несгораемых рукописях принимали буквальное значение: духовный подвиг побеждал временные социальные затруднения.

Кстати, именно пример булгаковских рукописей послужил мощным стимулом для «писания в стол». «Мастер и Маргарита» доказывал, что потомкам можно доверять не только политические разоблачения, но и эстетические открытия. Хотя новомировский критик А. Берзер и писала: «ни один писатель не может писать лишь в „пыль веков“», множество ее современников именно так и делали. Лозунг «рукописи не горят» придавал смысл их тайному труду.

Однако какой смысл вкладывал в эту формулу сам Булгаков? Действительно ли, как писал Лакшин, «эти слова как бы служили автору закланием от разрушительной работы времени»?

Рукопись, о которой идет речь – Роман мастера о Понтии Пилате. Эта та самая пачка тетрадей, которую Воланд достал из небытия в ночь после бала. Но сам Роман включается в сюжет уже со второй главы.

История, которую Воланд рассказывает двум московским литераторам, – фрагмент Романа Мастера. И сон, который снится Бездомному, – часть его. И спасенная из огня глава, которую читает Маргарита, тоже из этого Романа.

Никакой разницы между тремя вставными частями нет: они читаются как сплошной текст. И это, пожалуй, самый фантастический факт в изобилующей фантастикой книге Булгакова.

Рассказ Воланда – свидетельство очевидца. Сон Бездомного, как любой сон, – игра подсознания. Глава из Романа мастера – следствие его исторических штудий и писательского таланта. Каждое из этих допущений вполне естественно в поэтике «Мастера и Маргариты». Но каким образом все три фрагмента стилистически абсолютно совпадают друг с другом?

Приходится допустить, что Воланд цитирует Роман, не зная о том, что это цитата. И Бездомному невероятным образом снится рукопись незнакомого ему произведения.

Роман мастера вообще главная пружина в сюжете булгаковской книги. Роман объединяет Мастера и Маргариту. Герой Романа – Пилат – сводит с ума Бездомного. Роману Мастер обязан своим вызволением из лечебницы и окончательным решением своей судьбы. В конце концов, персонажи художественного произведения, созданные воображением Мастера, оказываются не менее реальными, чем их автор, и напрямую вмешиваются в сюжет.

Что же писал Мастер, если его творение нарушает не только хронологию, но и все причинно-следственные связи точно выверенного булгаковского шедевра?

В «Мастере и Маргарите» не изображается непосредственный творческий процесс, но говорится о его сущности: Мастер «сочинял то, чего никогда не видел, но о чем наверное знал, что оно было». Именно поэтому его вовсе не удивил

пересказ воландовской истории Бездомным. Он только удовлетворенно заметил: «О, как я угадал». То есть автор Романа совершенно не поражен тем, что его текст буквально совпадает с реальностью (ведь Воланд – очевидец!).

Мастер категорически не видит разницы между написанным им Романом и действительностью. Ведь писал он его в соответствии с советом Максудова «что видишь, то и пиши». Как и про максудовские сочинения, про Роман Мастера можно сказать, что он «зародился», возник сам, помимо воли автора.

Самый дикий из вопросов, которые задают Мастеру московские писатели: «Кто вас надоумил написать этот роман?» Вопрос этот так же фантастически нелеп, как диалог Ивана Васильевича с тетушкой из «Театрального романа»: «Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу. – А зачем? – тревожно спросила Настасья Ивановна».

Ни Максудов, ни Мастер, ни Булгаков не могли ответить на этот вопрос, потому что их ответ лежал в принципиально иной плоскости.

Для Булгакова писать – означало воссоздавать существующую вечно истину. Не выдумывать ее, а угадывать. Мир представлялся ему текстом, который писатель может прочесть, написать, создать. И все эти глаголы – синонимы, обозначающие один и тот же творческий процесс\*. Писатель – пророк, устами которого глаголет истина. Он лишь орудие ее. Дело писателя – ТОЧНО эту истину воспроизвести. Этим, кстати, можно объяснить прославленную точность булгаковской детали: ведь не писателю решать, что важно, что нет. Ему надо воссоздать мир в идеальном соответствии с истиной.

Булгаков постоянно пародирует идею множественности миров. Сюжетная разноплановость его произведений, казалось бы, позволяет легко вычленять мир литераторов, мир театра, Москву, Иерусалим. Однако, внутреннее сходство «миров» доказывает принципиальную неделимость вселенной

---

\* Любопытно отметить, как глубоко было родство Булгакова с Гёте, чей «Фауст» постоянно присутствует в булгаковских книгах. Вот высказывание Гёте, которое, конечно, было известно Булгакову: «Шекспиру пришла мысль о «Гамлете», когда дух целого неожиданно явился ему и, потрясенный, он вдруг прозрел все связи, характеры и развязку, и это поистине был дар небес, ибо сам он непосредственного влияния на это произведение не оказывал». (И. Эккерман. Разговоры с Гёте. М., 1981, с. 567.)

как конечного единства, включающего в себя и абсолютное добро, и абсолютное зло, и море пошлости, которое мы зовем реальностью. Так же Булгаков поступает и с понятием истины, которая может представлять в самых пародийных обликах. Только мастер знает о единстве мира и единой истине о нем. Поэтому сам он может написать только один роман. Роман вообще может быть только один, поскольку в настоящем романе уже есть все, что было, и все, что будет.

В последней главе «Мастера и Маргариты» все герои книги оказались вставленными в Роман Мастера, включая и его самого. Они растворились в тексте. Восклицанием «свободен!» Мастер закончил свой Роман и сам ушел в него. Вселенная, которую он прочел, приняла его в себя. Мир и его пророк слились в едином тексте. Круг завершился – истина восторжествовала.

Но все же – что есть истина?

Булгаков изображает разные варианты ответа.

Абсолютное зло, оказавшееся бессильным в борьбе с бессмертными пороками. Абсолютное добро, способное существовать только в идеальном, но безжизненном царстве света. Компромисс между тем и другим, который губит душу его носителя.

Ни один из этих ответов не разрешает проблему. И тогда Булгаков предлагает свой ответ.

Истина – в представлении о мире как тексте, в котором добро и зло составляют нерасторжимое единство, в котором существует и верность, и предательство, в котором любая деталь наделена высшим смыслом. Прочсть этот текст значит принять его как целое. Если мир существует, значит, он является разумным порядком. Сам факт его существования предусматривает организацию, противостоящую хаосу. Порядок не может быть несправедлив – иначе он сам станет хаосом. Пусть для установления этой справедливости требуется чудо. Сверхъестественное здесь только рычаг, приводящий мир в состояние правильной уравновешенности.

Писатель не сам создает эту гармонию сфер. Она существует извечно. Но можно сказать, что именно в слове гармония обретает свою форму. Только чудодейственная способность писателя угадать истину и создает ее. Вселенная каждый раз реализуется в слове: они творят друг друга.

Конечно, в рамках такого мировоззрения нет ни пространства, ни времени (эти измерения и не работают в «Мастере и Маргарите»). Конечно, мир, понятый таким образом, нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Его можно только написать, понять, прочесть.

8.

Булгаков совершил переворот в сознании 60-х годов прежде всего потому, что он отрицал суть общественного процесса того времени – представление о ценности и неизбежности прогресса. Кошунственная мысль, вычлененная критиком из булгаковских произведений: «история не развивается, а длится», – лишала смысла яростную борьбу за светлое будущее. Ведь по Булгакову нет разницы между прошлым и настоящим, а значит – нет и будущего.

«Рукописи не горят» – отнюдь не означает грядущее торжество социальной справедливости (т. е. правда выйдет наружу, как бы преступно ее ни скрывали).

Рукописи не горят потому, что они равнозначны неуничтожимой вселенной. Справедливость же торжествует в момент создания рукописи, а не в момент ее публикации. И эта идея отменяет всю концепцию борьбы за правду.

Конечно, приятно наказывать буфетчика, перебить окна критику или даже зарезать Иуду. Но ничего – ничего! – от этого не изменится. Просто потому, что измениться вообще ничего не может.

Конечно, хорошо быть человеком порядочным. Культ порядочности породил сопротивление интеллигенции непорядочной советской власти. Но порядочность у Булгакова – не средство достижения царства истины, а средство сохранения порядка в уже существующем (и существующем вечно) мире.

Напротив, борьба за правду только извращает вечные истины, превращая их в тактические приемы. А именно соображения сиюминутной пользы и были главными в жизни 60-х.

Появление «Мастера и Маргариты» открыло иной путь. Советское общество вынесло из книги Булгакова представление об условности всех ценностей, которыми оно жило. Благодаря «Мастеру и Маргарите» в плоскую картину мира вклю-

чилась метафизическая реальность, за которую даже теоретически нельзя было воевать.

Сегодняшний день с его насущными задачами, обнаружив свою незначительность, стал абсурдом. Под глобальным булгаковским углом зрения действительность превратилась в пародию на тот единственный мир, который включал в себя добро и зло, прошлое и будущее.

Если жизнь – это постижение вечного текста, то такое откровение достигается не коллективным трудом, а личным творческим актом.

Нельзя утверждать, что творчество даже такого значительного писателя, как Булгаков, могло привести к огромным сдвигам в сознании советской интеллигенции. Излишне говорить, что причин, вызвавших окончание такого важного исторического этапа, каким были 60-е годы, множество.

Но все же именно в Булгакове сконцентрировались все линии идеологических напряжений. Благодаря именно его книгам родилось новое мировоззрение, подготовленное рядом культурных и политических явлений.

Булгаков стал именем всех этих революционных перемен. Читатели придали «Мастеру и Маргарите» значимость нового евангелия, потому что они искали откровения в окружающей нравственной атмосфере. Глубокая булгаковская философия позволила обществу найти себе модель именно в его романе.

Шумные веселые реформисты 60-х превращались в затворников-одиночек, ищущих истину в метафизических моделях. Лучшей стала считаться профессия ночного сторожа, то есть место, где действительность как можно меньше вторгалась во внутреннюю жизнь. Все реже появлялись энергичные комсомольские работники, романтические геологи, бессребреники-правдоискатели.

Закончилась пора критических баталий в толстых журналах. Русская литература перестала стремиться к непосредственному воздействию на общество. Она открыла для себя метафизику и абсурд, погрузившись в поиски своего прочтения мира-текста.

В России писатели рождаются не когда хотят, а когда это нужно читателям.

Михаил Булгаков к концу 60-х годов оказался не столько автором гениального романа, сколько основоположником новой идеологической системы. Книга его породила не столько

литературное направление, сколько мировоззрение. «Мастера и Маргариту» окружают не столько поклонники, сколько адепты.

Все это было бы невероятным явлением в культуре любой страны. Но не в России, где не писатели создают читателей, а читатели – писателей.

**«ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ КУЛЬТУРЕ ИЗ СССР» (GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER UNABHÄNGIGEN KULTUR AUS DER UdSSR e. V.)**  
создано в феврале 1984-го года в Мюнхене.

Задачи Общества – содействие независимой культуре как внутри нашей страны, так и за рубежом; организация выставок, концертов, вечеров, лекций, дискуссий для широкого знакомства Запада с проблемами и достижениями независимой культуры из СССР; создание собственного культурного Центра.

За короткое время своей деятельности Общество уже организовало фестиваль Свободной культуры в Мюнхене, несколько крупных выставок, концерты и дискуссионные вечера. Свою активную деятельность Общество намерено продолжать и в будущем.

Всех, кому не чужды судьбы независимой культуры нашей страны – будь то литература, живопись, музыка, религия, борьба за социальные права, наука, спорт – приглашаем поддержать Общество.

*Рубина Арутюнян-Циммерман,*  
председатель  
*Оксана Антич, Эдуард Кузнецов*  
заместители председателя

Годовой членский взнос 60 нем. марок. Членские взносы и пожертвования просьба направлять: GFUK e. V., Bankkonto: Deutsche Bank München. Kto. 27 20 548 (BLZ 700 700 10) Адрес Общества: R. Arutjunjan-Zimmermann (GFUK), Liebigstr. 16, 8000 München 22, BRD

# Литературный архив

Леонид Чертков

## ДЕБЮТ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО

Поплавский (1903 – 1935) заслуженно считается лучшим из поэтов, сформировавших в эмиграции. Однако, как и у ряда значительных авторов, выдвинувшихся в эмиграции (В. Набоков, М. Осоргин, И. Лукаш), его литературная деятельность началась еще в России.

Наиболее полная биография Поплавского была составлена его отцом – музыкантом и общественным деятелем Ю. И. Поплавским и была опубликована в ревельском журнале «Новь» в №8 за 1935 год после смерти поэта. Я дополняю здесь отдельные выдержки из этой биографии сведениями, полученными в свое время от разных лиц в России. Итак, писать стихи Поплавский начал «из чувства соревнования» со своей старшей сестрой Натальей, автором сборника «Стихи зеленой дамы» (1914-16), М., 1917, которая была описана в очерке Марины Цветаевой «Вечер четырех поэтесс» и окончила свой жизненный путь в эмиграции в Китае. Как сообщает его отец, когда он с сыном уехал на юг России, «зимой 1919 года, живя в Ялте, Б. Поплавский впервые выступил публично... в Чеховском литературном кружке». Из его литературных знакомств здесь известен поэт Михаил Решоткин. Март-июль 1919 года отец и сын провели в Константинополе, а потом вновь вернулись в Россию, надеясь на успех Добровольческой армии. До конца 1920 года они находились в Ростове-на-Дону. Здесь действовал в то время известный литературный кружок «Никитинские субботники», основанный Е. Ф. Никитиной (женой расстрелянного позднее большевиками бывшего министра Временного правительства меньшевика Никитина). Среди участников этого кружка (В. Маккавейский, В. Эльсер, Л. Голубев-Багрянородный, О. Эрберг, Сусанна Мар-Чохолтян и др.) был и Борис Поплавский. Ближе других он был знаком с известным впоследствии историческим романистом, а тогда автором поэмы «Карма Йога», изданной в 1921 году,

Георгием Штурмом. Штурм вспоминал, как они с Поплавским посещали библиотеку Мореходного училища, где Поплавский читал Герберта Уэллса. Уэллсу же было посвящено первое известное стихотворение Поплавского, отосланное им в Симферополь, где оно было напечатано в альманахе «Радио» в 1920 году поэтом Вадимом Баяном (Сидоровым). Впоследствии в частном письме В. Баян сообщал, что он несколько отредактировал стихи в соответствии с цензурными условиями при Добровольческой армии. Так вместо «становится Бог сумасшедшим» он поставил «мир сумасшедшим», из «светились лохмотья райских долин» сделал «клочья райских долин». Мне удалось обнаружить в Москве первый короткий рукописный вариант этого обширного стихотворения, украшенный характерными для Поплавского тех лет фантастическими рисунками. Вот эти стихи:

#### ГЕРБЕРТУ УЭЛЛСУ

Я сегодня думал о прошедшем  
И казалось, что нет исхода,  
Что становится Бог сумасшедшим  
С каждым аэробусом и теплоходом.  
Только всё примелькается,  
Будете искать нового,  
Истериически новому клясться  
В блесках безумья багрового.  
Своего Уэллса убили,  
Ну так другой разрушит,  
Если в сердце ему не забили  
Грохот картонных игрушек.  
Строительной гордости истерика,  
Исчезновение в лесах кукушек,  
Так знайте ж теперь в Америке  
Больше не строят пушек.  
Я сегодня думал о прошедшем,  
Но его потускнело сиянье.  
Ну так что же для нас, сумасшедших  
Из книжек Уэллса вылезут новые марсияне!

Ростов, 1919

(Отметим, что это юношеское стихотворение написано крайне своеобразным почерком со своеобразной орфографией, так что возможны отдельные неточности).

В стихотворении заметно влияние раннего Маяковского. Отметим, что по сообщению того же В. Баяна, прибыв в Ростов, Поплавский рекомендовался знакомым «одним из хулиганов, окружавших Маяковского». Напомним, что фантастика Уэллса пользовалась уважением у футуристов и Хлебников только его и Маринетти – из иностранцев – включил в число т. н. «председателей земного шара».

В декабре 1920 года Б. Поплавский с отцом покинул Россию уже навсегда. До июня 1921 года он жил в Константинополе, где между прочим принимал участие в Константинопольском цехе поэтов, а потом переселился в Париж.

Как известно, недавно в Беркли были переизданы в отредактированном виде стихи Поплавского, во Франции была защищена диссертация о его творчестве. Но создание его биографии и полное издание его произведений (включая прозу) – еще дело будущего. Как известно, работавший над этим московский литературовед А. Н. Богословский был неизвестно за что арестован и находится в заключении. А собранные им материалы были уничтожены андроповскими «эстетам».

Вышла в свет книга Беур Бриа «МЕССИЯ», представляющая собой Божественное откровение, написанное автором на основе Торы (Книги Моисея) под воздействием Бога в течение шести лет (1979–1984). Это Божественное откровение есть Мессия, явившийся в настоящее время.

В откровении «Мессия» раскрыто: понятие сотворения Богом земного мира (согласующееся с наукой), частичное вмешательство Бога в развитие человечества с predetermined ролью в этом евреев, будущее человечества с дальнейшей судьбой еврейского народа и государства Израиль.

Цена книги: 12 долларов (в Израиле 10 долларов). Заказывать по адресу: А. Ведрицкий, Вох 28065, Тель-Авив, Израиль.

## **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb  
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
594 Chestnut Ridge Road  
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

# Колонка редактора

## ЕВАНГЕЛИЕ ПО МИЛАНУ КУНДЕРЕ

В последнее время на страницах западной и эмигрантской печати ведется довольно оживленная полемика вокруг концепции, выдвинутой не так давно чешским прозаиком Миланом Кундерой, которая, ни много, ни мало, практически вычеркивает из истории европейской культуры все, что находится за восточными пределами бывшей Австро-Венгерской империи и Польши.

В связи с этим Главный редактор чешского зарубежного журнала «Сведецтви» Павел Тигрид направил мне для ответа статью некоего Икса, опубликованную в одном из недавних номеров этого журнала.

В частности в ней – этой статье делается попытка, причем, негодными средствами заклишировать позицию журнала «Континент» и мою – его редактора, как сугубо «шовинистическую» и «тоталитаристскую».

Направляя по этому поводу свой ответ Главному редактору «Сведецтви» Павлу Тигриду, я считаю себя вправе сделать этот ответ открытым, ибо считаю начатую полемику чрезвычайно важной для развития взаимопонимания между поработенными народами.

Итак:

Дорогой Павел!

Статья некоего Икса, присланная мне тобой, настолько недобросовестна по аргументам и так убога по содержанию, что отвечать на нее у меня нет ни охоты, ни времени. Как говорят у нас в России: много чести!

В связи с публикацией этой статьи в «Сведецтви» я хотел бы только задать несколько вопросов тебе и твоим единомышленникам, с автором мне дискутировать просто не о чем:

1. Где был господин Икс и его «демократические» приятели, когда сотрудники и авторы «шовинистического» «Континента» (Н. Горбаневская, В. Дремлюга, В. Делоне, Л. Богораз) выходили на Красную площадь, протестуя против оккупации Чехословакии советскими войсками и поплатились за это годами лагерей и психушек?

2. Что делал, чем занимался «демократ» Икс, когда члены редколлегии «националистического» «Континента» – Андрей Сахаров, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Петр Григоренко, Иосиф Бродский, Александр Гинзбург, Густав Герлинг-Грудзинский, Милован Джилас и Паул Гома начинали в своих странах борьбу за демократию и тоже платили за это годами ссылки и лагерей?

3. Где подвизался этот «борец за демократию», когда «шовинист» и «тоталитарист» Александр Солженицын, рискуя попасть за решетку, обращался с письмом к Чехословацкому съезду Союза писателей в поддержку их борьбы за свободу и демократию?

4. В какой советской норе отсиживались господа иксы, когда два представителя «шовинистического» народа – Андрей Сахаров и Александр Солженицын первыми в тоталитарном мире пробили брешь в идеологической твердыне коммунистической идеологии?

5. Какие такие особые заслуги перед нашим демократическим движением позволяют ему полемизировать в подобном тоне с людьми, отдававшими и продолжающими отдавать борьбе за демократию лучшие годы своей жизни?

Журнал «Континент» – журнал плюралистический. В нем находят отражение самые разные точки зрения, от марксистских до националистических. Выдергивать из отдельных статей разрозненные цитаты, выдавая их за редакционные, значит пользоваться грязными приемами советской печати.

То же самое я могу сказать и о своем памфлете «Сага о носорогах», опубликованном уже на восьми европейских языках и получившем на Западе единодушно позитивную оценку (я не имею здесь в виду публикации эмигрантов определенного толка), ибо памфлет этот целиком направлен против сил, пытающихся дестабилизировать западную демократию.

К тому же автор, наподобие унтер-офицерской вдовы из русской классики, сечет сам себя собственными аргументами лучше всякой сторонней критики. Большинство приведенных им негативных высказываний о России принадлежит чисто русским авторам: Герцену, Чернышевскому, Лермонтову, Чаадаеву, Ключевскому, Бердяеву, Шульгину, Амальрику. Это ли не лучшее свидетельство высокого уровня русской культуры и ее духа, противных всякому самовозвышению и шовинизму? Дай бы Бог, если бы лучшие представители дру-

гих европейских (и не только европейских!) народов имели столько же интеллектуального мужества, чтобы сказать нечто подобное о самих себе, а не сочинять нарциссические теории о какой-то особой «среднеевропейской» и «европейской» терпимости.

Пойми меня правильно, Павел, я по природе своей интернационалист, для меня все народы равны и в плохом, и в хорошем, но если принять на веру концепцию Кундеры, то многие факты той же чешской истории вопиюще противоречат этой концепции.

К примеру, поведение чешских легионеров в Сибири во время Гражданской войны было во много раз отвратительнее, чем поведение советских оккупантов в Чехословакии: отбросим русские источники, вспомним хотя бы предсмертную записку покончившего собой чешского полковника Швеца. Вот она, эта записка: «Я не могу пережить позора, постигшего нашу армию по вине многочисленных необузданных фанатиков – демагогов, которые убили в себе и в нас всех убивают самое ценное – честь».

Не лучшим образом проявилась «среднеевропейская терпимость» чехов, а вернее, определенной и далеко не лучшей их части в февральских событиях 1948 года: тоталитарный строй в те дни был навязан Чехословакии без всякого вмешательства советских танков собственными чешскими руками. Согласись, трудно назвать терпимыми людей, выбросивших или заставивших выброситься из окна своего, демократически избранного (во всяком случае в качестве депутата!) Министра иностранных дел Яна Масарика.

Не свидетельствуют о толерантности и казни по делу Рудольфа Сланского после смерти Сталина, когда в СССР уже были освобождены даже «врачи-отравители». Не свидетельствует о ней и отказ в реабилитации Густаву Гусаку (как бы мы к нему теперь ни относились), который вынужден был отсидеть свой срок, что называется, от звонка до звонка, когда в СССР (не говоря уже о других «братских странах») реабилитация подавляющего большинства невинно осужденных была давно закончена.

Трудно также назвать признаком особой терпимости поведение некоторой части чешского народа, включая сюда и многих деятелей «Пражской весны», на протяжении почти двадцати лет покорно штамповавшей все преступления и без-

образия советской системы: травлю Югославии, удушение Венгрии, шантаж Польши.

Как это ни горько сознавать, но Чехословакия на протяжении всей истории своей национальной независимости была (и остается до сих пор, правда, уже по совершенно иным причинам) самой советофильской средневропейской и, если хочешь, европейской страной. Вспомни хотя бы соучастие Бенеша в передаче Сталину состряпанного гитлеровской разведкой провокационного документа о «заговоре маршалов», повлекшего за собой гибель многих и многих тысяч военных (и не только военных!) людей в Советском Союзе.

Но, тем не менее, я не только не склонен сам, а буду всячески протестовать против любых попыток приписать подобного рода факты каким-то онтологически негативным особенностям чешского народа и его истории вообще. Повторяю, у всякого народа есть периоды своих взлётов и падений, но все эти народы в конце концов составляют единое целое, которое мы называем Человечеством. Попытка исключить какой-либо народ из этого контекста, на мой взгляд, недостойна человека, а в особенности человека культуры.

На том стою и стоять буду. С уважением

*В. Максимов*

**Редакция и редколлегия «Континента» выражают глубокое соболезнование члену редколлегии и Главному редактору немецкого издания журнала Корнелии Герстенмайер по случаю смерти ее отца, выдающегося политического и общественного деятеля Федеративной Республики Германии, многолетнего Председателя западногерманского Бундестага**

**ЕВГЕНИЯ ГЕРСТЕНМАЙЕРА**

# Наша почта

Господин Максимов!

Сколько можно? Опять Мянвич! Может, его вам навязали?

В 43-м номере выступила О. Зиновьева: «дурно пахнущая (вонючая) волосатая лапа» (добавим: «с коричневым оттенком»), «коллективное мнение» – добавим: «усталых людей (люди ли?) из Лэнгли» – это там где Ц.Р.У. (С.І.А.: «си ай эй» caught in the act «пойманы с поличным» – шутка английских друзей, которые, когда перевели им отрывки из «комментариев» Мянвича о борцах против ракет в ФРГ, сразу указали кто платит ему – ЦРУ!) Даже не нужно быть особенно «левым», чтобы понять откуда вонь идет.

Мянвич «спасает» ФРГ! Обойдемся без «комментариев» – как нам дружить с борцами за мир и жизнь, со всеми людьми доброй воли. Мы знаем ситуацию в ФРГ без Мянвича, мы – «человеческая цепь», которую ненавидит этот тип. Вот где «злоба шипящая», как правильно пишет О. Зиновьева. Напрасно А. Зиновьев кается, бия себя в грудь: «не вернусь в Союз...» и проч. Все равно в глазах фашистов типа Мянвича он – уже красный. Но оставим его персону (Зиновьева) и его ссоры с сов. строем. **Уберите Мянвича!** А то он у вас читателей разгонит. Мы уже не покупаем «Континент».

*Муравьева и др., Лондон*

ОТ РЕДАКЦИИ: Ответить непосредственно г-же «Муравьевой и др.» в «Лондон» мы не можем: ни на письме, ни на конверте предусмотрительно не поставлен адрес. Проще всего, казалось бы, бросить этот, как кажется на первый взгляд, бред сумасшедшего в корзину и не знакомить с ним наших читателей. Или можно было бы отнестись к нему как к выражению одной из разных точек зрения: вот, скажем, обозреватель мюнхенского «Голоса Зарубежья» считает, что наш журнал «сильно полевел», а «читатели из Лондона» – что мы печатаем «фашиста». Дело, однако, в том, что «читатели» такого рода, как «Муравьева и др.», по своей доброй воле читают

только «Голос Родины». Следовательно, перед нами не столько «читатели», сколько «писатели», подлинный адрес которых – вряд ли Лондон. И насчет того, будут ли эти «писатели» читать «Континент», мы можем не беспокоиться: они обязаны это делать в рамках исполнения служебных обязанностей.

Что касается нашего постоянного автора Томаша Мянювича, то, как огорченные «Муравьева и др.» могли убедиться по вышедшим после 43-го номерам нашего журнала, мы его печатаем – и будем печатать. Сам он в своей статье в 46-м номере «Континента» упоминает, что к самым разнообразным кличкам (вплоть до «сталиниста» – полученной от прогрессивного Гюнтера Грасса) ему уже не привыкать. Думаем, что злоба таких «читателей» может его только порадовать, доказав, что он попал в их больное место.

12 мая 1985 г.

Уважаемый Владимир Максимов!

Я прочла Вашу статью об Артуре Кёстлере, опубликованную в номере «Русской мысли» от 21 марта 1985 г. Существует *еще одно, более темное* пятно в обстоятельствах смерти Кёстлера, которое накладывает свой отпечаток на всю его жизнь и выходит за пределы чисто христианского неприятия самоубийства как такового. Я имею в виду тот отвратительный факт, что он допустил, чтобы его жена покончила самоубийством вместе с ним (а, может быть, даже и подстрекала ее к этому). Какая самовлюбленность! Разумеется, еще хуже то, что он полностью подчинил ее волю своей собственной в то время, когда оба они были еще живы.

Возможно, в своих политических взглядах Кёстлер был антикоммунистом, но в своих семейных отношениях он проявил себя как подлинный тиран, как СТАЛИН. А эти две области человеческого существования, по моему глубокому убеждению, неразрывно *связаны друг с другом*.

Остается лишь удивляться, что ни у одного из авторов многочисленных некрологов, посвященных памяти distinguished Артура Кёстлера, не хватило мужества (или обыкновен-

ной порядочности) подчеркнуть этот момент безвременного наступления ТЬМЫ В ПОЛДЕНЬ – в самый полдень жизни Синтии Кёстлер.

С уважением,

Морин Коут

ОТ РЕДАКЦИИ: К счастью, «авторы многочисленных некрологов» памяти Артура Кёстлера, как это принято, руководствовались в оценке покойного прежде всего творческим и гражданским обликом писателя, а не его частной жизнью. В противном случае история литературы превратилась бы в летопись пороков и клинических отклонений в жизни ее знаменитостей. В последнее время не только в западном литературоведении, но и в нашей пишущей среде появилось множество любителей подобного рода кухонной клубнички. В связи с этим, считаем своим долгом предупредить: мы – не из их числа.

## **Журнал «БЪДЕЩЕ»**

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,  
издающийся в Париже

*Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.*

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,  
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$)  
Par avion: 50 \$)

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

- Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. 128 с.  
Константин Вагинов. Козлиная песнь. Роман. 200 с.  
Константин Вагинов. Труды и дни Свистонова. Роман. 178 с.  
Александр Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Повесть. 196 с.  
Василий Аксенов. Затоваренная бочкотара. Рандеву. 144 с.  
Сергей Довлатов. Компромисс. Повесть. 128 с.  
Альманах «Часть речи» № 1. 320 с. № 2-3 – 320 с. № 4-5 – 320 с.  
Леонид Добычин. Встречи с Лиз. с. 110 с.  
Леонид Добычин. Город Эн. 110 с.  
Марк Слоним. После России. Марина Цветаева в Праге и в Париже. 114 с.  
Михаил Булгаков. Записки на манжетах. 128 с.  
Николай Олейников. Иронические стихи. 128 с.  
Венедикт Ерофеев. Глазами эксцентрика. 82 с.  
Надежда Мандельштам. Мое завещание и другие эссе. 140 с.  
Маркиз де Кюстин. Записки о России. 160 с.  
Аполлинария Сулова. Годы близости с Достоевским. 200 с.  
Василий Яновский. Американский опыт. Роман. 208 с.  
Василий Яновский. Поля Елисейские. Воспоминания. 320 с.  
Владислав Ходасевич. Избранная проза в двух томах.  
Том 1. Белый коридор. Воспоминания. 320 с.  
Том 2. Колеблюмый треножник. Статьи о литературе. 240 с.  
Георгий Адамович. Избранная проза в двух томах.  
Том 1. Сомнения и надежды. Статьи о литературе. 260 с.  
Том 2. Размышления и комментарии. 240 с.  
Андрей Платонов. Впрок. Повесть. 100 с.  
Яков Голосовкер. Достоевский и Кант. 140 с.  
Михаил Бахтин. Формальный метод в литературоведении. 236 с.  
Михаил Гершензон. Судьбы еврейского народа. 68 с.  
Юрий Домбровский. Ваятель масок Иткинд. Рассказы. 110 с.  
С е р и я «Шедевры XX века».  
Генри Миллер. Тропик рака. 240 с.  
Луис-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи. 312 с.  
Олдос Хаксли. Прекрасный новый мир. 192 с.  
Курт Воннегут. Царица-ночь. 187 с.

Редактор и издатель Григорий Поляк  
Silver Age Publishing.  
P.O.Box 384. Rego Park. New York, 11374

# Критика и библиография

## БОРЬБА ЗА САХАРОВА

Монография Петра Абовина-Егидеса об Андрее Дмитриевиче Сахарове появилась как раз в тот момент, когда Елена Георгиевна Боннэр, жена А. Д. Сахарова, была, наконец, выпущена на Запад для лечения. Ее приезд ожидался с нетерпением и волнением. Думалось, теперь-то мы узнаем, что пертерпели Сахаровы после их полной изоляции в Горьком, каково состояние здоровья Андрея Дмитриевича, продолжает ли он свою научную и публицистическую деятельность. Однако и тут советские власти отлично все продумали. У Елены Боннэр, мужественного борца за права человека, общественной деятельницы с многолетним стажем, оказался заткнут рот. Ни она, ни ее семья, живущая ныне в Америке, не смогли сообщить западным журналистам ни крохи информации, касающейся Сахарова.

Эта поразительная ситуация, едва ли находящая параллели в современном мире (расистское правительство Южной Африки, например, не изолирует Винни Манделу, жену заключенного в тюрьму лидера борьбы против апартеида Нельсона Манделы, которая продолжает заниматься запрещенной в ЮАР политической деятельностью), свидетельствует о безусловной актуальности книги Абовина-Егидеса.

В первой части книги автор, доктор философских наук, рассказывает об основных этапах правозащитной деятельности Сахарова и подробно излагает его социальные концепции, сформулированные в ряде статей, опубликованных на Западе и имеющих широкое хождение в СССР. Одновременно Абовин-Егидес вступает в диалог с идеями Сахарова, обсуждая мораль правозащитничества в условиях тоталитарного общества. Отчетливая формулировка кредо Сахарова – несомненная заслуга автора. В самом деле, шум, невольно сосредоточенный на изоляции Сахарова в Горьком, как бы заглушил обсуждение мыслей великого ученого, весть, которую его концепции несут человечеству.

---

Петр Абовин-Егидес. Андрей Сахаров (Трагедия великого гуманиста). Париж, «Поиски», 1985.

Кредо Сахарова – это мир, обеспечиваемый двусторонним разоружением; сближение Запада и Востока на основе конвергенции, означающей демократизацию коммунистических стран и дальнейшую социализацию Запада; права человека как основа его социального бытия повсюду в мире.

Однако А. Д. Сахаров в течение многих лет был не только теоретиком-гуманистом, но и самым последовательным борцом за права человека на практике. Он был одним из создателей и активным участником Комитета прав человека; он выступал в защиту крымских татар, евреев, политзаключенных; он протестовал против смертной казни «самолетчикам» Кузнецову и Дымшицу, против суда над участниками «Хартии-77», против ввода советских войск в Афганистан; он лично присутствовал на политических процессах и ездил на свидания с заключенными.

Фигура и деятельность Сахарова, представителя верхушки советской творческой элиты, не имеет прецедента во всей истории Советского государства (эволюция А. М. Горького была обратной – от защиты прав человека, в особенности интеллигенции, к полному слиянию с советской властью). Кажется, что если бы несколько десятков крупнейших деятелей науки и искусства последовали героическому примеру Сахарова, многие беззакония, творящиеся в СССР, стали бы невозможными.

Именно этого и опасаются, как видно, власти, преследуя Сахарова и для того, чтобы заглушить его голос, и чтобы другим «неповадно было». Травля Сахарова и реакция Запада на эту травлю описаны в начале второй части книги Абовина-Егидеса.

Автор рассказывает о клеветнической кампании, организованной против А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр в советской печати, про подложные письма и шантаж, про угрозы и оскорбления агрессивной толпы (с подосланными КГБ агентами) на улицах Горького и в поездах. Не хочется повторять на страницах «Континента» страшные подробности грязной и подлой травли двух пожилых и больных людей, особенно Елены Боннэр, инвалида Великой Отечественной войны, пережившей два инфаркта, страдающей тяжелыми заболеваниями сердца и глаз. Знаменательно, что эти душевные испытания не сломили воли отважных супругов Сахаровых. И в горьковском заточении Андрей Дмитриевич продолжал борьбу.

бу за мир и за права человека. Увезенный насильно в Горький в январе 1980 г., он продолжал давать заочные интервью западным корреспондентам, писать письма протеста против продолжения агрессии в Афганистане и против репрессий борцов за права человека в СССР. Эта деятельность была возможной благодаря поездкам Елены Боннэр в Москву. Но в мае 1984 г. и этот последний «канал» был закрыт. Е. Боннэр был запрещен выезд из Горького. Изоляция Сахаровых стала полной...

И тут Абовин-Егидес, инициатор создания Объединенного комитета спасения Сахарова, задается вопросами. Как можно вызволить Сахарова? Все ли сделал Запад и политэмиграция из СССР для его спасения? Эти вопросы обсуждаются во второй и третьей части книги.

На первый взгляд, перечень мер, предпринятых как Объединенным комитетом спасения Сахарова, так и различными западными организациями, кажется весьма внушительным. Во Франции протесты против высылки Сахарова подавали Ив Монтан и Эжен Ионеско, президент ЛИКРА Ж. П. Пьер-Блох и глава Социалистической партии Лионель Жоспен, а также многие другие французские интеллектуалы. Его освобождения требовал Франсуа Миттеран. На демонстрацию в защиту Сахарова, организованную Интернационалом Сопротивления и Объединенным комитетом спасения Сахарова и проходившую 21 мая 1984 г. в Париже, вышло несколько тысяч человек. В связи с приездом на Запад Елены Боннэр французское телевидение показало, наконец, американский фильм о Сахарове, за которым последовала оживленная и допоздна затянувшаяся дискуссия.

В Германии петицию в защиту Сахарова подписали 1300 ученых. Международное общество прав человека распространило в Германии 90 тысяч листовок по поводу Сахарова. В Западном Берлине, Бонне, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге состоялись демонстрации перед советскими представительствами. Канцлер ФРГ Коль затронул (хотя и робко, по мнению Абовина-Егидеса) проблему Сахарова во время своего визита в Москву.

По инициативе Президента США Рейгана и американского Конгресса 21 мая 1984 г., день рождения Сахарова, был объявлен в США Национальным днем Сахарова. «Месячники» Сахарова, организованные совместно Институтом Са-

харова в Вашингтоне, Интернационалом Сопrotивления и рядом других организаций, прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, а также во многих европейских городах.

Многочисленные петиции, пресс-конференции, демонстрации в защиту Сахарова проходили в Швеции и Голландии, в Бельгии и Норвегии, в Швейцарии, Канаде и даже в Австралии.

Абовин-Егидес считает, однако, что протесты отдельных западных интеллектуалов и политиков являются недостаточными. Он утверждает, что только периодические массовые демонстрации, проводимые одновременно в разных странах и городах, в сочетании с тотальным бойкотом Советского Союза и с «тихой дипломатией», могли бы вынудить Советское правительство освободить Сахарова и других политзаключенных. Весьма интересны приводимые автором детали, касающиеся поведения различных политических и профсоюзных организаций Франции в ходе кампании за освобождение Сахарова. Абовин-Егидес подробно обсуждает причины отказа многих как левых, так и правых западных организаций, а также различных официальных инстанций от защиты прав человека в СССР и в Восточной Европе. У «левых» такой отказ часто вызван нежеланием порочить «государство трудящихся» или мелким сектантством и политиканством, у некоторых «правых» – нежеланием сотрудничать с «левыми», у официальных инстанций – боязнью «раздразнить быка». Многие организации не желают принимать участие в деле освобождения Сахарова, так как считают, что это стоит в стороне от их конкретных задач.

Но, как правильно подчеркивает Абовин-Егидес, демократизация России (одним из признаков которой было бы полное и безусловное освобождение Сахарова) является «ключом к решению всех основных глобальных проблем: проблемы мира, проблемы разоружения, экономических проблем», и поэтому борьба за права человека в коммунистических странах должна вестись на Западе всеми, кому дорого будущее человечества.

Одновременно автор предъясвляет серьезный счет политэмигрантам из Советского Союза. В то время, как ряд советских интеллектуалов (писатели Г. Владимов, В. Войнович, С. Бабенышева, Б. Ахмадулина, художник Б. Биргер, священник С. Желудков и многие другие) и правозащитников

(А. Марченко, Московская и Литовская группы «Хельсинки», Католический комитет защиты прав верующих, и т. д.) с риском для своего положения и даже свободы выразили резкие протесты властям по поводу высылки Сахарова, политэмиграция не проявила единства в борьбе за великого ученого-гуманиста, а многие политэмигранты вообще отмахнулись от участия в этой борьбе. И причиной этому, по мнению Абовина-Егидеса, являются «примитивные психологические мотивы», личные счёты, эгоцентризм.

Абовин-Егидес призывает к консолидации различных течений внутри политэмиграции из СССР, к созданию общего фронта нашей политэмиграции с эмиграциями из других коммунистических стран ради общей цели – «освобождения Сахарова как нашего общедемократического знамени». И в этом пожелании нельзя не присоединиться к автору полезной и своевременной книги, заканчивающейся оптимистическим утверждением: «Будущее тем не менее не за Россией Горбачева, а за Россией Сахарова».

Ольга Минц

### С ДОВЕРИЕМ К ТЕКСТУ

Две книги американского (исходно – ленинградского) литературоведа Михаила Крепса представляют собой, как подчеркивает автор, внутритекстовый анализ, «т. е. интерпретацию, базирующуюся на данных, полученных из самого текста». Во вступлении к книге о романах Михаила Булгакова и Бориса Пастернака перечислен «широкий круг традиционных литературоведческих проблем, которые автор относит к числу внешнетекстовых» и от которых обещает «отстраняться по возможности»: «...почему автор решил написать роман, какими материалами он для этого пользовался, на какие другие произведения русской и зарубежной литературы роман

---

Михаил Крепс. О поэзии Иосифа Бродского. «Ардис», Анн Арбор, 1984. – Его же. Булгаков и Пастернак как романисты. Анализ романов «Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго». «Эрмитаж», Анн Арбор, 1984.

похож или не похож, у каких писателей или философов есть сходные с авторскими темы или мотивы, какие реальные лица стоят или не стоят за героями романа, как отразилась реальная жизнь автора в его произведении, к какому жанру можно или нельзя его причислить, как связан роман с предыдущими произведениями писателя и т. п.». В книге о поэзии Бродского аналогичный перечень, начинающийся словами: «Из этой книги читатель не узнает...», – составлен в тональности иронической, но, по существу, говорит о том же. И даже если в книге о Бродском не обойден стороной вопрос, «у каких писателей или философов есть сходные с авторскими темы и мотивы», то и сама постановка вопроса, и даваемый ответ вызваны анализом самого текста, а не, скажем, высказываниями поэта на этот счет.

Такой подход оказался плодотворным – «внутритекстовой анализ» в книгах Михаила Крепса включает всю структуру рассматриваемых текстов, т. е. то, что по-школьному делится на «форму» и «содержание».

Анализируя поэзию Бродского, автор не остается в рамках одноуровневого рассмотрения того или иного элемента ее поэтики. Он демонстрирует, как, к примеру, развитие метафоры разрушает одну (ожидаемую) идею и созидает новую, непредсказуемую (вообще, «непредсказуемый» характер поэтики и поэзии Бродского – одно из важнейших наблюдений М. Крепса). Или устанавливает, какова семантическая наполненность столь характерных для Бродского составных рифм и переносов. Так и рассмотрение тематики Бродского не сводится к теме как к чему-то внеположному – в лучшем случае, толчку к написанию стихотворения, – тематический материал рассматривается и как философская почва текста, и как его словесно-музыкальная материя, и как поэтически-философская истина, порождаемая в развитии данного текста.

Вторая книга, вероятно, не будет воспринята как столь же бесспорная: слишком велик груз накопившихся интерпретаций анализируемых им романов, в том числе интерпретаций внешнетекстовых, а зачастую и вокруг-да-около и даже противотекстовых. Сам автор ничуть «не отрицает литературоведческой ценности» исследования внешнетекстовых проблем, но можно сказать, что обоим романам случилось и случается становиться жертвами таких толкований, которые мало что приносят к их пониманию.

Анализ «двух наиболее спорных русских романов двадцатого века» не производится параллельно: Михаил Крепс говорит, что «это, скорее, не сравнение, а соположение двух текстов». За исключением коротких введения и заключения, книга состоит из двух независимых частей: «„Доктор Живаго“». Христианство и революция»; «„Мастер и Маргарита“». В поисках краеугольного камня».

Путь Юрия Живаго в романе сюжетно определен его (или их – и доктора Живаго, и романа) христианской этикой: близостью к Христу как олицетворенному состраданию, как героической верности истине; пониманием жизни как дара, как творчества Бога и сотворчества человека; невозможностью лицемерить и «перестать быть собой» (этимися словами Юрий Живаго определяет то, что произошло в революцию с «половиной людей»). Этот путь – «подражание Христу» настолько, насколько это в силах человеческих, и вопреки тому, что «второй главный герой» (время) добивается отказа от верности Христу. «...«грешный» Живаго разительно отличается от «праведного» Стрельникова, не изменяющего жене, но лишаящего жизни других во имя утопической идеи. Самое главное: Живаго повторяет духовный подвиг Христа – приходит к воскресению через поиски истины».

В «Мастере и Маргарите» исследователь подчеркивает соединение четырех жанров: сатирическая повесть, историческая повесть, повесть о любви и приключенческая повесть – и четырех равнозначных сюжетных уровней: бытового, исторического, любовного и фантастического. Эти четыре жанра и четыре уровня скрепляются «личным присутствием» Воланда, однако «самый главный уровень – философский – создается зримым и незримым участием Иешуа Га-Ноцри, его идеями и личной судьбой».

Одно из главных понятий философского уровня романа – грех, в исторической части показанный как «три архетипических греха»: Каифы, Иуды и Пилата, т. е. грех фанатизма (тот, что более всего подчеркнут в «Докторе Живаго» и для Пастернака является, по-видимому, важнейшим, ибо это грех против самой жизни, приводящий к ее омертвлению), грех корыстного предательства и, по роману Булгакова, самый страшный – грех трусости тех, кто знает истину, но отворачивается от нее. При переходе на современный уровень романа и при том выходе за рамки чистого текста, который исследователь

допускает здесь как необходимое исключение, это «грех русской интеллигенции».

Соответственно трем видам греха «добродетель» (в романе. – Н. Г.) проявляется в трех видах: в приверженности к истине, в смелости и в сострадании. Архетипически эти добродетели воплощены прежде всего в образе Иешуа Га-Ноцри, который всегда говорит правду, не боится высказать свое мнение и свое отношение к чему-либо и обладает чувством сострадания, то есть заботы о ближнем, который для него всегда «добрый человек». (...) Последнее качество – сострадание к ближнему (...) и является пробным камнем истинной человечности, присущей очень немногим из действующих лиц романа». Таким персонажем, наиболее близким к Иешуа, М. Крепс считает не Мастера, а Маргариту, «ибо она есть носитель активной добродетели». В этом отношении любопытно истолкована ее посмертная судьба: она-то, может быть, и заслужила «свет», но, поскольку Мастер заслужил только «покой», она, любящая, продолжает разделять судьбу того, кого любит (как собака прокуратора – неожиданно, но верно сравнивает автор – двадцать веков делила муки Пилата, прежде чем вместе с ним ступить на лунную дорожку).

В заключении Михаил Крепс вновь, но уже на основе сделанного анализа, отмечает общие черты обоих романов и подчеркивает, что «самая главная черта, роднящая оба романа и столь несвойственная этому жанру в советскую эпоху, – их христианская этика. (...) Для героев романов христианство – прежде всего этика, философия человеческого поведения, а потом уже догма вероисповедания. Поэтому такой важной становится для них человеческая сторона Христа, архетипичность его человеческих поступков, нежели его божественное происхождение или творимые им чудеса. Человек никогда не сможет пройти по воде как по суку, но он сможет повторить человеческие деяния Христа».

Неслучайно и в первой книге автор пишет: «В плане личной экзистенции позиция Бродского (в стихах. – Н. Г.) во многом близка моральным нормам христианства»; «О Бродском даже можно говорить как о христианском поэте, хотя он и не принимает некоторые положения христианства, в частности, веры в жизнь после смерти, которая помогает преодолеть страх смерти на земле».

Можно было бы отнести это упорное нахождение христианской этики во всех трех избранных предметах исследования за счет сферы навязчивых идей, тем более, что и сам исследователь говорит, что «читатель (в том числе и читатель-критик) – кривое зеркало». Но, отмечает он, «кривое зеркало кривому зеркалу рознь – одно искажает, укрупняя или уменьшая, а другое ставит с ног на голову».

*Н. Горбаневская*

### **К ВОПРОСУ «О ПОКОЛЕНИИ, РАСТРАТИВШЕМ СВОИХ ПОЭТОВ»**

Странная это книга, очень странная. Читаешь ее с несомненным, даже детективным, интересом, соглашаешься как будто с автором, а потом, в какой-то момент (не в тот ли, когда взгляд замирает на строчке: «такого поэта «Хлебников» – не было?»), обольщенное Карабчиевским сознание начинает бить тревогу. Вчитываешься лучше, перечитываешь, думаешь – и чем дальше, тем муторней на душе. Короткая рецензия – не лучший способ говорить об этой чрезвычайно симптоматичной для новой русской словесности книге, ибо затрагивает она, сама того не подозревая, глубинные вопросы литературы и искусства двадцатого века. Но, быть может, моя рецензия станет отправной точкой серьезной дискуссии. Право, и фигура Маяковского, и книга Карабчиевского того стоят.

Итак, что же рассказывается и утверждается в «Воскресении Маяковского»? Прежде всего то, что человек-Маяковский был монстром. Высокий рост при коротких ногах, полное отсутствие зубов, каменное лицо, вечно распухший нос, большая голова, влажные руки. Общее впечатление производил ненормальное, «как будто мальчику лет тринадцати ввели какой-то ужасный гормон». Урод этот был наделен разными дурными качествами и комплексами – садомазохизмом, проистекавшей из детских обид мстительностью, злобой, изломанно-наглым отношением к женщине, мнительностью.

---

Ю. Карабчиевский. Воскресение Маяковского. Мюнхен, «Страна и мир», 1985.

Маяковский никогда не смеялся, без устали играл роль великого поэта, которому все позволено, с резкостью менял свои настроения. А его мании? Мания чистоты, боязнь заразиться. Мания преследования, боязнь воров и убийц. Ипохондрия. Мания аккуратности. Навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти и старости. Мания величия. Одним словом, нездоровый, как говорит Карабчиевский, фон. Нездоровой была и его сексуальная жизнь. Жил, как говорят французы, «à trois», то есть вместе с супружеской четой Бриков, будучи любовником Лили Брик. Потом был любовником двух других женщин, Татьяны Яковлевой и Вероники Полонской, причем обе не принадлежали ему безраздельно. Продолжал, однако, любить Лилю, страстную женщину с чекистскими связями, впоследствии сделавшую состояние на его наследии. Карабчиевский даже отвлекается, чтобы рассказать нам сплетню о ее последней любви, в 86-летнем возрасте, к неназванному (но безошибочно отождествляемому) режиссеру, представляя ее «перешедшей при жизни в посмертное существование» безумицей.

Ну, конечно, культурой Маяковский не обладал никакой. Карабчиевский заверяет нас, что Маяковский никогда и ничего не читал. Обладая же кое-каким умением словесного жонглирования, он уже в юности понял, как превратить собственное бескультурье в добродетель, и потому возглавил группу бездарных молодых людей, которые назвали себя футуристами и решили прославиться при помощи одурачивания публики. Бездари эти вели себя по отношению к Маяковскому «вроде урок-телохранителей вокруг большого пахана». Кредо их, по Карабчиевскому, было простым – «надо вывернуть общественный вкус наизнанку, так чтобы талант оказался бездарностью, а бездарность – талантом». Конечно, талант Бурлюка, Крученых и Каменского – вещь оспоримая. Но как быть с Хлебниковым? А очень просто, отвечает Карабчиевский. Во-первых, он был в стороне, а во-вторых, что же с сумасшедшего, с его «смещенным с осей бормотанием», взять?

И тут пересказ мой спотыкается. Ибо надо переходить к идеологии и поэтике Маяковского, а именно в этих, главных, рассуждениях Карабчиевский нечеток и, пожалуй, даже противоречив. Я попытаюсь, однако, сформулировать вкратце его пространные рассуждения.

Никаким революционером Маяковский до революции не был, а просто выражал ненависть ко всему окружающему, спровоцированную детскими и подростковыми обидами и неудачами (подразумевается, сексуальными). Революция же пришла к нему по душе как воплощение его любимых стихий – массовых убийств, разрушения, затаптывания, уничтожения, и потому он со страстью принял ее служить. В то же время, стихи и поэмы Маяковского не были искренними, в том смысле, что творчество его лежит вне этой категории. Карабчиевский буквально закликает нас поверить, что Маяковский вообще личностью не был, а был... сконцентрированной пустотой, великим манипулятором слов, лишенным воображения, а, стало быть, не могущим представить себе той страшной реальности, которая стояла за его образами.

Это механическое, безобразное восприятие мира лежит в основе механистической же поэтики Маяковского – разворачивания речевых штампов в метафору и использования каламбуров. Другие рассуждения о поэтике Маяковского сводятся к следующему: читать Маяковского тяжело, ибо стихи «сделанные», надо в грамматике разбираться, акценты расставлять; Маяковский отношения к поэзии не имел, ибо был поэтом «изобретающим», а не воспринимающим; стихи «лесенкой» Маяковский выдумал, так как не умел расставлять знаки препинания.

Но и на этом я не могу закончить пересказ Карабчиевского, ибо главные обвинения автора – впереди. Чего Маяковский больше всего боялся? Смерти. Чего Маяковский больше всего жаждал? Славы и бессмертия, а также физического воскресения (тут заодно Карабчиевский объявляет наивным и нетерпимым фанатиком Федорова, учение которого повлияло на Маяковского). Как он этого добился? Продал черту душу, отвечает Карабчиевский. Чем заплатил по условиям контракта? Дал Советской власти дар речи. В чем выразилось воскресение? Вот тут-то и кроется ответ на вопрос, о чем и зачем эта книга. Оказывается, вначале воскрес Маяковский в виде фарса, но зато в трех ипостасях, как Рождественский, Вознесенский и Евтушенко одновременно. Частично продолжил он посмертное существование, вселившись немного в Пастернака и полностью завладев душой Марины Цветаевой, чем ее и погубил. Но главное воскресение Маяковского осуществилось, оказывается... ни за что не угадаете, в Иосифе Бродском. А почему?

А потому что, как и в случае Маяковского, «мы имеем дело с оболочкой сути, с заключенной в искусный сосуд пустотой». Бродский же, в свою очередь, как самый талантливый поэт нынешнего поколения, выражает то, что случилось с новейшей русской литературой. Позволю себе тут обширную цитату: «Эпоха Маяковского лишь декларировала отказ от высоких и сильных чувств, новая эпоха его осуществила... Не только положительные моральные ценности, но как бы и сама реальность жизни становится неким фантомом. Из всех жанров остается только один жанр – пародия. Сегодня все прозаики пишут памфлеты и фарсы, все поэты – иронические изложения, где всякое подлинное чувство взято в кавычки... Страшно».

На деле страшно другое – человеческая злоба. А именно ею и пронизана книга Карабчиевского. Начнем с внешности Маяковского. Судя и по свидетельствам современников, и по фотографиям (я ведь, как и Карабчиевский, родилась после смерти Маяковского), Маяковский был поразительно красив до поздней молодости (см., например, его фотографию 1918 г., в возрасте 25 лет, в киностудии «Нептун»). Красивым, хотя и с более жестким на многих (не на всех) фотографиях лицом оставался он до смерти. Что же касается смеха или, вернее, того обстоятельства, что Маяковский никогда не смеялся, то этот факт надо, видимо, приписывать не наличию страшной тайны, как делает Карабчиевский, а просто отсутствию зубов. Лишившись передних зубов в ранней юности, Маяковский, вероятно, усилием воли приучил себя не смеяться, а лишь улыбаться, растягивая рот, чтобы скрыть свой недостаток. Останавливаясь же я на внешности Маяковского только потому, что Карабчиевский пользуется в этом вопросе избитым литературным штампом – раз герой отрицательный, то обязательно – урод. А если все говорят, что Маяковский был красив, значит или подлизываются, или подпали под дьявольские чары.

Боюсь, что то же можно сказать и об описании личности Маяковского Карабчиевским. Заметим, что вообще писатели, поэты и прочие творческие личности очень часто бывают неприятными людьми. За примерами в русской литературе недалеко ходить – Лермонтов, Толстой, Достоевский, Некрасов. И с сексом у них могут быть большие проблемы. Вон, Розанов Гоголя даже в некрофилии подозревал. Ну и что?

Простой психопат-некрофил ходит на кладбище трупы вырывать, а Гоголь ведь «Майскую ночь» написал.

Но, в общем, что такого страшного, кроме голословного перечисления маний, рассказывает о Маяковском Карабчиевский? Тяжелый человек с резкими сменами настроения (кстати, хоть и не смеялся, но часто был искрящеся-веселым), тазик гуттаперчевый за собой носил, в карты играл. Однако, и отсутствие страшных личностных черт Карабчиевский каким-то образом ставит в посмертный упрек Маяковскому. Мол, проповедовал кровопролития и убийства, а сам боялся в руки перочинный ножик взять. Значит, неискренний. Я не знаю, идет ли тут речь о тотальном непонимании механизмов творчества или опять о злословии. Скажите, Карабчиевский, писатель Лев Толстой, перепортивший, как говорили в старину, половину девок Ясной Поляны и окрестностей, был искренним или нет, когда писал «Крейцерову сонату»? И наоборот, Хуан Бунюэль и Сальвадор Дали, создатели фильмов «Андалузская собака» и «Золотой век» (см. монтажи с прокалыванием и разрезанием глаз), были или нет чудовищными садистами?

Поговорим теперь о культуре Маяковского. Да, он даже гимназии не кончил. Действительно, в зрелом возрасте предпочитал, чтобы ему читали прозу. Но почему бы не упомянуть, что Маяковский серьезно учился живописи и в юности был хорошим художником? По признанию многих современников, не только пристрастной Лили Брик, Маяковский отлично знал современную и классическую поэзию. Мандельштам, например, замечает, что Маяковский был «великолепно осведомлен о богатстве и сложности мировой поэзии». Да возьмите хотя бы статью Маяковского, посвященную памяти Хлебникова, где он цитирует наизусть стихи великого поэта и дает их прекрасный анализ. А если и это неубедительно, посмотрим, что говорят литературоведы о влияниях и скрытых цитатах в произведениях Маяковского. Р. О. Якобсон находит в одной только поэме «Про это» следующие литературные реминисценции: «параллели из биографий Пушкина и Лермонтова, пародийная ссылка на «Нечаянную радость» Блока, подражание цыганскому романсу, отголоски евангельских мотивов, образы «Острова мертвых» Беклина, и даже заглавия частей поэмы вторят – первое «Балладе Редингской тюрьмы» Уайльда, а второе гоголевской «Ночи перед Рожде-

ством». Согласно Р. О. Якобсону и другим исследователям, больше всего реминисценций в поэме Маяковского – из «Преступления и наказания» Достоевского, а также других его романов: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Идиот». К. Ф. Тарановский находит в этой поэме также переключки с поэтическими традициями, восходящими к Жуковскому и к Лермонтову.

Маяковский был, между прочим, и знатоком современной ему живописи (см. хотя бы его очерки разных лет о живописи), как свидетельствует Мейерхольд, он тонко понимал театр, у него был огромный интерес к современной архитектуре (см. воспоминания архитектора К. Мельникова о том, как Маяковский «пробил» его проект советского павильона в Париже на Международной выставке современного декоративного искусства и промышленности в 1925 г.).

И так, за что ни возьмись в книге Карабчиевского. Карабчиевский утверждает, что Маяковский никогда никому не помогал. А Пастернак, например, вспоминает, как Маяковский, за несколько месяцев до смерти Блока, предложил ему отправиться вместе в Политехнический, чтобы сорвать готовившийся Блоку «бенефис, разнос и кошачий концерт». Да разве уже упомянутая статья Маяковского о Хлебникове (1922 г.) могла быть написана человеком вовсе неблагоприятным?

Пора перейти к трудному пункту о революционности Маяковского. Как известно, отцом дворянина Владимира Маяковского был скромный лесничий, после смерти которого семья и вовсе обнищала. На органическое для еще не открывшего себя гениального поэта стремление к новому наложилась, возможно, лютая ненависть бедного к богатым, тем более, что по праву рождения он не должен был быть бедным. Этим, видимо, и объясняется последующая, так обсосанная Карабчиевским, любовь Маяковского к комфорту. Ведь презрение и равнодушие к вещам и деньгам бывает обычно свойственно только людям, вышедшим из обеспеченной среды.

Маяковский, в возрасте 14 лет вступивший в РСДРП, несомненно, был искренним и страстным революционером. Ветры перемен носились в начале века над всем западным миром, к которому принадлежала тогда и образованная Россия. Менялись координаты пространства и времени, надвигалась новая цивилизация – машинный, космический, самый

человекоубийственный и самый гуманный век в истории человечества. Век, установивший страшные тоталитарные режимы почти на всех континентах, и век, признающий имманентной ценностью права человека; век, познавший целенаправленный геноцид миллионов, и век, избавивший человечество от страшных эпидемий; век электроники и выхода в космос; век терроризма – 20-й век. Уловив этот ветер перемен, Маяковский, как и многие другие писатели, художники, музыканты, отождествил направление века с революцией. Сейчас невозможно заставить себя почувствовать тот накал энергии, ту небывалость, которая стояла за революционным процессом в России. Мы слишком хорошо знаем продолжение и последствия... Но для Маяковского, Малевича, Эйзенштейна, Мейерхольда, Прокофьева, Чернихова, Родченко (называю по одному лишь имени на область искусства) революция была первым шагом в трансформации всего окружающего – внешнего вида городов, жилищ, мебели, одежды, самого облика человека. Естественно, эту трансформацию должно было осуществлять искусство, новое искусство. В духе этой, общей многим новаторам тогдашней России, платформы и ведет Маяковский свой многолетний крестовый поход против быта и мещанства как главных препятствий на пути создания нового человека. Именно поэтому в своей предсмертной записке он пишет: «Любовная лодка разбилась о быт». Ибо о быт разбилась не только любовная лодка его последней любви (Полонская отказалась уйти от мужа), но и его кредо коммуниста-футуриста. Не новый, небывалый, «неуютный» быт футуристов, конструктивистов, супрематистов надвигался на Россию, а патока соцреализма и классицизма. В этой грядущей России 30-50-х годов Маяковскому действительно не было места. Невероятно, но даже предсмертную записку Карабчиевский анализирует так, чтобы показать ничтожество Маяковского, упрекает его, что тот использовал «старый стишок, перелицованный по случаю, как бездушную, но еще пригодную вещь...». Пожалуйста, перечитайте, Карабчиевский, что написали о самоубийстве Маяковского Б. Пастернак и Р. Якобсон, – они поняли больше Вас.

Но подлинная трагедия Маяковского началась гораздо раньше, сразу после революции, и заключалась она в том, что он понял и принял революцию слишком буквально. Трагедия его – в сочетании сильной воли с недостатком критического

мышления. Решив поставить себя на службу революции, приняв ее лозунг «Культура – в массы!», он с железной последовательностью скрутил горло собственному таланту и принялся громить врагов, воспевать очередные директивы и проповедовать грядущие блага советской жизни. Это сознательное «опрощение» Маяковского оплакано и Пастернаком в «Охранной грамоте», и Мандельштамом в «Литературной Москве». Последний ехидно замечает, что «обращаться к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагоприятная задача, как попытаться усесться на кол».

Можно ли, однако, на этом основании отрицать за ранней, а порой и за поздней поэзией Маяковского качества поэзии вообще? Карабчиевский дает длинное и довольно нудное определение поэзии только для того, чтобы заключить в конце, что Маяковский к оной не относится. Через 55 лет после смерти Маяковского эти рассуждения о поэзии смешно читать. Кажется, что Карабчиевский каким-то образом ухитрился прожить в зачарованном замке, где остановилось время, и не заметил, что «на дворе» не просто 20-й век, а конец его. Ведь если мы перенесем на другие области искусства и распространим также на западный мир то, в чем Карабчиевский упрекает Маяковского и якобы пошедшую от него традицию современной русской прозы и поэзии, мы получим следующую картину. Супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, искусство «хэппенинга» и «перформанса», французский «новый роман» и «новое кино», большая часть современной поэзии, включая «визуальную поэзию», и т. д. и т. п. к искусству не относятся, ибо «все это – только в активной области, в сфере придумывания и обработки».

Узнаете, читатель? Не есть ли это советская официальная точка зрения на формализм всех толков. Только в Советском Союзе, по личному декрету тов. Сталина, из списка формалистов исключили Маяковского и даже дореволюционную поэзию ему простили за последующие заслуги. Но Карабчиевский идет дальше присяжных советских литературоведов и торжественно объявляет нам, что и Маяковский, сам Маяковский, был формалистом, и 4/5 его произведений – «пустые версификации».

Так мы подходим к главному в опусе Карабчиевского. Маяковский, по существу, выбран им одновременно как объект доноса, и как козел отпущения за все, что случилось с

мировым искусством 20-го века. Первое – гнусно, второе – нелепо.

Маяковский действительно был авангардистом, шедшим в ногу с веком или предвосхищавшим его. И если больших поэтов-футуристов, кроме Хлебникова и Маяковского, не было, футуризм как художественное течение оказал несомненное влияние на общую художественную атмосферу в России и в мире, оказал не только стихами, но и манифестами, публичными выступлениями, статьями. Их вечера были первыми, по существу, «перформансами». Кстати, даже желтая кофта Маяковского и его поза поэта-актера перекликаются с поведением западных дадаистов и сюрреалистов. Но трудно поверить, что если бы Маяковского не было, искусство 20-го века развивалось бы совсем иначе. Он был компонентой общего процесса, но не его причиной, не его единственным мотором.

Карабчиевский теоретизирует, что случилось бы с Маяковским, не застрелился он в 1930 г. Он признает, что Маяковский был бы «все равно уничтожен, если не за былую свою заметность, то уж точно – за чекистские связи». Это, видимо, так. Но случилось, что он застрелился и был посмертно объявлен по сталинской причуде «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». В этом обстоятельстве было некое провидение, но совсем не того свойства, какое ищет Карабчиевский. Не сам ли он пишет о том, как в детстве и юности заучивал «бесконечно любимые» им стихи Маяковского? У него эта любовь перешла в зрелом возрасте в ненависть. Для многих же советских читателей Маяковского в мрачные годы полного торжества соцреализма его стихи были отдушиной, ибо он был единственным доступным поэтом-модернистом. Другие большие русские поэты XX в., Хлебников, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Гумилев, стали ходить в списках с конца 50-х – начала 60-х годов, а издаваться и переиздаваться, и то не полностью, еще позже.

Я позволю себе не вступать с Карабчиевским в дискуссию об Иосифе Бродском. Поскольку последний никоим образом к теме Маяковского не относится, речь идет, видимо, о сведении личных или групповых счетов. Разумеется, и это обстоятельство не свидетельствует в пользу книги «Воскресение Маяковского» и ее автора.

*Галина Келлерман*

## БЕССМЕРТИЕ МЕРТВЫХ ДУШ

Эта книга еще в первом издании вызвала много откликов в литературных кругах в Советском Союзе. Оно и понятно: книга положила начало пересмотру традиционного советского взгляда на Гоголя как на писателя исключительно сатирического плана, критика социальной действительности России девятнадцатого века. Но этот «пересмотр» до некоторой степени был возвращением к не «революционному» восприятию творчества Гоголя, которое – если не считать линии Белинского и его последователей – господствовало в России до 1917 года и господствует на Западе до сегодняшнего дня.

Правда, в этом не «левом» течении были самые разнообразные подходы (от Мережковского до последних американских исследований), и сама концепция Золотусского – достаточно оригинальна, это не повторение прошлого. Да и творчество Гоголя – интерес к которому как к писателю-мистику, писателю-сюрреалисту значительно возрос во всем мире – настолько сложно, загадочно и многогранно, что каждый исследователь может открыть в нем свою грань – и вот, наверное, почему так много существует интерпретаций творчества Гоголя.

Возможно, что почти любое такое исследование по своему праву, даже в том случае, если оно противоречит другим работам (книга Золотусского, думаю, не составляет исключения). Таково уж свойство бездонности гения Гоголя.

Книга Золотусского вышла в серии «Жизнь замечательных людей», и потому в ней очень много места уделено личности Гоголя и его жизни. Золотусский начинает с детства, подчеркивая, что «православная Малороссия, в которой родился Гоголь, еще сохраняла остатки обрядов языческих. Все перемешалось тут...»

Иными словами, Гоголь был окружен атмосферой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» с самого детства: рядом соседствовали и церкви, и ведьмы, и космические силы пересекались здесь в своей страшной извечной борьбе.

«Кажется, какое-то предопределение стоит у его колыбели» – пишет Золотусский.

---

Игорь Золотусский. Гоголь. М., «Молодая гвардия», 1984. Изд. 2-е, испр. и доп.

Детство, как известно, – преддверие в жизнь, и прежде чем человек входит в эту жизнь, силы зла обычно наносят первый и с трудом поправимый удар. В детстве Гоголя, отмечает Золотусский, был один жуткий и странный момент, после которого он, ребенок, неожиданно убил кошку. «Мне казалось, я утопил человека», – вспоминал потом Гоголь.

«Этот случай, – пишет Золотусский, – глубоко запал Гоголю в память». И не удивительно: то был для него первый знак, символ почти полного торжества зла на земле: человек обречен причинять боль и страдания другим людям и другим существам и даже убивать их. Самим фактом вхождения в земной мир он обречен на жестокость, за которую тем не менее должен будет отвечать после смерти. «Идея возмездия поразила его (*Гоголя* – курсив мой)», – подчеркивает Золотусский.

Таким образом, в книге отмечается связь почти мистических впечатлений Гоголя-ребенка с его первыми произведениями, с «Вечерами на хutore...».

После главы о детстве Золотусский ведет нас по главным вехам жизни Гоголя, не забывая при этом его встречи с Пушкиным, Лермонтовым, чтения «Бедных людей» Достоевского. Но духовный центр его книги все-таки лежит в последних главах, в особенности на страницах, которые посвящены «Мертвым душам» и «Выбранным местам». Золотусский пишет:

«Один из современников Гоголя, слушавший главы второго тома «Мертвых душ» в исполнении автора, писал, что Гоголь в нем должен дать отгадку 1847-ми годам христианства».

Суть же самой этой «загадки» заключалась уже в первом томе и была очевидна: если человек – образ и подобие Божие, если он создан для бессмертия, то почему в реальной жизни он так мелок, ничтожен, завистлив, жалок и смешон? Гоголь, разумеется, знал, что существуют святые и мудрецы (в конце концов, он сам жил во времена Серафима Саровского), но его интересовало все человечество, а не исключения.

Золотусский прослеживает, как Гоголь пытался «разгадать» эту поистине сверхчеловеческую загадку во всей ее реальности, а не дать плоский или «академический» псевдоответ. Гоголь начал со своего «Ада» (первый том «Мертвых душ»), затем должны были последовать второй том («Чистилище») и даже третий том («Рай»).

Первый том («Ад») удался, несомненно, потому, что ад был (и есть) везде на земле, и потому для его описания достаточно было быть великим и бесстрашным реалистом. Для второго тома – уже мало было быть реалистом, надо было стать великим духовным алхимиком, преобразующим негативное в человеческой душе в свет. Золотусский пишет, что, во-первых, во втором томе задача Гоголя была показать любовь к «черненьким» (ибо «беленькими нас всякий полюбит»), «возвысить, помочь», а во-вторых, – в конечном итоге – показать преобразование своих героев (в частности, Чичикова) – в «беленьких». Последняя цель: самоочищение и преобразование тьмы в человеке в свет.

Золотусский намекает, что, возможно, такая грандиозная цель оказалась Гоголю не по плечу – да и кому во всем мире она по плечу? Он говорит: «обязательства были взяты высокие. Обязательства не только перед собою и перед Богом...» Кроме того, к концу жизни силы стали покидать Гоголя, и свершилось роковое сожжение рукописи второго тома «Мертвых душ»:

«Можно приписать акт сожжения безумию страха, слепоте Гоголя. Меж тем то был подвиг, несмотря на всю жестокость меры, на ее необратимость и кажущееся со стороны безумие. Никому ни словом в те дни не обмолвился он о том, лишь в нарастании его болезни и заявлениях, что не готов он был писать ту книгу, можно уловить, что казнь совершилась».

Однако, во всем этом Золотусский не открывает ничего принципиально нового о Гоголе, оригинальность его концепции, видимо, наиболее сильно проявляется тогда, когда он хочет доказать, что в первом томе уже заложены зерна этого преобразования героев Гоголя из «черненьких» в «белые», и более того: что эти гоголевские монстры – на самом деле не такие уж плохие люди, что взгляд на Гоголя как на сатирика – односторонен, что в «Мертвых душах» он изобразил не только тени бытия, но и полноту бытия. Оригинальность заключается также в методе, которым Золотусский пользуется для пояснения своих идей.

«Не чёрт побеждает человека в «Мертвых душах» (как писал Мережковский), а человек – чёрта», – так формулирует свою главную мысль Золотусский (или иными словами: мертвые души становятся живыми или даже бессмертными: как бы

ни было велико падение человека, он может восстать из хаоса полунебытия).

Вообще, чёрту в книге Золотусского уделено подобающее сему важному персонажу внимание, и автор очень точен, словно опытный демонолог, в некоторых своих определениях:

«Если есть у чёрта какая-либо облюбленная им в человеческой жизни сфера, так это «настоящая минута», ибо над вечностью он не властен. Он властен лишь над тем в душе человека, что привязано к этой минуте, цепляется за нее, за ее видимые преимущества, за ее материальность».

Из всей концепции автора естественно вытекает его защита второго тома «Мертвых душ», утверждение его высокой художественности, грандиозности замысла, хотя Золотусский одновременно допускает, что сам замысел был настолько велик (дать отгадку... христианства), что Гоголь, будучи в болезненном состоянии, был глубоко неудовлетворен вторым томом, что и привело к кризису или было одной из его причин.

С другой стороны, в попытке найти «белые пятна» в образах гоголевских героев первого тома (точно согласуясь с глубинным эзотерическим символом Востока: черный круг, внутри которого существует белое пятно) Золотусский даже обращается к авторитету... Белинского (значимость слов которого как бы подчеркивает то обстоятельство, что Белинский, как известно, придерживался иной концепции творчества Гоголя, чем Золотусский):

«...утверждают, будто все лица, созданные Гоголем, обратительны как люди. Справедливо ли это? – Нет, и тысячу раз нет!» – далее идет продолжение этой цитаты из Белинского, поясняющее его мысль...

Глубоко драматичны и потрясающи в книге Золотусского страницы, в которых описываются последние трагические дни Гоголя...

Разумеется, основную концепцию Золотусского можно принимать или не принимать – в зависимости от собственных установок читателя. Жизнь и творчество Гоголя – до сих пор остаются тайной. Они влекут к себе, и каждый находит в них «ответы» по мере своих взлетов, бездн и падений.

Последнее время, в частности в 1985 году, советские литературоведы подвергали определенной критике линию Золотусского (с позиций старой доктрины о Гоголе как о социальном сатирике). Но оказывается также, что эта «линия» под-

держивается многими другими советскими критиками (не только самим Золотусским).

Меня лично огорчило малое внимание Золотусского к «Петербургским повестям» Гоголя, в частности к «Носу» (впрочем, это и не входило в его задачу). Правда, он отмечает, что только Пушкин (и это, на мой взгляд, примечательно) решился опубликовать «Нос» (настолько эта повесть была необычна для своего времени). Гоголь как великий сюрреалист, как писатель XX-го и XXI-го века был, естественно, малодоступен для его современников, кроме «солнечного» Пушкина, который – может быть, один при жизни Гоголя – по-настоящему понимал своего великого «лунного» соотечественника.

«Нос» (по моему мнению) – одно из немногих самых гениальных произведений мировой литературы вообще, ибо в этой небольшой повести сконцентрированы страшные метафизические проблемы (скрытые за занавесом странной истории), которые только и могли провидеться «подсознанию» (или «сверхсознанию») нашего «лунного» гения.

Книга Золотусского, посвященная жизни и творчеству великого русского писателя, несомненно является крупным вкладом в мировое гоголеведение. Ее можно принимать или не принимать – но она стала непреложным литературным фактом, вокруг которого уже создаются легенды...

*Юрий Мамлеев*

### **КОГДА ГРЯДЕТ БИБЛЕЙСКАЯ ЧЕРТА**

«Мне возмездие, и Аз воздам», – сказал Господь. Никакое зло не останется без ответа, особенно основанное на зависти, ненависти и проистекающем из них убийстве. Вот уже много веков выносит на себе тяжесть ненависти и зависти еврейский народ, единственной «виной» которого перед лицом насильников является всего лишь только его незащитность. Тема еврейства – самая больная и острая в творчестве Фридриха Горенштейна, прозвучала впервые еще в «Доме с башенкой»,

---

Фридрих Горенштейн. Испытание. США, «Эрмитаж», 1984.

его единственном напечатанном в СССР произведении. Там она дана через описание гонимого войной беженского потока как воплощение бесприютности, изгнанничества и страданий.

В романе «Псалом», одном из крупнейших произведений писателя, которое обещают вскоре издать на русском (по-французски роман уже вышел в свет и получил восторженные отзывы прессы), автор целиком отдается избранной теме, но решает ее скорее абстрактно-риторически, полностью строя на символических образах и смешивая персонажи реальности с мифически-библейским образом Антихриста. Этот «Антихрист на Харьковщине» послан в Безбожную страну не как исполнитель воли Божией, но как свидетель творимого зла. Именно в «Псаломе» Горенштейн декларирует выношенную и четко сформулированную мысль о том, что «чем дальше народ от Бога, тем сильнее его ненависть к евреям, тем естественнее антисемитизм как национальный признак».

В пьесе «Бердичев» (уже название говорит само за себя, ибо «еврей» и «Бердичев» – почти синонимы) раскрывается провинциальное советское, уже вымороченное, еврейство, жалкие ростки когда-то могучего библейского дерева. Антисемитизм в Бердичеве «бытовой», ежедневный, обычный, но вовсе небезобидный. Просто не находя благоприятных условий он пока дремлет... до поры. А настала бы пора, случилось бы то, о чем пишет Горенштейн в «Искуплении».

Один из российских, а может, украинских городков, где только что закончилась война. Во время оккупации здесь, как и положено, осуществлялся гитлеровский геноцид, о чем свидетельствуют рвы с лаконичной табличкой: «Тут похоронено 960 советских граждан, замученных немецко-фашистскими оккупантами». Однако писателя привлекает не этот факт (достаточно сказано было об этом в «Псаломе»), а опять-таки лаконичная заметка в отчете местного отделения милиции: «В канализационных коллекторах обнаруживаются трупы лиц еврейской национальности, которых отдельные граждане из местного населения самовольно уничтожали в черте города». Один из таких «отдельных граждан», ассириец-чистильщик сапог Шума ходил по городу с обернутым в газету кирпичом и, выискивая евреев, хладнокровно и методически их убивал. Вот уж воистину, как говорит писатель, если фашизм или тоталитаризм все же исторически временны, то уж соседи вечны, как камни. Особенно страшным было убийство во дворе

того же Шумы, где он полуживым закопал в нечистотах зубного врача Леопольда Львовича, его жену, молоденькую дочь и пятилетнего сына, предварительно забив им рты и глаза дерьмом. Прибывший в городок с фронта старший сын зубного врача заставил вырыть покойников и перезахоронить.

Подробно-натуралистическое описание трупов, четыре года пролежавших в страшной своей могиле, ужасает и отталкивает, однако Горенштейн сознательно разрывает могилы и сознательно растревляет боль. Уж очень легко и быстро мы все забываем, мы уже *все* забыли. Однако есть вещи, которые забывать нельзя, и писатель бьет в колокол памяти: «Никто не забыт! Ничто не забыто!» И дело не в том, что старший сын зубного врача одержим идеей возмездия. Ведь не нашим желанием и не одной нашей волей возмездие осуществляется. Дело в *личной* ответственности каждого за содеянное зло и в том, что автор верит в пришествие отмеченного в Библии срока, той библейской черты, когда переполнится чаша терпения Господня и наступит солюющее с искуплением возмездие за жизнь невинно загубленных и замученных.

Небольшая повесть звучит симфонически напряженно: на основную тему *искупления* накладываются неотторжимые от нее философские суждения о кардинальных вопросах бытия – о Зле и Добре, о Жизни и Смерти, о Ненависти и Любви. Чрезвычайно интересна горенштейновская концепция материнской любви, по природе той самой, которой Христос любил людей и, лишь любя *так*, сумел перенести за них крестные муки. «Материнство – это высшая мудрость, – пишет Горенштейн, – до которой способна подниматься женщина в любви, не только не требующей, но в силу полноты своей полностью исключаящей взаимность, бездонной, слепой, лишенной терзаний и сомнений, присущих любви чувственной... Так же, как материнская любовь в слабой степени зависит от возраста, – продолжает писатель, – также не зависит она от ума, от воспитания, от нравственности и от порядочности... Однако, возникнув, материнская любовь может совершенно преобразить и изменить человека и всегда ведет лишь к совершенству... Может, от инстинктивных поисков материнской любви, столь трудных, где удача бывает так редка, и страдает человек, злобствует, предает, мучается, ненавидит».

Персонажи Горенштейна в «Искуплении» вообще прежде всего носители какой-либо авторской идеи. Такова жанровая

особенность повести. Это либо носители Добра (как хромой культурник, бывший танкист, поллюбивший немолодую, замученную жизнью женщину), либо носители Зла (как тот же ассириец Шума или сын его по прозвищу Хамчик, красивый жестокий подросток, всех ненавидящий и все на своем пути разрушающий), либо носители Возмездия, подобно закамневшему в своем горе сыну зубного врача Августу. Носителей Материнской любви в повести несколько. Особенно подкупает образ старушки-матери, которая ежедневно пятнадцать километров туда и обратно носит из деревни в город передачи сыну в тюрьму. Безразлично – в пургу ли, в слякоть, увязая в грязи, задыхаясь при подъеме на гору, старая женщина несет свой кулек. И носит его напрасно, потому что передачу у нее не принимают, ибо сын считается особо опасным преступником: при немцах он добровольно нанимался специально выискивать и уничтожать евреев. Однако для матери не существует понятия «преступник». Есть только сын, к тому же нездоровый и чахлый, который в тюрьме болеет еще сильнее. И мать валяется в ногах у дежурного и вновь, и вновь несет сыну в тюрьму передачу. Это и есть та самая прекрасная любовь-жалость, на которой держится мир и без которой род человеческий давным-давно прекратил бы свое существование.

Самым развернутым стал в повести ключевой образ девушки Сашеньки как главной носительницы Материнской любви. Сашенька призвана воплощать авторскую идею о том, что «материнская любовь может совершенно преобразить и изменить человека...» Ибо поначалу Сашенька показана существом совершенно отталкивающим. Она красива, но красота словно бы подчеркивает характер злобный, истеричный, завистливый. В припадке ярости Сашенька пишет донос в КГБ на собственную мать. Однако эта девушка наделена свыше даром Материнской любви (Горенштейн убежден, что дар этот редкий и чрезвычайно ценный. Наделенная им женщина богаче всех богачей мира). Все злое и гадкое растворяется в Сашеньке сначала в любви ее к Августу и затем – в материнстве. К слову сказать, в свете этой концепции трагедия Анны Карениной воспринимается как трагедия женщины, у которой любовь чувственная возобладала над любовью материнской.

Дух Библии веет над «Искуплением». И не только над этой повестью, но и вообще над всем творчеством Фридриха

Горенштейна. Здесь слышны голоса ее пророков и звуки псалмов и молитв. «Кто не знает Библии, – заметил однажды писатель, – тот не знает самого себя». Библейская направленность придала произведению характер притчи с ее замедленным дыханием и мудрой афористичностью. Здесь символично все – еда, одежда, природа. Описывать еду с такой цепкой жадностью и сладострастием может лишь человек, переживший голод. Факты биографии писателя, кажется, подтверждают это наблюдение. Котлеты приманивают хрустящей, сочащейся корочкой, от запаха грибного супа кружится голова, из пончиков, если их чуть придавить пальцем, вытекает липкое повидло. Еда – это наша плоть. Вот почему писатель подробно описывает, что и как люди едят, как добывают они замечательные и редкие продукты, из которых можно сварить багрово-пылающий украинский борщ или рассыпчатую гречневую кашу. На сытом Западе, описывая здешнюю жизнь, автор наверняка обошел бы стороной кулинарный вопрос. Но не то в голодной России, где добывание хлеба насущного становится смыслом всего существования.

Пейзаж в повести по-шекспировски трагичен и непосредственно связан с человеческими судьбами. Здесь, в этом полном могил и смертей горьком городе, не светит ясный день и не сияет яркое солнце. Повествование рисуется на фоне призрачно-лунной ночи, когда луна то прикрывается смутными облаками, то проступает нестерпимо яркая, грозная, так что людям становится невмоготу среди этой мощи вселенской ночи. Природа представляется частичкой безбрежного космоса, и люди причастны и к этой природе, и к этому космосу.

Горенштейн умеет мыслить космологически-масштабно, связывая воедино сугубо земное со всемирным, космическим. В рассуждениях о страдании и смерти он не отвергает возможности появления будущей цивилизации, которая снимает эти проблемы, поняв сущность великого Ничто. Мы же получаем острое ощущение жизни через маленькое, смешное, личное страдание, которое, словно завеса, защищает человека от большого неземного ужаса.

Проза Фридриха Горенштейна ближе всего к толстовскому направлению в русской современной литературе, которое, кстати, имеет не так уж много последователей, особенно среди писателей нашего Зарубежья. Это проза боли и человеческих страданий. Она построена на нравственной основе, пси-

хологична и вдумчива. Для писателя такого склада, как Горенштейн, именно Россия, страна в каком-то роде «мучительная», стала гигантским полем писательских исследований, источником болевых импульсов, тем богатейшим психологическим, философским и бытовым материалом, который не отпускает его и, как видно, уже не отпустит до конца жизни.

*Майя Муравник*

### **РУССКАЯ МЫСЛЬ В ИЗГНАНИИ, ИЛИ – ВОСТОК НА ЗАПАДЕ**

Оливье Клеман написал книгу о двух православных мыслителях, о двух своих учителях. Оба – Владимир Лосский и Павел Евдокимов – приехали на Запад после революции 1917 года, будучи еще очень молодыми людьми. В отличие от старшего поколения эмигрантов – Бердяева, Булгакова, Шестова – ссылка не стала для них «подготовкой по возвращению в Россию», они писали свои труды по-французски, воспринимали Запад как свою вторую родину, но все же оба оставались очарованными и умными странниками, пришельцами и паломниками.

Внешне их соединяло очень немного, они редко встречались, принадлежа к различным юрисдикциям – Лосский к московской, Евдокимов – к константинопольской. Более того, они даже враждовали. Лосский называл Евдокимова «протестантом от православия», Евдокимов же считал докладную записку Лосского, в которой он «обличал» софиологию Булгакова, «инквизиторским жестом». И все же одна из задач книги Клемана – показать, как близки эти мыслители. Оба осмыслили постхристианское христианство, оба были чутки ко времени, «которое ставит акцент на Боге Распятом и на человеке, не сводимом ни к каким схемам, к спасению через любовь, к духовности преобразования» (стр. 15).

Книга начинается с рассказа о богословии Лосского, которое было и традиционным и открытым временем, и одно не про-

---

Оливье Клеман. Восток-Запад, два проводника (Orient-Occident, deux passeurs). Labor et Fides – Perspective orthodoxe, Genève, 1985.

творечило другому – напротив, чем дальше к отцам Церкви, тем более творческой и неожиданной становится сегодняшняя мысль.

Однажды Владимир Лосский сказал, что теология должна быть не формой мысли, но самой *мыслью*. Человеческий разум должен каждую секунду уметь отказаться от схем и предрассудков, он должен распять себя, тогда он сможет понять Откровение. Многие искушения подстерегали православную мысль: то она была бесплодной копией западного богословия, то, напротив, оголтело отрицала все западное, то ей угрожали сомнительные нововведения религиозной философии, то (напротив) – «талмудический» комментарий религиозных текстов.

Владимир Лосский знает об этих крайностях и, избегая их, находит царский путь богословия. В своем последнем курсе лекций он предлагает два принципа православного богословия: «неограниченной полноты» и «сведения к конкретному». Первый принцип «полноты» запрещает нам «уменьшать» знание божественных вещей, что так часто происходит согласно нашей земной, редуцирующей логике. И здесь необычайно важен апофатический метод: Бог радикально не объективируем, апофатическое познание поднимается над всеми концепциями и спекуляциями. Владимир Лосский любил говорить о необходимом поражении богословской мысли, поскольку эта мысль останавливается перед Непостижимым.

Второе правило «принципа полноты» запрещает нам мыслить оппозициями. Принцип не-оппозиции вносит необходимый корректив к апофазису. Бога нельзя мыслить через оппозицию к чему бы то ни было. Бог (как говорил Карл Барт) совсем другой, но одновременно (по словам Николая Кузанского) *Deus non est aliud*. Бог полностью отличается от всего остального, но ничто – даже само «ничто» – не противостоит Ему.

Принцип «конкретности» – необходимое следствие того, что в христианстве «Слово стало плотью» – всё христианское откровение носит конкретно-исторический характер. Кроме того, «конкретность» христианства усиливается еще и тем, что не об абстрактных и анонимных истинах идет в нем речь – речь идет о реальном и личном, о «твоем» спасении. В этом смысле новейшая философия экзистенциализма представляет собой только ослабленный вариант христианства.

Необычайно важным был для Лосского момент *актуальности*. В огне Пятидесятницы нужно вновь открывать и переоткрывать древние догмы Церкви, христиане должны свидетельствовать о плодоносящих откровениях Церкви на языке, который понятен современникам, который способен их тронуть и потрясти.

Владимир Лосский был человеком необыкновенно широких интересов, его интересовали современная философия и, естественно, богословие. Он дружил с Этьеном Жильсоном, Морисом де Гандиляком и Жаном Валем. Он интересовался логикой и высшей математикой, любил музыку, писал стихи, одним из его лучших друзей был знаменитый художник-абстракционист. «Если церковь и не от этого мира... она всё же существует в мире, чтобы его спасти» (стр. 31). В 1950 году Владимир Лосский писал: «Перед нами пример русской церкви. И мы видим, что церковь может и должна существовать при любых внешних условиях этого мира...» (стр. 31).

Еще об одной важной теме богословия Лосского говорит Оливье Клеман в своей книге. Это тема христианской *личности*.

«Для Владимира Лосского, как и для всякой современной православной теологии, откровение личности равняется откровению святой Троицы» (стр. 33).

Личность неисчерпаема и необъективируема. Личность не принадлежит этому миру: апофатический подход, применяемый в вопросе о Боге, нужно применить и к личности.

Личность восстановленная и преображенная, должна восстановить и все прерванные в космосе и истории связи: между мужским и женским, землей и раем, чувственным и интеллигентным, сотворенным и несотворенным. Человек не изолирован во вселенной, и Владимир Лосский любил подчеркивать этот «космический» момент православной традиции. Человек – это не «микрокосм», как об этом говорили древние, это макрокосм, человек шире универсума, и он преображает этот универсум силою Божьей благодати. Вот почему для Лосского космология уже антропологии. Падение человека было космической катастрофой – по воле первых людей открылись врата ада и на земле начала господствовать смерть. «Законы природы», инертность материи, резкое разграничение модальностей пространства и времени, рвущийся к власти человеческий интеллект – всё это знаки болезни, которой боле-

ет человечество (да и вся тварь) с момента падения. Но если падение имело космические последствия, то это в еще большей степени надо отнести и к спасению. Во Христе преобразился весь мир, преобразилась даже та «меоническая» пропасть, в которую Он спустился, «смертью смерть поправ». Теперь призвание человека – реализовать эту эсхатологическую истину, реализовать обожение. И это означает возврат от болезни к норме, потому что для Лосского «подлинная природа вещей открывается в чуде, подлинное их познание есть святость» (стр. 54). Лосский всегда критиковал схоластическую теорию «чистой» природы, к которой потом присоединяется благодать. Нет природы «чистой», совсем уж обделенной Святым Духом. Разделение мира на природу и благодать, а впоследствии на вещь-в-себе и вещь-для-себя – это кантианское падение мысли – привело западное богословие к попыткам бесчисленных демифологизаций, так что от первоначальной радости и полноты христианской Благой Вести остались в наш измученный просвещением век лишь жалкие крохи, мелкие достижения «экзегезы», отрицающие подчас не только евангельские чудеса и рассказы о детстве Иисуса, но и сам факт Его Воскресения. Уродливой демифологизации Лосский противопоставлял полноту православного подхода.

Следуя Лосскому, Церковь Божия имеет два аспекта: «аспект свершившегося» и аспект «будущего». Первый – это сакраментальная полнота таинств, внутренний порядок и каноническая структура Церкви. Аспект же будущего представляет собой открытость Церкви новому, творческому, способность Церкви непрерывно обновляться, вобрать в себя личную инициативу каждого из своих членов.

В конце своей жизни Лосский часто восставал против того, что можно назвать «экклезиастическим комфортом». Послушание всем установлениям и правилам Церкви отнюдь не исключает творчества. Напротив, здесь необходим «риск свободы», ибо мы попадаем в руки Бога живого. Тема риска (и риска Бога, и риска человека) с особенной выразительностью развивается в сочинениях самого Клемана, писателя необычайно чуткого к требованиям времени. Евангелие – самая революционная книга в мире, и православие сегодня должно осуществить синтез между сакраментальной объективностью и харизматической свободой.

В короткой рецензии невозможно остановиться на всех темах Лосского, – даже на таких важных, как «филиокве» или спор о Софии – всё это изложено Оливье Клеманом с необыкновенной ясностью и одновременно с любованием другом и учителем, с сохранением внутренней мелодии его стиля и мысли, с осознанием того, сколь плодотворными могут быть мысли Лосского для нас, живущих сегодня.

Вторая часть книги посвящена философу, никогда практически не печатавшемуся на русском языке и поэтому до сих пор неизвестному в России. Надеемся, что в ближайшее время этот пробел будет восполнен, горько сознавать, что столь замечательные идеи и мысли прошли мимо нас. Некоторые из них даже были «стихийно» переоткрыты – так, например, женское движение, начавшееся в 1979 году в Ленинграде, разделяло основные идеи книги Евдокимова «Женщина и спасение мира», не будучи вовсе знакомым с этим ставшим классическим на Западе трудом.

Павел Евдокимов не только писал по-французски, он и жил в сущности во французской среде. «Он углубил свою ссылку, превратив ее в духовное изгнание, он искал «единого на потребу» и был паломником Царства Божия» (стр. 105). Однажды ему предложили занять кафедру на филологическом факультете в Бордо. Но для этого он должен был принять французское гражданство. Он отказался, он предпочел остаться тем, кем он был – русским в ссылке, «русским, ставшим свидетелем универсального» (стр. 95).

Одна из первых книг Павла Евдокимова – «Достоевский и проблема зла». В ней сделана попытка ответить на вопрос, который кажется центральным в наш «апокалипсический» 20-й век: если мир создан Богом, если он теофаничен, то в чем смысл зла, в чем смысл истории? Ответ – в кенозисе Бога, в том, что Бог желает, чтобы человек *свободно* избрал Его. Бог может всё – часто повторял в своих трудах Евдокимов – Он не может только одного: не может заставить человека полюбить Его. Для Оливье Клемана Павел Евдокимов – это современный «Алеша Карамазов, посланный в мир своим старцем, это свидетель «овнутреннего монашества», монашества, не отказывающегося от жизни, но преобразующего жизнь, не отказывающегося от встречи с женщиной, но превращающего эту встречу (вне всякого морализма) в таинство любви» (стр. 111). Евдокимов был продолжателем русской традиции, чувстви-

тельной к проблеме любви, последователем Соловьева и Бердяева, но если у последнего еще много гнозиса и романтизма, то в книгах Евдокимова «Брак, таинство любви» и «Женщина и спасение мира» русская традиция возвращается к своим церковным корням, возвращается, конечно, обогащенной и обновленной.

Оливье Клеман четко определяет место Павла Евдокимова в истории русской мысли. Дело в том, что Евдокимов творил уже после смерти крупнейших представителей русской философии (Булгаков умер в 1944 году, Бердяев в 1948), в атмосфере некой «реакции», когда более молодое поколение русских резко отвернулось от философских, слишком «субъективных» поисков и противопоставило им «великую патристическую и византийскую традицию». «Величие Евдокимова и молодость его мысли в том, что он отказался от подобной оппозиции и попытался соединить великую патристическую Традицию – традицию паламитскую и филокалическую – с основными интуициями русской религиозной философии... Он обогатил Традицию ответом Иову...» (стр. 116).

Оливье Клеман пишет о «евхаристическом» методе Павла Евдокимова. Человек – прежде всего существо «литургическое», он должен преобразовывать культуру и природу, превращая все вокруг в единую литургию.

Темы «красоты», «женщины», «нигилизма» и «преодоления нигилизма», «тринитарной антропологии» и «активной эсхатологии», тема экуменизма – всё это подробно исследуется в книге Оливье Клемана, пытающегося (и с успехом) выявить прежде всего общее в наследии двух столь разных русских мыслителей. В заключении можно лишь сказать, что в творчестве самого Оливье Клемана мы тоже найдем этот синтез обеих философий (Лосского и Евдокимова) и все его книги – наилучшее тому доказательство.

*Т. Горичева*

# Коротко о книгах

Аркадий ШЕВЧЕНКО

РАЗРЫВ С МОСКВОЙ

*Авторизованный перевод*

Книга Аркадия Шевченко, ставшего невозвращенцем в 1978 году, в то время как он занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН, была написана по-английски, в расчете прежде всего на западного читателя. Вышедшая в 1985 году в нью-йоркском издательстве Альфреда А. Кнопфа, она в том же году была выпущена на ряде других языков, а в конце концов – и по-русски. Сам автор предупреждает, что книга для советских читателей не предназначалась, что она была написана в поучение тем, кто «в Соединенных Штатах и на Западе вообще часто весьма наивно подходят к оценке того, что происходит в Советском Союзе, и принимают на веру утверждения Кремля о стремлении советского режима к миру и искреннему сотрудничеству с Западом». Однако он справедливо предположил, что его воспоминания о 20 с лишним годах пребывания на советской дипломатической службе, возможно, «помогут и русским читателям глубже понять механизм советской государственной машины, которая действует отнюдь не в интересах народа, а лишь в интересах узкой группы партийной и иной элиты».

К этой «элите» (или, точнее по-русски сказать, «верхушке» – со словом «элита» у нас обычно связываются представления о духовно-интеллектуальном превосходстве, а не о пребывании на высотах власти) Аркадий Шевченко принадлежал сам. Окончив Институт международных отношений, а затем аспирантуру при нем, он в октябре 1956 года был взят на работу в МИД, притом в специальную группу по вопросам разоружения, только что созданную на дрожжах хрущевской политики «мирного сосуществования». Можно сказать, что Шевченко принадлежит к той части «поколения оттепели», которая именно в те годы начала свои стремительные карьеры – чтобы продолжать их, требовалось немного: послушание и цинизм. Некоторое время эрзацем цинизма мог служить самообман – самоуверения в том, что делаешь полезное дело. Такой самообман был явно свойственен автору книги при его первых усилиях внести свой вклад в дело разору-

жения, но знакомство с внешнеполитической практикой вскоре разрушило иллюзии. Цинизма, нажитого большинством его ровесников, Аркадию Шевченко, в конце концов, видимо, не хватило, о чем свидетельствует его разрыв с советским режимом. Долго оставалась лишь рутина дипломатической карьеры, удовлетворенность вступлением в ранг привилегированных, тех, кому не надо ютиться в коммуналке, у кого имеются «законные» атрибуты номенклатуры: квартира, дача, машина, закрытые распределители. Но и этого автор предпочел лишиться.

На своем пути Шевченко встретил достаточно много людей, принадлежащих уже не просто к верхушке, но к самым верхам партийно-государства. Среди их портретов наиболее детальный – несомненно, Громыко, с которым Шевченко много работал вместе и был знаком домами. Автор неоднократно подчеркивает сильные стороны Громыко – сильные, с одной стороны, даже в общечеловеческом и традиционно дипломатическом смысле, с другой же – в его роли участника, а с начала 70-х годов и сотворца (если не просто творца) советской внешней политики, имеющей очень мало общего с традиционной внешней политикой, но целиком поставленной на службу победе коммунистической идеологии. Полезный для Запада портрет сильного врага.

Собственно, весь рассказ Шевченко о его дипломатической службе – это рассказ о «ненормальной» дипломатии. Огромную часть сотрудников разного рода советских дипломатических представительств, как это широко известно, составляют сотрудники КГБ и ГРУ. Многих из них Шевченко называет по именам, описывает их «подвиги». Дипломатам «как таковым» приходится тянуть вдвое и втрое больше работы из-за того, что их «коллеги» заняты «своими делами». Но то, чем заняты сами дипломаты, тоже настолько подчинено ежедневному и ежечасному служению идеологии, что особой жалости к ним, читая книгу, не испытываешь.

Быть может, самая интересная часть книги – та, где рассказывается о пребывании Шевченко на посту заместителя Курта Вальдхайма. Перед неискушенным в дипломатических играх читателем предстает такое бесстыдное, беззастенчивое использование Советским Союзом международных организаций в своих целях, что уже не удивляешься, почему именно в этот период Аркадий Шевченко не выдержал и предпочел расстаться с карьерой советского дипломата.

*Николай ПОЛЯНСКИЙ. МИД*

*Nikolas Polianski. M. I. D. 12 ans dans les services diplomatiques du Kremlin. Préface de Michael Voslensky. Trad. du russe. Pierre Belfond, Paris, 1984*

Автор этой книги – дипломат «среднего звена»: переводчик в МИДе, третий секретарь посольства в Берне, сотрудник генерального консульства в Загребе, переводчик при ЮНЕСКО. Находясь в этой должности – притом накануне уже назначенного отъезда в Москву – Николай Полянский обратился к французским властям с просьбой о политическом убежище.

Книга Полянского не предлагает нам заглянуть на самые вершины власти (разве что одним глазком – в связи с несколькими государственными визитами, во время которых он работал переводчиком), однако она рисует – дотошно, иногда, может быть, даже чересчур – повседневность советских дипломатических служб. Вот, скажем, посольство в Берне: в МИДе Швейцарией занимается один-единственный человек, страна в глазах советских «делателей политики» не выглядит важным партнером, однако в посольстве трудится около 30 человек (в соседнем Люксембурге – 4-5). Все решается просто: Швейцария, не входящая в НАТО, не накладывает ограничений на численность дипломатического персонала, и посольство в нейтральной Швейцарии становится оперативной базой на ряд стран Западной Европы. Собственно мидовцы составляют лишь часть посольского персонала. Вот, скажем, люди, занимавшие второе и третье место в иерархии посольства в Берне, когда там служил Полянский (1972 – 1976). Георгий Андреевич Лопухов, советник посольства по иностранным делам, – резидент КГБ. Леонид Иванович Ларин, советник посольства, – полковник, резидент ГРУ. Далее Полянский перечисляет занимающих разные посты в посольстве и торгпредстве «людей Лопухова» и «людей Ларина», которые, как и положено соперничающим организациям, не упускают случая подставить друг другу ножку, перехватить информацию, наступать и т. п. Впрочем, нравы советских дипломатов, как их живописует автор (притом без всякого нажима, просто добросовестно рассказывая все, что вспомнилось), вообще способны служить скорее иллюстрацией к закону джунглей, чем к какому-нибудь моральному кодексу «строителя коммунизма». Коллективизм, чувство локтя – пустые лозунги, звучащие лишь с трибуны, да и на той используемые только для того, чтобы в очередной раз напомнить дипломатам и их семьям о том, чтобы не окунались в бур-

жуазную жизнь поодиночке, но ходили кучно, приглядывая друг за дружкой. Локти же служат, чтобы отпихивать других от выгодных постов и проталкиваться самим, либо проталкивать детей, знакомых и детей знакомых.

Весьма любопытны в книге Полянского сведения о постоянной финансовой поддержке, которую получали (и, конечно, продолжают получать) через посольство швейцарские коммунисты (Швейцарская партия труда) и общество «Швейцария – СССР». Собственно, даже и поддержкой это назвать трудно: жалкие и малочисленные, обе эти организации просто жили на советском содержании. Стоит отметить, что и передачей им денег, и контролем их деятельности занимались не представители КГБ или, тем более, ГРУ, но обычные «мидовские» дипломаты.

Как и книга Шевченко, воспоминания Полянского предназначены, прежде всего, для западного читателя. Надо надеяться, что они будут прочитаны и позволят многое понять.

*Елена ЩАПОВА*

СТИХИ

*New York, 1985*

Есть стихи, как мелодия музыкальной шкатулки: звук верен и чист, но его издали не услышишь. Улыбаясь, читаешь:

У моей бабушки  
Были бусы и камушки  
У дедушки  
Вино и девушки  
А у матушки  
Были родинки...

О сборнике, подобном тому, который вышел недавно у Елены Щаповой, хотелось бы сказать – «тетрадь». Видишь их написанными от руки, словно дневник, в толстой школьной тетради под клеенчатым кожистым переплетом.

Актерски вживаясь в образ автора этих стихов, видишь, как он, автор, их пишет – задумчиво, для себя:

Мальчик пьет воду из колодца  
Девочка ест апельсин  
В жаркий июньский полдень...

Стихи Е. Шаповой писались на протяжении, кажется, 15 лет. Каждое из них статично-созерцательно и как бы составлено из множества картинок. Их даже тянет расчленить, превратить в ряд маленьких стихотворений, в исполнении китайский тушью. Доверяя художественной интуиции, автор не всегда работает над стихом «в поте лица», считая, что первое пришедшее на бумагу слово и есть самое точное. И вот – нежное слово, словно скатывающееся по пологому скату смысла, балансирует в воздухе в нерешительности; и кончиком ступни – балетным мыском – поэт примеривается – как бы не соскользнуть...

В этой зыбкости, в этой точности касаний – неистребимая полудетскость. Часто стихи Е. Шаповой рассказывают вполголоса о детстве – «безжалостном, святом и мудром». Жизнь протекает летом, «на даче, у садового рукомошника»...

Любопытный возникает из этих стихов автопортрет (по принципу песенки «Из чего только сделаны девочки»): Портрет Елены – из легких, но хищных бабочек, он из скрипа дачного гамака, и из корочки апельсина, и из содранной корочки на коленке – тут и капелька крови, на белом порванном кружеве (клубника со сливками). В стихах Е. Шаповой – детский эпатаж, инфантильный садизм:

Груды – четыре груды  
Вздрагивающих  
Всасывающих  
Поцелуи двух

других.

Животы – животы  
ненасытные животные...

Елена Шапова называет себя ученицей Холина и Сапгира. От них она переняла упругость ритма, консонансы, «сдвигология». А то и сюжет невзначай совпадает – как, например, в стихотворении «Женщина упала из окна» (а у Сапгира есть стихотворение «Падение»). А оттого, что поэт довольно долго жил в Америке, в ее поэзии – символика хасидоакынства, сродни поэзии Алена Гинзберга:

Я жил тридцать лет среди нарисованных мною полотен,  
И я видел только яркие краски и черные пятна на грязном полу...  
(Из «Монологов Джоана Хайца»)

И, разумеется, отдана дань обэриутам – они буйно вырвались из безвестности в поэзию незадолго до того, как поэт Елена Шапова начала писать стихи:

Вся жизнь моя прошла в мужчинах  
Как будто в сливах или вишнях...

Стихи Елены Шаповой – камерные стихи. Иногда чуть жеманные, даже с нечаянными погрешностями против вкуса:

И шепот мой лишь ветер южный  
Теплом навеивает сказку  
О жизни странной, жизни чудной –

здесь уже чуть смешная старомодность. Но – ведь говорил же Пушкин, что, мол, «поэзия должна быть глуповата» – только бы не скучновата... А в этих стихах – такая беспомощная искренность, такая дремотная улыбка, что принимаешь их со всеми этими сбоями – ведь без них стихи были бы – не ее!

Ведь сейчас все умеют писать – в особенности стихи. Грамотные и заглаженные. Сейчас много поэтов «хороших» – а «разных» – гораздо меньше. А стихи Елены Шаповой, со всеми их «замками», со всеми «принцами и принцессами», со всеми «красавицами», точно нарисованными подростком в школьной тетради, – спутать с другими невозможно. Они запоминаются. От них неожиданно начинает щемить сердце:

Мне сегодня исполняется  
Двадцать восемь полных лет  
Платью белому мечтается  
В кружевной большой балет  
Все еще живешь с фантазией  
О любви, которой нет...

«Пусть светлым и душистым будет день», – эта строка из стихотворения Е. Шаповой открывает сборник. Она и есть тот камертон, по которому настроены стихи ее тетради.

К. С.

# По страницам журналов

## «СВОБОДНЫЙ МИР»

«1984 год позади, но, к сожалению, предсказания Андрея Амальрика не сбылись. Советский Союз продолжает существовать. И пока он существует, мира и спокойствия быть на земле не может» – так начинается вступительная статья первого номера журнала «Свободный мир», который выпускает в Нью-Йорке Гарри Табачник, журналист, выехавший из СССР лет десять тому назад. От всех прочих журналов эмиграции этот отличается прежде всего тем, что он – как это сказано на титуле – *американский* журнал на русском языке. Не русский журнал, а именно американский на русском языке, что выражается прежде всего в том, что почти все авторы его – американские журналисты, ученые, общественные деятели.

Так, в двух первых номерах опубликованы статьи Даниэля Бурстина – библиотекаря Конгресса, Маршала Голдмана – заместителя директора русского исследовательского центра в Гарварде, Джона Доллана – председателя «Национального Консервативного комитета политических действий» и других известных американских знатоков «советского вопроса». Кроме них в число авторов входят такие известные публицисты, как французский философ Жан Франсуа Ревель, бывший советник президента Картера З. Бжезинский, английский философ И. Берлин.

Немало места журнал уделяет и публикациям материалов или давно забытых, но по содержанию своему актуальных, или по-русски никогда не печатавшихся, как отрывок из книги А. Тойнби, знаменитого английского историка, умершего несколько лет тому назад, «Цивилизация перед лицом испытаний», или глава из неоконченной работы Петра Струве (ум. в 1944 году) «Социальная и экономическая история России».

Цель журнала, как определяет ее Г. Табачник, «показать своим читателям в Советском Союзе, как можно жить ИНАЧЕ. В первую очередь на примере самой свободной и демократической страны мира – Соединенных Штатов Америки». Достижения демократической мысли, оплот американской демократии должны стать материалом для размышления, помочь найти возможные альтернативы советскому образу жизни. Как справедливо сказано в журнале, «защищать фантазию, отрицая собственный опыт», до сих пор еще для многих

кажется естественным. И вот «продолжаем спорить о преимуществах той или иной формы социализма, о монархии, о корпоративном обществе», когда все эти три формы государственного и общественного устройства себя в большей или меньшей степени скомпрометировали в глазах тех, кто испытал их на себе... Итак, журнал призван защищать ценности современной демократии в той ее форме, которая авторам и редакции представляется наиболее совершенной на данный момент.

Действительно, об американской демократии, об этом создании Джефферсона и Вашингтона, можно во всяком случае сказать, что конституция, которая за две сотни лет почти не изменялась, выдержала испытание временем, это видно, поскольку изменить ее, при желании (в соответствии с ее же статьями), было бы не так уж трудно. От себя добавим, что не случайно один из самых интересных и поныне актуальных проектов Конституции, созданных в России, – проект Никиты Муравьева, одобренный большей частью декабристов (кроме пестелевского крыла, стремившегося к авторитаризму), – представляет собой творческую переработку многих основных положений конституции США. Конечно, американская демократия не совершенна, однако, как говорил Черчилль, демократия это плохо, но лучшего ничего человечество пока не изобрело.

Закономерно, исходя из всего вышеизложенного, что первый номер журнала открывается текстом выступления Президента США Рональда Рейгана в английском Парламенте 8 июня 1982 года. «Режимы, пришедшие к власти на штыках, не имеют корней» – вот одна из главных мыслей этого выступления. И еще: «мы настаиваем, чтобы тоталитарные государства уважали свои собственные конституции». Это требование-минимум, однако, может быть, оно не так уж минимально, ибо в государствах, где слово и дело расходятся на 180 градусов, соблюдение собственной демагогической конституции, превращение ее в *действующую* – есть по сути немедленное разрушение тоталитарной системы.

Что же касается статьи Ричарда Пайпса, то в ней, как представляется, есть много спорного – прежде всего в его благодушной уверенности, что, поскольку коммунистическая идеология «не представляет собой ничего привлекательного для западных обществ, поэтому нет угрозы, что они могут произвести внутренний переворот у нас». Как известно, история уже показала, как эта «непривлекательная» система производит внутренние перевороты в странах если не совсем демократических, то стремящихся к демократии (довольно примера одной Никарагуа, которую доктор Пайпс как-то забыл, возможно,

потому, что эта страна очень далеко от него). Неясно и то, какая связь между тем, что СССР «платит своим солдатам смехотворно низкую зарплату», и тем, что «в любом состязании, ограниченном обычными вооружениями, советская сторона будет иметь огромное преимущество».

Остальные материалы американских авторов (кстати, прекрасным русским языком переведенные) представляются весьма интересными, даже если с некоторыми из них невозможно согласиться. Но разнообразие мнений, широкий спектр альтернатив – это основное положение, это тот базис, на котором стоит журнал. Пока трудно сказать больше – два номера это еще не так много, – но во всяком случае читателю «Свободного мира» есть над чем поразмышлять.

В. В.

### ЧЕШСКИЕ РАЗГОВОРЫ – НЕ ТОЛЬКО НА ЧЕШСКИЕ ТЕМЫ

(«Rozmluvy», № 1 – 1983, №№ 2-4 – 1984, № 5 – 1985)

Недавно начавший выходить чешский журнал «Розмлувы» («Разговоры») – несомненно, то, что называется «журнал с направлением». Его нельзя назвать религиозным по преимуществу (тем более, богословским) журналом, как, например, «Студие» («Исследования»), издаваемые Христианской Академией в Риме, но религиозно-философская тематика, документы о положении верующих в Чехословакии занимают здесь одно из важнейших мест. Можно было бы сказать, что это общественно-политический христианский журнал.

Главный редактор журнала Александр Томский – сотрудник британской религиозно-правозащитной организации Кестон-Колледж, созданной для изучения положения религии и верующих в коммунистических странах. В редколлегию журнала входят, в частности, христианский философ Рио Прейснер и один из самых замечательных людей в чешской эмиграции аббат Анастас Опасек, бывший узник коммунистических концлагерей, а в эмиграции – создатель общества мирян-католиков «Опус бонум», организатор ежегодных форумов, посвященных важнейшим общественно-политическим и актуально-историческим проблемам, и, к тому же, поэт. Среди его стихотворений – проникновенные стихи, посвященные А. Д. Сахарову.

Открывая первый номер журнала, Александр Томский писал: «...уже очевидно, что на территории чешской культуры наступают глубокие внутренние перемены и сдвиги – главным образом, под влиянием христианства». Он отмечал тогда (а за прошедшие годы это стало еще очевидней), что в Чехословакии выросло новое поколение христиан, чешская и словацкая молодежь обращается к Церкви, растет церковный самиздат, укрепленный поддержкой верующих престарелый Примас Чехии кардинал Томашек все решительнее вступает в неравную борьбу с атеистическим государством. Журнал «Розмлувы» поставил себе целью дать свидетельство как тому, что происходит сегодня в области подлинного христианского возрождения в Чехословакии (прежде всего в Чехии), так и традициям христианства в чешской культуре.

На страницах журнала публикуются не только свидетельства и документы (например, документ «Хартии-77» в защиту монастырей), но и произведения чешских католических поэтов: Якуба Демла (1878–1961), не издававшегося в Чехословакии с 1948 года (зато в 70-е годы многотомное собрание его сочинений вышло в самиздате); скончавшегося в 1960 году, сразу после выхода из концлагеря, Яна Заградничека; принадлежащих к следующим поколениям, ныне эмигрантов Яна Владислава, Ивана Дивиша, Карела Крила. Среди поэтов «Розмлув» мы находим и авторов, живущих в Чехословакии, например, священника Франтишека Даниэля Мерта и жестоко преследуемой властями религиозной поэтессы Ивы Котрлы.

Наличие в журнале стихов, прозы, литературной критики – не украшение. Тема «христианство и культура», по всему видно, признана редакторами журнала одной из важнейших, одной из самых плодотворных. Разумеется, не оставлена в стороне и религиозная философия как таковая; при этом, печатая самиздатских и эмигрантских авторов, редакция взяла на себя также важный труд ознакомить чешского читателя с видными представителями западной христианской философии, такими, как Ханс Урс фон Бальтазар или Адриенна фон Шпейр. Много места уделяет журнал положению Церкви и верующих в других коммунистических странах, притом не только в европейских (в 4-м номере напечатана статья о положении Церкви в Никарагуа).

Христианский журнал сегодня не может быть аполитичным. Политическую программу журнала также сформулировал Александр Томский в первом номере:

«При всей разнице мнений в редакции этого католического журнала ее членов объединяет убежденность в том, что политически христианство совместимо с консервативно понимаемым политическим

либерализмом. Либерализм, лишенный своего прежнего антиклерикализма, прагматический либерализм, который не возвел себя в ранг идеологии, защищает свободу личности и свободу рынка и не препятствует свободной деятельности христиан».

Наряду с общественно-политическими статьями чешских авторов журнала, одним из важнейших свидетельств его политической линии (а для тех, кому недоступны оригинальные тексты, и интереснейшим чтением) является публикация 5-го номера: подборка текстов из «Солсбери ревью» – журнала «новых консерваторов», выходящего с 1982 года под редакцией философа Роджера Скратона. При самохарактеристике этой группы как «новых консерваторов» и при том, что они отвергают «либерализм» (скорее, в его искаженном, «левом» виде, который он приобрел во многих странах после Второй мировой войны), эта группа близка к оценке Александра Томского: «консервативно понимаемый политический либерализм». Проще говоря, традиционные (а не искаженные) либеральные ценности сегодня становятся тем, что нуждается в охране и развитии.

Не обошли «Розмлувы» и спор, разгоревшийся вокруг концепции Милана Кундеры о «трагедии Центральной Европы». Следует сказать, что эта концепция Кундеры (в двух словах: «русско-византийская культура», которая навалилась на Центральную Европу и оторвала ее от Запада, к которому та принадлежит, – причем для Чехословакии этот трагический момент датируется 1968 годом), выступающая в ряде статей, но особенно откровенно – в статье «Похищенный Запад, или Трагедия Центральной Европы», отнюдь не встретила не только единодушного, но и широкого одобрения среди чешских авторов – как в эмиграции, так и на родине. Об этом, в частности, свидетельствует резкая критика, которой подвергли Кундеру его соотечественники в ряде статей, помещенных в парижском журнале «Сведецтви».

Йосеф Градец, статью которого «Розмлувы» перепечатают из самиздатского «Критицкого месичника», указывает, что дело не в «России», которая, по словам Кундеры, поработила Центральную Европу: если вычесть столь подчеркиваемые Кундерой, а на самом деле не менее внешние, чем западные, влияния Азии и Византии, в остатке оказывается все тот же марксизм-ленинизм, от рассмотрения которого Кундера отказывается: «Если бы даже во взгляде на „русский вопрос“, – пишет самиздатский автор, – мы ни с кем и ни в чем не соглашались, все равно не может быть спора о том, что марксизм не является продуктом России, от которого нам так легко отвернуться, но что он возникал несколько западнее нашей центральноевропейской вселенной и, если не ошибаюсь, был и юношеской верой самого

Милана Кундеры. Споры о чистоте «первоначального» марксизма, который, согласно одной версии, должен был быть *хорошим* в своем неспорченном западном виде, а испоганил его только хитрый азиат с бородкой, согласно же другой версии – должен был быть *хорошим* в ленинском завершении, но, в свою очередь, его испоганил другой азиат, на этот раз с усами, – эти споры можно оставить для забавы кабинетных мыслителей или основателей марксистских секток». По мнению Йосефа Градеца, единственная исходная точка для того, чтобы увидеть Европу в ее целостности, – христианство. Процесс «возвращения к христианству», или, уточняет Градец, «возвращения христианства», проходит и в Чехословакии, и в России («в условиях, несравненно менее благоприятных, чем наши»), и никак нельзя согласиться с Кундерой, когда он говорит о России как об «анти-Западе» или прямо об *иной* цивилизации.

Йосеф Градец напоминает сказанные еще в начале 30-х годов слова Хиллари Беллока: «Либо Европа будет христианской, либо ее вообще не будет». Слова эти важны не только в полемике с Кундерой – их можно считать выражением философско-политической линии журнала «Розмлувы».

Н. Г.

## ДМИТРИЮ ПАНИНУ – 75 ЛЕТ

Дорогой Дмитрий Михайлович!

В день Вашего 75-летия Вас вспомнят и поздравят и те, кто знает Вас только как солженицынского Сологодина, и те, кто узнал Вас ближе по Вашим «Запискам Сологодина», и те, кому довелось с Вами встречаться, дружить, спорить. В своем, далеко уже не юном, возрасте, Вы сумели сохранить юношеский задор бойца и стойкую, безоговорочную непреклонность в сопротивлении античеловеческому коммунистическому режиму. Ни лагерь и тюрьма, ни эмиграция, слава Богу, Вас не «исправили».

Трудно даже придумать, чего пожелать Вам в этот день, разве что самой простой вещи: пусть здоровье и физические силы не оставят Вас и сравняются с Вашей силой духа.

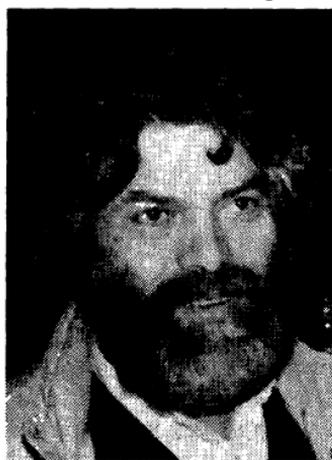
«КОНТИНЕНТ»

# Наша анкета

## БЕСЕДА С МАРЕКОМ ХАЛЬТЕРОМ

«Континент»: Марек, вы пользуетесь огромной известностью во Франции, но во Франции живет лишь малая часть читателей «Континента». Наши читатели – в России, в Америке, в Израиле – рассеяны по всему миру. Поэтому расскажите вначале о себе.

М. Х.: Это просто. Я – писатель. Я написал много книг, последняя из которых называется «Память Авраама». Эта



книга прослеживает историю одной еврейской семьи в течение двух тысячелетий, ее скитания во времени и пространстве. Эта семья жила в разных местах – в Северной Африке, в Италии, на Ближнем Востоке, во Франции в течение семи веков, в Польше, в России и т. д. Эта история отчасти совпадает с историей моей семьи, семьи печатников, начиная с Гутенберга, с 15-го века. Еще мой покойный дедушка, умерший на второй день восстания в Варшавском гетто, был печатником. Я сам родился в Польше, в 1936 г. Вме-

сте с моими родителями я бежал из Варшавского гетто, и нам удалось добраться до Советского Союза. Мы были в Узбекистане, на афганской границе. После войны мы вернулись в Польшу. А в 1950 г. мы перебрались во Францию и разыскали здесь одного из немногих оставшихся в живых членов нашей семьи – моего дядю, прошедшего войну в партизанах. В России я был пионером и хулиганом, но все же меня послали в составе делегации узбекских пионеров вручать цветы Сталину в День победы на Красной площади. Как видите, я многое повидал на своем веку! Во Франции я открыл для себя свободу. Это было не просто, ибо до 14 лет я жил при двух тоталитарных системах, нацизме и коммунизме. Вначале я был шокирован Парижем. Я не понимал, как можно свободно выходить на полити-

ческие демонстрации самых разных толков, почему продаются газеты различных направлений, от коммунистических до крайне правых. Я также не понимал, почему решительно все есть в продаже и не надо стоять в очереди. Мне было довольно трудно выучить французский. Это заняло два года. Свобода открылась мне через французский язык. И с тех пор, как я выучил французский, ставший для меня языком свободы, я им пользуюсь, чтобы кричать, выходить на демонстрации, писать, защищая всех тех, кто сегодня, повсюду в мире, страдает от несвободы, как страдал я сам в детстве. Я выступаю в защиту Манделы в ЮАР, за демократизацию Аргентины, за Сахарова, за афганцев, гибнущих от рук оккупантов, за советских евреев, которым не разрешают эмигрировать, за Леха Валэнсу и т. д. Конечно, я не протестую в одиночестве, многие другие действуют вместе со мной. И я буду продолжать мою борьбу, пока будет существовать демократия во Франции. Ну а если я снова окажусь внутри тоталитарной системы, я немедленно буду брошен в тюрьму.

«К.»: В настоящее время в Париже проходит месячник иудаизма под названием «Месяц иудаизма с Марекком Хальтером». Кто устроители этого месячника? Какова его цель и его программа?

М. Х.: Этот месячник организован Сорбонной и Еврейским университетским центром Раши. Его цель – показать французам-неевреям, что такое еврейская культура и мысль в настоящем и прошлом, как еврейская культура уже в течение двух тысяч лет взаимодействует с культурой и повседневной жизнью французов. Ведь евреи живут во Франции уже две тысячи лет, и они активно участвовали в формировании того, что сегодня называется французской культурой и французскими традициями. В течение столетий евреи рассматривались во Франции, да и в других странах, как особый и чужеродный элемент. Но теперь люди все больше и больше приходят к выводу, что евреи – такие же люди, как все прочие, и что иудаизм является культурным наследием всего человечества. По существу, иудаизм является носителем некоторых общечеловеческих ценностей. В этом месячнике участвуют многие интеллектуалы и политические деятели, в большинстве своем – не евреи. Это очень важно, что писатели Маргерит Дюра, Франсуаза Саган, Филип Соллерс или историки Леруа-Ладюри и Легоф принимают участие в таком событии, что они чувст-

вуют и публично выражают свою близость к еврейской мысли. На различных мероприятиях этого месячника присутствовали и крупные политические деятели – Франсуа Миттеран, министр культуры Жак Ланг, президент Сената Поэр, мэр Парижа Жак Ширак, то есть – и правые, и левые.

«К.»: Не думаете ли вы, что присутствие «сливок» французского политического мира объясняется близостью выборов, что идет борьба за голоса французских евреев?

М. Х.: Это возможно, но это – не единственная причина. Я думаю, что политические деятели в демократической стране обязаны прислушиваться к интересам своих избирателей. Я думаю, что французы изменились, изменились, соответственно, и их представители в политике. Я верю, что Франсуа Миттеран или Жак Ширак искренне интересуются еврейским компонентом французской нации. Кроме того, как показывает опрос общественного мнения, проведенный на днях по инициативе газеты «Ви католик», отношение французов к политике в целом сильно изменилось. Французы остаются самой «политизированной» нацией Европы, но они больше интересуются этическими аспектами политики. На вопрос, какая из политических и общественных организаций (политические партии, Церковь, профсоюзы, Международная Амнистия и т. д.) ближе всего к их собственным интересам в политике, почти 70% французов назвали Международную Амнистию. Это показывает, что французы озабочены судьбой Сахарова, что они озабочены судьбой советских узников совести, а также судьбой Манделы в Южной Африке и политзаключенных в Чили, но их волнует прежде всего этический аспект нарушения прав человека, а не политические системы, в которых имеют место эти нарушения. Логика простая: «Не трогай моего друга!» (лозунг движения «СОС – расизм!» – прим. ред.), люби ближнего как самого себя, ибо все мы – равны, и у всех нас есть неотъемлемое право на свободу, собственное достоинство, свободу выражения, свободу передвижения. Советский Союз, кстати, подписал Хельсинкские соглашения, где перечислены все эти права, но не соблюдает их.

«К.»: В ходе месячника иудаизма вы делаете доклад на тему «Расизм, антисемитизм и антиссионизм». О чем вы будете говорить?

М. Х.: Этот вечер организован Союзом еврейских студентов Франции и движением «СОС – расизм!». Я поддерживаю

это массовое молодежное движение с момента его создания. Они борются с крайне правым, расистским, ксенофобским и антисемитским движением во Франции, возглавляемым Жан-Мари Лепэном. Устроив на площади Конкорд демонстрацию с 400.000 участников, они остановили, по сути дела, распространение расистских идей во Франции. Расизм и антисемитизм – параллельные явления. Расизм – это ненависть к другому, а антисемитизм – ненависть к своему второму «я», ибо еврей ничем не отличается от нееврея. В России, например, чем советский еврей отличается от советского украинца? Есть физическая разница между белым и негром. Когда белый отвергает негра – это расизм. А когда один человек отвергает другого, во всем ему подобного, – это антисемитизм. Расизм – это желание изгнать другого из своей среды. Во Франции расисты требуют, чтобы иммигранты из третьего мира убрались к себе. Но если нападают на евреев – их убивают и сжигают, чтобы таким образом очистить себя, чтобы избавиться от дурного в самом себе. А антисиионизм – это новая форма антисемитизма, которая кажется некоторым более приемлемой, чем классический антисемитизм, после войны и геноцида шести миллионов евреев. Антисиионизм представляется как «антиизраилизм». Чистый абсурд! Израиль – это государство, пользующееся международным признанием, его создание было поддержано Советским Союзом. Можно любить или не любить это государство, как всякое другое. Во Франции, например, есть люди, настроенные антиамерикански. Есть люди, которые не любят Советский Союз. В демократической стране люди имеют право на свободное выражение своих мнений и симпатий. Но антисиионизм – это нечто другое. Это – атака на евреев диаспоры, которые поддерживают Израиль. Таким образом, происходит атака на свободу выражения евреев и неевреев в демократической стране. А если к тому же нападают только на евреев за то, что они настроены израильски, это уже антисемитизм, поскольку тут проводится водораздел между французами-евреями и неевреями. Конечно, некоторые антисиионисты – это честные люди, которые не понимают, что ими манипулируют и что они являются орудием советской или арабской пропаганды. Кадафи, например, тратит на пропаганду огромные суммы. Пришла пора сказать таким людям: посмотрите на так называемые антисиионистские карикатуры в советских газетах. Они ведь, как две капли

воды, похожи на антисемитские карикатуры Третьего Рейха. Вы видите того же еврея с носом крючком, сидящего на мешке денег. Меняются названия, но не суть.

«К.»: Вы организовали в Париже Институт Сахарова. Расскажите нам о его деятельности.

М. Х.: Я не принадлежу ни к каким политическим партиям или движениям. Я – индивидуум, который выражает свои мнения. Когда в Вашингтоне был организован Институт Сахарова, его президент и мой друг Эдуард Лозанский позвонил мне и спросил, согласен ли я возглавить аналогичный институт в Париже. Я согласился без колебаний. Я был одним из первых, кто начал кампанию за освобождение Сахарова сразу после его ареста и высылки в Горький. Я был вместе с Плющом на радио, когда нам сообщили об аресте Сахарова, и я сразу обратился с призывом выйти на демонстрацию протеста. В тот же вечер несколько тысяч человек скандировали свои протесты перед советским посольством. Сахаров для меня – это не просто человек, который борется за справедливость. Это – символ, ибо он ввел в борьбу за справедливость очень близкий мне элемент. Сахаров выступает против насилия. Он не призывает советских людей к восстанию и свержению Горбачева, он только требует от Горбачева соблюдать советскую Конституцию и собственные обязательства. Он говорит советским людям, что они должны требовать, во имя собственных законов, свободы для узников совести. Он обращается к своим коллегам-ученым, к советским академикам, чтобы они добивались для ученых-евреев, подавших заявления на выезд, возможности продолжать научную работу, ибо сейчас многим из них отказано и в выезде, и в праве на научную деятельность. Сахаров – законник. Он не подкладывал бомбы, он – не террорист, он не хочет изменить мир, он – не контрреволюционер. Нужно также подчеркнуть, что Сахаров начал свою общественную деятельность не потому, что его преследовали. Он принадлежал к номенклатуре, у него было решительно все, машина с шофером, дача и т. д., он достиг вершины научной карьеры, будучи действительным членом Академии Наук. Мотивация Сахарова – исключительно моральная, и это чрезвычайно важно. Это человек, понявший в какой-то момент, что в его стране творятся несправедливости, и решивший бороться за права своих сограждан. Сахаров вовсе не хочет, чтобы Советский Союз стал капиталистическим

государством, он хочет, чтобы его страна соблюдала провозглашенные ею лозунги. И эта позиция Сахарова стала моделью для правозащитников во всем мире. Деятельность Валэнсы или Манделы возможна потому, что существует Сахаров. Суд над главами военной хунты в Аргентине возможен потому, что существует Сахаров. Я бесконечно восхищаюсь этим человеком. Цель Института Сахарова – это пропаганда идей и личного примера Сахарова. Это также борьба за освобождение Сахарова. Мы постоянно напоминаем французскому правительству и другим европейским правительствам о судьбе Сахарова, чтобы они предпринимали все возможные шаги для давления на Советский Союз в этом вопросе. Сахаров должен получить свободу передвижения, свободу выражения, он должен иметь возможность вернуться к научной работе или выехать из СССР, если он того пожелает. Я думаю, что любому советскому правительству придется считаться с нашими требованиями и протестами, с требованиями правительств свободного мира освободить Сахарова. Мир меняется. Маркс был прав, когда говорил, что мир будет все более и более единым. Мир уже един благодаря системам связи. Через пару лет любой радиоловитель в СССР сможет изготовить антенну и смотреть передачи западного телевидения, распространяемые по всему миру через спутники связи. И экономически, и в культурном отношении Советский Союз больше не может отгородиться от мира. Советский Союз зависит от Запада и в сфере технологии, и в сфере продовольствия. Он не может полностью игнорировать западное общественное мнение. Пока мы продолжаем борьбу за Сахарова, Советский Союз, по меньшей мере, не сможет лишить его и других политзаключенных жизни. Советское правительство должно знать: мы следим за судьбой Сахарова, Щаранского\*, Иды Нудель и многих, многих других. В этом и состоит функция Института Сахарова и моя собственная, в качестве президента этого Института.

«К.»: Вернемся к вопросам этики. Вы делаете в Центре Раши доклад на тему «Память и законы человека». Связан ли этот доклад с вашей книгой «Память Авраама»?

М. Х.: Это связано и не связано. Моя книга – это реконструкция предания, памяти одной семьи и через нее – памяти

---

\* Интервью было взято до освобождения Щаранского. – Р е д.

всего народа, ибо истории всех еврейских семей сходны. Но мой доклад посвящен более обширной теме. Знание позволяет людям не повторять историю. А память – это носитель знания истории. И потом, со времени Фрейда мы знаем, что вспоминание прошлого может вылечить человека. Зло – это забвение. Если мы не знаем, что случилось с нашими предками, мы повторяем их ошибки и оказываемся в тех же плачевных ситуациях, в которых они уже были. Таким образом, память и знание чрезвычайно важны как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Изучение истории моей семьи, обретение этой памяти предков меня переменяло, переменяло мое повседневное поведение, мой образ мышления. Что же касается законов, следует различать закон и законы. Законы – это, по существу, права человека. Когда мы говорим о Сахарове, Валэнсе или Манделе, мы говорим о правах человека, о праве свободно жить, работать, выражаться. Но для того, чтобы у другого могли быть такие же права, как у меня самого, нужно нечто, что стоит над индивидуумом. Это нечто – закон, этика, знание моральных принципов, согласно которым другой – это такой же человек, как я, а стало быть, имеет те же права. В этом случае мой долг – бороться за равные со мной права для другого. Таким образом, нет прав без закона. Сначала нужно пробудить у людей сознание законности, чтобы затем они могли бороться за свои права. Поэтому-то и весь месячник иудаизма проходит под тем же заглавием, как мой доклад.

«К.»: Вы – также художник. В настоящее время в Центре Раши проходит ваша выставка. Что вы можете сказать о своей живописи?

М. Х.: Живопись для меня – вещь очень личная. Когда я приехал во Францию, я не умел говорить, но уже был художником. Я также делал пантомимы вместе с Марселем Марсо. Когда я выучил французский, познав через этот язык свободу, я стал писать и выражать свои идеи на этом языке. Живопись же стала для меня средством познания самого себя, чем-то вроде постоянного психоанализа. Живопись стала для меня средством общения с самим собой, а писание – средством общения с другими. Поэтому я продолжаю заниматься живописью, хотя обычно не выставляю свои картины. Мои картины состоят из последовательных наложений слоев шелка, на которых я рисую один и тот же мотив. Это, действительно,

как психоанализ – реальность скрыта за наслоениями мечтаний, подсознательного. Мы пытаемся скрыть от себя истину о себе. Моя живопись пытается пробиться через подсознательное к этой скрытой истине. Эта живопись – фигуративная, в ней появляются персонажи в движении, поскольку, будучи гуманистом, я не представляю себе мир без действующих лиц, без людей. Вот в нескольких словах мой мир художника.

«К.»: И последний вопрос. Как известно, вы тесно связаны с русскими неконформистами за рубежом, как в политике, так и в культуре. Что связывает вас с Россией?

М. Х.: Первая моя культура была русской. Еще со школьной скамьи навсегда остались в памяти Пушкин и Некрасов. К сожалению, в те времена мне не довелось познакомиться с творчеством Достоевского: его не печатали. Теперь наверстываю по-французски, но в подлиннике он, разумеется, более значителен. Из современных писателей читал по-французски лишь Солженицына и Максимова и высоко их ценю. Сегодняшняя моя связь с русской культурой это прежде всего связь с Россией, как таковой. Представляю ее пейзажи, лица, знаю отдельных людей. Поэтому всегда принимаю активное участие в защите русских диссидентов и советских евреев. Огромным уважением отношусь к «Континенту». Богатый и разнообразный журнал. И важно, что он выходит на разных языках, являясь как бы посредником между Западом и Востоком и помогая им лучше понять друг друга. Всегда восхищаюсь спокойствием и твердостью Владимира Максимова, с каким он делает свое большое дело.

*Вела беседу Галина Келлерман*

**РЕДАКЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:** В «Нашей анкете» №46 была допущена достойная сожаления опечатка в имени интервьюера Джона Глэда. Пользуемся случаем, чтобы принести ему и читателям «Континента» свои самые искренние извинения.

## *Специальное приложение*



## ТЕРПИМОСТЬ С ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

За двенадцать лет жизни на Западе я уже привык к тому, что самые нетерпимые, самые озлобленные, самые агрессивные люди в эмиграции (и не только в эмиграции!) непременно поучают всех терпимости и плюрализму, разумея под этим применение этих похвальных качеств, конечно же, прежде всего по отношению к ним самим.

Мне пришлось убедиться в этом еще раз, ознакомившись на страницах газеты «Русская мысль» с полемикой между профессорами М. Геллером и И. Серманом.

Суть ее вкратце такова. Анализируя отчет последнего со Всемирной конференции славистов, имевшей место в ноябре минувшего года в Вашингтоне, профессор М. Геллер обратил внимание коллеги на элементарную неосведомленность, если не сказать более: в этом отчете автор объявляет «невосполнимой утратой» для советской культуры фильм «Мертвый дом» по Достоевскому (режиссер-постановщик В. Федоров, сценарист В. Шкловский), *которого тот не видел.*

(Кстати сказать, страстный апологет терпимости профессор И. Серман ухитрился «не заметить» на вышеупомянутой конференции одного из важнейших ее заседаний, посвященного творчеству А. Солженицына!)

Казалось бы, элементарные академические правила обязывают автора признать свою очевидную неправоту и принести извинения введенным в заблуждение читателям. Но, к сожалению, в наше время, да еще в эмиграции сторонники плюрализма поступают прямо наоборот. Их беспроницаемый метод: поставить все с ног на голову и свалить собственные грехи на оппонента. Пусть оправдывается!

Профессор М. Геллер исчерпывающе убедительно ответил на эту нехитрую демагогию, но мне хотелось бы добавить к его доводам еще несколько соображений, так сказать, морального порядка.

В ответе профессора И. Сермана все построено по железным советским стандартам, причем, на уровне учебника литературы для неполной средней школы. Если упоминается Победоносцев, то это обязательно плохо, а если Салтыков-Щедрин, то это, безусловно, очень хорошо и никаких объяснений не требует, а, к примеру, утверждение о том, что не следует отвергать художественное произведение «за идеологию,

какой бы она ни была», почти дословный плагиат из речи такого столпа терпимости, как В. Молотов, на сессии Верховного Совета СССР в 1939 году, посвященной разыгравшемуся тогда идеологическому роману между Сталиным и Гитлером.

Что же касается В. Шкловского, которого с такой страстью защищает И. Серман от нетерпимого М. Геллера, то его прокурорское выступление против Достоевского на Первом съезде Союза писателей СССР было не единственным в его извилистой жизни. В куда более безопасные времена, когда за молчание уже не сажали, он не постеснялся письменно обвинить Б. Пастернака в том же самом. Чтобы не быть голословным, приведу цитату из статьи В. Войновича «Заткнуть глотку»:

«Два пожилых и более или менее уважаемых литератора Илья Сельвинский и Виктор Шкловский в это время находились в Ялте. Вот бы им и уклониться от участия в злобной травле. Уж они-то хорошо знали, кто такой Пастернак. Ведь именно Пастернака поэт Сельвинский называл своим Учителем. Но страх, въевшийся в души этих людей за годы сталинского террора, не давал им покоя. Они боялись, как бы их не обвинили, что они в такой ключевой исторический момент специально укрылись за горами Крыма. Но не побоялись навсегда опозорить свои имена. И задыхаясь от жары и крутого подъема, глотая по дороге валидол, поплелись на гору, на почту, чтобы дать телеграмму с осуждением своего коллеги».

Правда, если руководствоваться логикой И. Сермана, можно было бы и в данном случае сказать, что «Пастернак, написав „1905“ и „Лейтенанта Шмидта“, конечно же, был ренегатом и поэтому его хвалил растленный Запад и ругал В. Шкловский».

Но, откровенно говоря, за всеми публицистическими ухищрениями И. Сермана и его единомышленников сквозит одна основополагающая идея: во что бы то ни стало оправдать некую, до сих пор дорогую их сердцу идеологию. Они, к примеру, прекрасно осознают, что у антикоммунизма, как и у антифашизма, нет никакой идеологии и что это лишь нормальная нравственная реакция на идеологию человеконенавистнического толка. И все же с упорством, достойным, как говорится, лучшего применения, стараются заклишировать в умах доверчивых читателей знак равенства между

коммунизмом и его принципиальными противниками, пытаюсь таким образом нейтрализовать их усилия в разоблачении звериной сущности этого разрушительного учения.

И снова в ход пускаются школярские доводы, вроде сермановских: «Томас Манн сказал», «Жан-Поль Сартр писал», «Бернард Шоу указывал». Словно все это истины в последней инстанции, никакому обсуждению не подлежащие. Но при всем нашем уважении к литературным заслугам перечисленных выше корифеев, мы все же не должны забывать, что, наряду с публикацией замечательных произведений, все они еще и обнародовали письменно и устно массу политических, а зачастую и просто преступных глупостей: для примера вспомним хотя бы заявление последнего о голоде на Украине.

Но декларируя терпимость к «идеологии, какой бы она ни была», люди, наподобие Сермана, проявляют в лучших традициях советской пропаганды крайнюю нетерпимость к Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Пастернаку, Солженицыну и другим инакомыслящим, обнажая тем самым перед читателем свою подлинную сущность. Так что нечего, уважаемые, на зеркало пенять!

*В. Максимов*

## КНИГИ БРЮССЕЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЖИЗНЬ С БОГОМ»

Foyer Oriental Chrétien: 206, Av. de la Couronne,  
1050 Bruxelles 5 (Belgique)

Почт. счет (ССР): 000-0064635-33 Bruxelles  
Цены обозначены в бельгийских франках.

НОВЫЙ ЗАВЕТ Г. Н. ИИСУСА ХРИСТА. На тонкой индийской бумаге. С толкователем к НЗ, параллельными местами, приложениями и картами Св. Земли в красках. Формат 13 x 18,5 см. 758 стр. Б., 1965 **400**

Формат 10 x 14 см. Б., 1979 (уменьшенное, фототипическое изд.) **275**

Новый Завет и Псалтирь с примечаниями Б., 1985 **800**

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ СВ. ПИСАНИЯ – содержащий переработанный текст комментариев и приложений к Ветхому и Новому Завету (см. изд. НЗ, Б., 1965 и изд. Библии, Б., 1973 - 1977) 700 стр. на тонкой бумаге. Брюссель, 1982 г. **800**

БИБЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Богато иллюстр. 64 стр. Б., 1981 **200**

СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ под редакцией Ксавье Леон-Дюфура, при сотрудничестве 70 экзегетов. 1288 столб. Б., 1974 **2.000**

Л. БУЙЕ – О БИБЛИИ И ЕВАНГЕЛИИ. Лекции в католическом Институте в Париже: Слово Божие – непреходящий источник христианской духовности. 232 стр. Б., 1965 **260**

ЕВАНГЕЛИЕ – слово жизни вечной. Текст составлен из повествований четырех Евангелий. 508 стр. Б., 1959 **150**

А. МЕНЬ – Как читать Библию. 240 стр. Б. **250**

И. М. СИРОТ. Русские пословицы библейского происхождения. Б., 1985. 126 стр. **200**

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ – Собрание Сочинений.

Том 1. С введением-биографией (220 стр.) и впервые изданной повестью (257 стр.). 872 стр. Б., 1971 **1.400**

Том 2. Лирика, драм. произведения, статьи, письма, дневники. 832 стр. Б., 1975 **1.500**

Том 3. Поэмы, стихотворные циклы, философские и литературные статьи и письма. 896 стр. Б., 1978 **1.600**

Том 4. Готовится к печати.

**Читайте в следующем  
номере «Континента»**

**Проза:**

**В. Денисов, Л. Консон,  
В. Нечаев**

**Поэзия:**

**А. Логвинов, Б. Кенжеев,  
Т. Котович**

**Публицистика:**

**В. Белоградский,  
Н. Коржавин,  
О. Юссила**

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН**  
**Alexander Solzhenitsyn**



**ЧИТАЕТ**  
**Reading**

**"ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА"**  
**"One Day In The Life Of Ivan Denisovitch"**

**ЗАПИСЬ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ - БИ - СИ**  
**Recorded For The BBC Russian Service**

**ПРОДАЕТСЯ ЗДЕСЬ**  
**Available Here**

---

**ORDER FORM**

Please send me the three cassettes of the BBC Russian Service Recording of  
**"One Day in the Life of Ivan Denisovitch"**.

I enclose my cheque/postal order/international money order for £12 including VAT,  
Postage and Packing.

Name

Address

Send to  
BBC External Business and Development Group, Room 913 N E Wing, Bush House, London WC2

# КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)  
40,- ДМ, или 17.50 US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 3.50 US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

## К 65-летию ЛЬВА ДРУСКИНА

Льва Друскина судьба отметила дважды: сначала – жестокостью своей, в раннем детстве и навсегда отняв у него возможность познавать мир самым легким, первичным, простым способом – ощущая его под ногами; затем – своей неизреченной милостью, когда, словно бы повинившись и в восполнение отнятого, наградила его даром Стиха.

Надо ли говорить, что каждому из нас шепчется что-то на ухо, да слышит не каждый? Лев Друскин услышал. Свой собственный мир, мир в себе он распахнул, как распахивают окна в сад; его стих удивителен тем, что невесом, – настолько он лишен надрыва, резкости, или недоброты, или непростительности; даже укора в нем нет. В нем вообще нет тени. Темного.

Редкостная вещь: с годами поэт в нем не приобретает ни тяжеловесности, какую часто рождает профессиональная уверенность в прочном бытии собственной строки, ни соблазна к поэтическим фиоритурам, ни вообще тяги к каким-либо словесным играм. Он все так же тих, серьезен, улыбочив и мудр в свои 65, все так же не знает гнева, все так же не жаждет мести и зла, как это было с ним всю жизнь. В Льве Друскине поэт и человек – одно нераздельное, одна ипостась. Он поразительно светел, он рождает свет, согревающий других, – не зря ведь дом его всегда был полон друзей, учеников, и друзей учеников, и учеников друзей – потому что сам он, как его стихи, словно спасительная и умиротворяющая рука на горящем лбу: покой, дружба и мудрость среди безумия мира. Врачующее касание.

Глубина ли и непоправимость горя запретили ему грех уныния – или уж таким он родился человеком: со светом в глазах?

Так или иначе – наша нежность, наша благодарность, наша вера в Вас, дорогой Лев Савельевич, – с Вами в день Вашего шестидесятипятилетия, как и – поверьте! – в каждый Ваш будничнейший и неприметнейший день на этой Земле.

«Континент»



**Олег Лягачев.** «Вечерняя прогулка», 1976.

Холст, акрилик 73 x 60 см.

К статье Пьера Гарнье «Олег Лягачев. Писать знаки, их движения».